



Юрий Колкер

Усама
ВЕЛИМИРОВИЧ
и другие фельетоны

Юрий Колкер

УСАМА
ВЕЛИМИРОВИЧ

очерки и фельетоны

Юрий Колкер УСАМА ВЕЛИМИРОВИЧ Очерки и фельетоны

© Издательство «Тирекс», 2006г.

ISBN 5-98206-007-0

318 стр.

«Усама Велимирович и другие фельетоны» - первая книга публицистики известного поэта Юрия Колкера. Она включает историко-культурологические и литературно-критические очерки последних лет. Как журналист Юрий Колкер начал выступать с начала 1990-х годов, когда вел на Би-Би-Си передачи «Парадигма» и «Европа». Под своим именем и псевдонимами он напечатал более тысячи статей в различных периодических изданиях в Великобритании, США, Германии, Франции, Израиле, Италии, России, Эстонии и Латвии. Литературно-критические работы Юрия Колкера известны с 1980-х в самиздате и зарубежной печати. Помимо шести сборников стихов он выпустил несколько книг в качестве редактора и переводчика.

Над книгой работали: Журин А.Г.,
Веселова А.А.,
Шапкина В.И.

© Изд-во «ТИРЕКС», 1991-2006г

✉ 199034, С.-Пб, В.О., 8-я линия, 17

☎ (812) 323-60-12, 328-22-95

@ OFFICE@TIREX.RU 🌐 WWW.TIREX.RU



О ЧЕМ БРЕНЧИМ?

Троцкий и Франсуаза Саган, Чехов и Уоллис Симпсон, Заболоцкий и Сент-Экзюпери, Высоцкий и лорд Актон; японское представление на Трафальгарской площади - и первый съезд советских писателей в Кремле, - как всё это попало под одну обложку? Как вписывается в картину мира, стоявшую перед глазами публициста?

Об этой картине стоит сказать несколько слов, но сперва определим публицистику в целом - словами Евгения Боратынского, на родине всё еще не прочитанного:

Сначала мысль, воплощена
 В поэму сжатую поэта,
 Как дева юная, темна
 Для невнимательного света;
 Потом, осмелившись, она
 Уже увёртлива, речиста.
 Со всех сторон своих видна,
 Как искушённая жена
 В свободной прозе романиста;
 Болтунья старая, затем
 Она, подьемля крик нахальный,
 Плодит в полемике журнальной
 Давно уж ведомое всем.

Возвращаемся к картине мира автора. По некоторым признакам мы, люди, перерождаемся в новый биологический вид. Традиционное содержание жизни, одушевлявшее нас столетиями, умирает. Человек мельчает быстрее, чем умнеет. Бог жив только там, где он воспринимается как национальное достояние. Искусства переживают небывалый упадок, а то и умирают. Идеи уступают место методам. При этом все сыты, «все играют и поют».

Мы, иначе говоря, проходим через точку омега-2. По Тейяру де Шардену, в точке омега-1 мы стали людьми; мысль сделалась одним из факторов биологической эволюции. Сейчас, в точке омега-2, мысль подчиняет себе эволюцию - и при этом сама

перерождается. Мы срастаемся с неорганическим миром, с приборами и устройствами. Мы можем назначать генотип своего потомства. Мы в принципе можем жить как угодно долго. Эти и многие другие возможности, пока теоретические, рано или поздно осуществляются. Однажды утром мы проснемся в сознании, что мы уже не homo sapiens, а нечто другое. При этом нас - не станет. Мы пока - тут, мы всё еще люди, но Армагедон уже начался.

Ничего нового, как видите. Но таков скрипичный ключ к этой книге. Собранные здесь очерки - не философия, а зарисовки с комментариями. В каждом из них автор отправлялся от фактов, явлений и физиономий.

*7 февраля 2005,
Лондон.*

Ю.К.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МЕТОДЕ

Точность и полнота, к которым стремится наука, недостижимы в критике и публицистике. Чтобы быть услышанным, публицисту приходится заострять характеристики до парадоксальности, до неправдоподобия; брать через край. Чтобы не растекаться по древу, он по необходимости прибегает к метафорам. Иначе он не донесет свою частичную истину до читателя, тот попросту заскучает.

Выработать истину — одно, донести — другое. Ирод и народ слышат не Екклесиаста, а шута, юродивого. Здравый смысл есть система предрассудков, складывающаяся до восемнадцати лет. Так возражал критикам Эйнштейн — приемом, останавливающим внимание. *Die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust* — так возражал критикам Михаил Бакунин. (Европейцам он запомнился именно этой немецкой фразой, означающей: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и страсть к созиданию».) Парадокс — орудие постижения, оружие совести. Это скальпель. Хирург действует парадоксально: причиняет боль, чтобы избавить от боли. Парадокс содержит вызов — и тем обедняет жизнь, которая глубже вызова. Но ведь понять — значит упростить. Парадокс короткий, разящий, называют по-гречески оксимороном. Дословно *оксиморон* — острая глупость, интенсивная форма парадокса распространенного, экстенсивного. Он хорош ударной силой, пьянящей и трезвящей. Он — сгусток пространства и времени. Он плох недоговоренностями. Думающему человеку самому приходится перекидывать смысловые мостики. И спорить.

Спекулятивный подход имеет свои преимущества над академическим. Факты или их интерпретация должны вывести читателя из равновесия, превратить в собеседника, в оппонента, в друга или врага. Провокация — нерв журналистики. Право на ошибку, право плодотворное, — заложено в специфике жанра.

СОДЕРЖАНИЕ

I. КОТЕЛ НАРОДОВ	8
Усама Велимирович	8
Мария-Магдалина из Рюриковичей	17
Маркс как художник слова	23
Кристева и Ко: Танцуем от стиля	29
Есть за границей контора Кука	35
Британцы о немцах	41
«Я на свете всех умней...»	46
II. ПЕНАТЫ	53
Чтоб Кафку сделать былью	53
В Петербурге мы сойдемся снова	77
Тризна по России	87
Триада славы	98
Грузинский вопрос	117
Пустынные волны	123
III. ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ	130
Лорд Актон: Свобода и нравственность	130
Диссидент по-британски	135
Уоллис и король	144
Смерть в лазури	152
Безалаберная герцогиня	162
Удачливый бедняга Петен	169
Антон Горький: Тарарабумбия	175
Заболоцкий: Жизнь и судьба	184
Троцкий день календаря	199
У истоков российского диссидентства	208
Дано мне тело: что мне делать с ним?	220
Евтушенко как зеркало русской деволуции	228
Галантерейная лавка дерзостей	246

Высоцкий без гитары	250
Скопец в серале	257
Открыт паноптикум печальный	268
Высокие поползновения	273
Обманувшийся и обманутый	278
Гонфалоньер справедливости	284
Будетлянин: Взгляд из будущего	301

I. КОТЕЛ НАРОДОВ

УСАМА ВЕЛИМИРОВИЧ

«СМЕЕШЬ ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДЬ?»

В апреле 2004 года под колонной Нельсона на Трафальгарской площади была воздвигнута временная стеклянная коробка — из числа тех, в которых нам в последние десятилетия преподносят так-сказать-искусство. На этот раз выставлена была не овца в маринаде работы Дамиена Хёрста. На этот раз нам читали книгу. Даже, можно сказать, книгу книг. Потому что она покрывает два миллиона лет, содержит в себе изрядный кусок прошлого и еще более изрядный кусок будущего человечества. Как? Да очень просто: путем перечисления лет. Годы, точнее, изображающие их числа, выстроены в ряд, который в математике именуется натуральным рядом чисел. Вот эти числа нам и читали: ..., 1969, 1970, 1971, ... , 2004, ... , 985790, Что перед этой книгой Библия?!

Перформанс (если уж говорить по-русски) назывался Reading One Million Years («Читая миллион лет»). Чтецы (*актеры*), числом шестнадцать, *работали* посменно, парами, в течение семи дней. Звуки их голосов выводились из будки на площадь. Будку охраняли от хулиганов и других ненавистников искусства, но каждый благонамеренный прохожий мог беспрепятственно и совершенно бесплатно подойти и приобщиться: послушать и подумать о бренности нашей жизни, о всяческой людской скудели и юдоли. Или о другом: о суетности и подлости нашего времени. Кому как нравится. Искусство ведь многогранно, вызывает разные эмоции, а тут размах прямо-таки эпический.

Книгу книг написал человек: японец Он Кавара. Художественное прозрение осенило его в 1969 году. Творческое воображение Кавары вывели из спячки ключевые моменты

истории: Хиросима, вьетнамская война, высадка американцев на луне и вудстокский рок-фестиваль. Прозорливец понял: адекватным откликом на все это может стать только натуральный ряд чисел.

С тех пор прошло 35 пять лет, но произведение Кавары (20 томов по 200 страниц) не устарело. В сущности, оно и вообще устареть не может. Подлинное искусство бессмертно.

Совершенно естественно, что самым подходящим местом для чтения натурального ряда чисел является Лондон. Весь девятнадцатый век и добрую половину двадцатого британская столица с горькой ревностью взирала на Париж, в котором процветали искусства, но вот она собралась с духом — и сорвала лавровый венец с заносчивых галлов. Теперь именно Лондон — цитадель самого прогрессивного (sic!) искусства в мире. В искусстве ведь есть прогресс; кто в этом усомнится, сравнив Гомера с Приговым? И что, в самом деле, такое, все эти Моне и Мане против дохлой лошади, подвешенной в галерее Тэйт-модерн?

Впрочем, эпохальное чтение устроила другая галерея: не Генри Тэйта, а South London Gallery. Сколько на это истрачено, держится в секрете. Но разве нам жалко денег на искусство, тем более такое народное, площадное, обращенное ко всем? Директриса Маргот Хеллер сказала: «Мы хотим, чтобы люди посмотрели и задумались о смысле человеческого существования, совести и нравственности...» О совести и нравственности — очень бы не мешало! Да тут и нельзя не задуматься.

«КАК ЭТО ВСЁ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?»

В советское время нам твердили о загнивающем буржуазном искусстве. Противопоставлялось ему другое мракобесие: коммунистический фаланстер, а в нем — социалистический реализм во всем своем убожестве, который и обсуждать нечего. Но насчет Запада большевики не ошиблись, и слова нашли точные. Вот уже более ста лет все искусства переживают неслыханный упадок, день ото дня опускаясь всё ниже и ниже. Не выставляйте в качестве возражения громкие имена. Во-первых, половина из них окажется дутыми (частично

или полностью; Пикассо, например, — на три четверти); во-вторых, дурно ориентированный талант бывает страшнее бездарности (разве Гитлер и Сталин были бездарностями?); в-третьих, исключения подтверждают правило. Никакая плеяда гениев не отменяет общей картины, а она — удручающая.

Начало этого упадка (да нет, не начало, а уже, так сказать, расцвет; начало приходится на XIX век с его опустившей крылья архитектурой) засвидетельствовали в 1920-30-х годах мыслители Хосе Ортега-и-Гасет и Владимир Вейдле, отнюдь не большевики, а люди западной культуры. О буржуазности они не писали, и в этом единственном пункте большевики верно дополнили нарисованную ими картину.

Но за точным определением у большевиков последовало вздорное (марксистское) истолкование. В десятку они попали случайно, сослепу. Сказать же нужно было вот что. На рубеже XIX и XX веков благосостояние народов поднялось выше некой критической черты. Впервые в истории в странах западной цивилизации сытых стало больше, чем голодных, и это немедленно отразилось на искусстве. Сейчас уже можно с уверенностью утверждать: потребность в подлинном искусстве (в красоте, в сильных и высоких переживаниях) каким-то непостижимым образом отступает перед сытостью и довольством. По пословице: когда всё есть, то ничего не надо; или: сытое брюхо к искусству глухо. Сытые еще готовы смеяться, но теряют способность восхищаться. В искусстве воцаряется третий штиль. Затем он сменяется расчетливо-глумливой профанацией. Любовь и голод больше не правят миром, формула Шиллера устарела, и там, где был Леонардо (мадонны, тайная вечеря), там мы теперь видим Дамиена Хёрста (овца в маринаде) и Трэйси Эмин (неубранная постель с грязным бельем и выразительными пятнами).

Началось с импрессионистов. Сами они, в своем большинстве, жили бедно, иные и просто нищенствовали. (Любой припеваючи прожил бы всю свою жизнь на деньги от продажи только одной из своих картин по их сегодняшним ценам.) Но вот что было новым и характерным: импрессионисты уже могли противопоставить себя обществу — и всё-таки сводить концы с концами, не умирать с голоду. Еще за пятьдесят лет до них такое было решительно невозможно. Художник всегда исходил из общественного вкуса и разве что улучшал его. Создавая

шедевр в аскетическом уединении, он обращался к Богу, но и заказчика из виду не упускал. Был здоровым конформистом, а если талантлив, чуть-чуть нонконформистом: развивал общественный вкус, расширял наши представления о прекрасном. (Безобразное к искусствам не относилось; в самой лексеме — *fine arts*, изящные искусства, — уже заложено стремление к красоте.) Импрессионисты связь между художником и обществом ослабили. Сейчас мы знаем, что красоте (пусть несколько однобокой, если держать в уме Леонардо и Пуссена) они служили по-настоящему, самоотверженно; искусство оставили высокое; но первый шаг в ложном направлении был сделан ими.

Так началось бунтарство в искусстве. А бунт привлекателен... Конечно, можно копнуть и глубже, можно и на романтизм бросить взгляд, в нем проследить истоки неблагополучия. Но романтики — существа еще ностратические. Гёте тычет пророческим перстом в Гюго за *Собор Парижской богородицы*, а с нашей сегодняшней колокольни они стоят почти рядом. Бунт как таковой еще не продают.

Всё в этом мире имеет тенденцию скатываться в свою противоположность, и следующее за импрессионистами поколение художников уже чисто по-обывательски знало, что в непрерывно богатеющем обществе бунт и вызов — окупаются чистоганом. Еще бы! Ведь в нем — отрицание обывательщины.

Для импрессионистов он окупился посмертно: обогатил других. Кубисты сами были богатыми людьми и изрядно обуржуазились (оставили же пшик; хорошую вещь Браком не назовут). С другой стороны, и буржуазия научилась держать нос по ветру, а ветер, как известно, всегда дует слева. Еще недавно ее можно было эпатировать (что доставляло щенячий восторг художникам), а теперь — стало уже нельзя. Она подхватила эстафету и сама готова кого угодно эпатировать. Денежные мешки догадались, что скандал продается. И вот вам результат: лондонская галерея Tate Modern, собрание Чарлза Саачи и вся прочая королевская рать с их печальным паноптикумом. Никому не стыдно. Скоморохи точно знают, что никто их не одернет, никто не скажет, что король гол. Все «играют и поют». То есть не все, а те, кто делает на этом деньги. А народ безмолвствует. Почему? Одни равнодушны,

другие попались в старинный, к временам импрессионистов восходящий капкан, который им умело расставляют продажные «служители искусства»: эти вторые поверили, что они, бедняги, не доросли до понимания полета мысли новых «художников» (ведь не понимали же современники импрессионистов!). Это-то «художникам» и нужно. Пусть обыватели поломают голову над вопросом: что мы хотели сказать. Никогда не признаемся, что сказать нам нечего!

Ветер всегда дует слева; в искусстве совершенно так же, как в политике. И там, и тут всё испокон веку двигалось в сторону демократизации. Политический авангардизм увенчан в истории такими демократическими (без шуток) движениями как большевизм и нацизм, а в наши мелкобуржуазные вегетарианские дни довольствуется политической корректностью и движением зеленых. Искусства сползали в канаву тем же путем: сперва выделились из священнодействия, затем перестали быть занятием придворным, наконец, стали подлинно народными: принадлежат народу (как о том мечтали большевики), то есть — никому; и никому не нужны. Демократия ведь всё-таки зло, хоть и наименьшее из зол. Но она становится наибольшим из зол, превращаясь в охлократию. В искусстве — особенно. Насчет власти еще могут оставаться сомнения, но про искусство точно известно, что оно избирательно: создается не всеми и воспринимается не всеми. Оно аристократично по самой своей природе. «Подлинно народное искусство» — противоречие в терминах. Об этом еще Стендаль знал. Он первым сказал, что искусства и свобода — враги, вздохнул и добавил: но демократизация (он говорил о свободе; она тогда так называлась) — необходимость, а искусства — роскошь.

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ?

Осталось выяснить, не зря ли мы горячимся. Может, Он Кавара с его миллионом лет, Дамиен Хёрст со своей швалью в маринаде и Трэйси Эмин с презервативами и пятнами спермы на простынях — безобидные шалуны? Если так, пусть себе порезвятся. Пусть дурачат тех, кто рад быть одураченным. Овец ведь держат на то, чтобы стричь.

Но нет, непохоже, что дело тут безобидное. Тут пахнет кровью.

Вспомним: нашелся ведь мерзавец, назвавший величайшим художественным произведением современности (перформансом) террористический акт 11 сентября 2001 года. И ему не возражишь. Если понимать творчество, как его понимают лорд Чарлз Саачи и ему подобные, то верно: это чудовищное преступление содержит все элементы, необходимые для сегодняшнего коммерческого искусства. Первый, обязательный и главный элемент: искусство должно удивлять, еще лучше — поражать, потрясать. (Во времена подлинного искусства оно должно было восхищать, то есть, по буквальному смыслу слова, похищать и возносить душу.) Что может потрясти больше, чем вид пассажирского самолета, врезающегося в небоскреб? Это поистине гениальная находка, нобелевского масштаба. Бин-Ладен — великий художник.

Второе требование состоит в том, чтобы лепить «произведение искусства» из того, что под руку подвернется, из готовых, не художником сделанных элементов, к искусству (в былом значении этого слова) не относящихся. Чем неожиданнее предмет, тем лучше. Уже шли в дело и продавались как творения художественного гения мятые консервные банки, пустые и с человеческими испражнениями, а также раковины, унитазы фабричного изготовления. Самолет и небоскреб — вещи самые подходящие. Масштаб — неслыханный! Люди, умирающие страшной смертью на ваших глазах, — еще лучше. Своей рукой не сделано ничего. Продается концепция. (Во времена подлинного искусства художник сам наносил на холст каждый мазок, выписывал каждую ноту, каждое слово.)

Третий элемент: нас приглашают упиваться жестокостью или низостью. (Подлинное искусство упивалось только высоким; изображая самые разные вещи, оно считало своим делом вызывать умиление, сострадание, восторг.) Коллекционер

Саачи или директор Tate Ник Сирота (не иначе, как казанская) хоть и не признают открыто, что 11 сентября — лучший перформанс нового искусства, а в глубине души именно так и думают (и горько сожалеют, что не могут его купить и выставить).

«Произведение» Она Кавары масштабом поменьше, но в газеты (на десятые-одиннадцатые полосы) рассказ о нем всё же попал, стало быть, главная цель достигнута: скандал, пусть и небольшой, — тут. Первое требование к новому искусству выполнено. Второе — тоже: используются готовые элементы, над которыми рука, ум и сердца художника не трудились: идут числа, натуральный ряд чисел. По части третьего элемента Кавара чуть-чуть не дотягивает: жестокости маловато, хотя и то сказать: тупое, час за часом, чтение ничего не значащих цифр — издевательство над человеком, даже если он это за деньги делает. В целом же смысл этого «произведения» совершенно тот, что нужно: разрушительный. Тут нас еще (пока) не убивают физически, в нас всего лишь убивают веру в человека, веру в его творческий гений, совесть и нравственность. Нам говорят: искусство — ничего не стоит. Всё можно объявить искусством. Каждый может выйти с плакатом: «Я — художник!», и если он будет настойчив, ему начнут аплодировать и платить. Начнут удивляться и восхищаться, начнут спрашивать: «Что хотел сказать художник этим плакатом?» А раз так, то и псевдо-художников в нашем сытом обществе становится с каждым днем больше. Всё это люди, не желающие и не способные делать что-либо полезное. И назревает количественно-качественный переход: им становится тесно, им всё труднее быть услышанными, им всё меньше, в среднем, на голову (чуть было не сказал: на душу), перепадает славы и денег. Значит, вот-вот они примутся за дело всерьез. Жестокость — на подходе.

Именно поэтому перед нами не безобидное дурачество. Оно имеет общие корни с терроризмом: всё ту же сытость. Разбогатевшее общество бесится с жиру, скучает, как императорский Рим, получив вдоволь хлеба, требует зрелищ, — и всегда находит тех, кто может и хочет развеселить его: скоморохов вроде Она Кавары, не способных ни к какому труду (не говоря уже о творческом), но наделенных ублюбочным тщеславием и готовых на всё, чтобы выделиться из толпы.

Каварой движут совершенно те же чувства, что шахидом, обвязывающимся взрывчаткой, — с той разницей, что японец жизнью не жертвует, получает свой рай тут, при жизни, а не за гробом. Им движет логика Герострата — с той разницей, что Герострат сознательно шел на пытку и смерть, да и рая никакого у него, элина, впереди не брезжило. Герострат — даже велик перед Каварой (Дамиеном Херстом, Трейси Эмин и иже с ними): он вписал свое имя в историю (а этих завтра забудут), он обманул человечество — всё человечество! Это ведь исхитриться нужно было! Не смогли мы его забыть, хотя у греков даже произнесение его имени каралось смертью.

Не подлежит сомнению, что в один прекрасный день сегодняшнее искусство а-ля Саачи перейдет к прямому терроризму и убийствам. Сепаратисты и националисты былых времен тоже ведь были поначалу овечками — до тех, пока землю пахали в поте лица своего, а по миру, по нашему сытому миру еще не гуляли шальные деньги, специально отписанные на убийства. Начало художеству уже положено. Убийство Джона Леннона было именно таким геростратическим перформансом: убийством ради убийства и славы. Но это — цветочки рядом с тем, что нам предстоит. Нас будут убивать во имя «нового искусства» под всеми широтами, на всех перекрестках, всеми способами и видами оружия (и даже новые изобретут специально для этого). Будут убивать без всякого разбора, потому что на всех «художников» — Леннонов не напасешься. Армии всех держав будут поставлены под ружье — и бессильны против вдохновенного художника-партизана, убивающего из-за угла. Университетские искусствоведы будут взалхлеб и наперебой героизировать и воспевать убийства прохожих, совершенные во имя искусства; они будут защищать диссертации, писать книги и наставлять молодежь презирать обывателя, не понимающего «замысла художника».

Скажешь: Велимир Хлебников и Усама бин-Ладен — близнецы-братья, и на тебя с кулаками кинутся. А между тем оба черпают свое вдохновение из одного и того же источника. Кто такой Усама, как не председатель земного шара и художник? Он перед шаром сидит, шар перед ним дрожит. Добрейший, между прочим, человек, застенчивый, с мягкой улыбкой. Аскет. Спит на земле. Служит — без смеха! — высочайшему человеческому идеалу, не шадя живота своего.

Неверных к истинной вере хочет привести — то есть: спасти. Самый человечный из всех прошедших по земле людей. В точности, как Велимир. Он тоже хотел большого и чистого. Глобального. Хотел, да не сумел. Артистизма не хватило. Души, иными словами. А у Усамы — хватило. Поздравим же себя с новым художником, перед которым Леонардо — шавка. Поздравим себя с тем, что живем в эпоху гениального бин-Ладена. Блажен, кто посетил сей мир. И будем потихоньку готовить душу к новым художествам новых заплечных дел мастеров, имя которым — легион. Это сейчас они нам цифры читают, а завтра за топор возьмутся.

МАРИЯ-МАГДАЛИНА ИЗ РЮРИКОВИЧЕЙ

Пожилых французских киноактрис не позвали на какой-то каннский кинофестиваль, они возмутились — и создали ассоциацию под названием *Ликующие пятидесятилетние*. Бедняжки обольщались на свой счет: верили, что «изменили весь облик мирового кино» и проложили дорогу Голливуду. Не более и не менее. Была у них там какая-то «волна» в 1960-е. Обольщались. Верили, что молодость и сексуальная привлекательность плюс умение повторять чужие мысли и слова — это и есть художественное дарование, и что поэтому каждая из них, актриса, осененная минутной популярностью, — Художник. (Еще верили, что современное кино — это большое искусство.) А их — забыли! Мужчинам-устроителям опять подавай молоденьких! Стареньких не нужно. Смазливая молодость ведь и есть талант, необходимый для экрана. Как тут не возмутиться?

Но зато ясно, *как* возразить. Ликующие решили показать, что они — всё еще молоденькие. Моложе молоденьких. В половом отношении молоденьких за пояс заткнут. Даже — что настоящая половая жизнь начинается только после пятидесяти.

В этом последнем пункте присутствует некая любопытная правда. Жаль только, что актрисы (которые кто угодно, только не мыслители) этой правды не поняли и толкуют ее на совершенно обывательском уровне.

Какая же это правда?

Одна из ликующих, некая Маша Мериль, дала невероятно смешное интервью парижской *Русской мысли*. В нем она говорит:

— Я с годами чувствую себя как женщина все более счастливой. И это состояние внутренней гармонии могу передать мужчине. Настоящая любовь возможна только с пятидесяти лет. До этого происходит строительство личности.

На самом деле сказала она (не понимая, что говорит) вот что. В современном западном обществе женщина совершенно свободна и в материальном отношении независима, уровень жизни высок, медицина творит чудеса, продолжительность жизни подскочила, — и произошел качественный сдвиг в состоянии и поведении человека. К пятидесяти годам человек обыкновенно выполняет свое биологическое задание и освобождается от мучительного вопроса о смысле жизни. Прямое биологическое задание всех и каждого (что бы мы о себе ни думали) состоит в продолжении рода, в передаче своего генотипа потомству. Ни в чем ином. Именно из него, из этого прямого задания (как ни унижает это наш разум и «дум высокое стремленье») вытекают все мучительные нравственные вопросы молодости. Нравственные и политические. В пятьдесят или около того вопрос «что делать?» снимается с повестки дня. Вопрос о любви — тоже. Любовь отступает в тень, оттесняемая физиологией. И вот тут ликующие правы: здоровая, хорошо сохранившаяся женщина 50-и лет (да что там! даже и 70-и лет; примеров — сколько угодно, возьмите хоть Лилю Брик и Ахматову) может извлекать из половой жизни несравненно больше, чем 20-летняя девушка, не нашедшая своего места в жизни, мучающаяся потребностью выполнить свое биологическое задание (и тем самым решить вопрос о смысле жизни).

Но нет, ликующая Маша говорит о любви.

— Я думаю, что чувства зрелой женщины глубже и полнее, чем чувства молоденькой девушки...

Бедняжка путает: не чувства, а чувственность. Физиологическая потребность, если ей не препятствует нездоровье, с годами возрастает. Половые возможности, если им не мешает нужда, — тоже. Только и всего. Мы больше знаем, больше умеем извлекать из половой близости. Мы готовы на уступки. Мы миримся с недостатками партнера, памятуя о своих недостатках. Мы больше не грезим совершенством (проистекающим всё из того же биологического задания). Чувства же подлинные — развиваются на совершенно другом материале и уровне. Это они ставят вопрос «быть или не быть?». Молодость и настоящая любовь — бескомпромиссны, катастрофичны. Оттого всегда рядом с ними смерть. Подсознательный девиз молодости (и любви) — «всё или ничего». Так это было

для Медеи и Джульетты, для всех, кто хоть однажды пережил весь этот счастливый ужас в его космической, эсхатологической полноте.

Маша — не помнит. Как и все служители так называемого современного искусства, она живет сегодняшним днем. Что было вчера, то — неправда. Становление личности послужило ей только подступами к сегодняшнему наслаждению богатством, славой, ласками. Будь Маша чуть лучше образована, она оглянулась бы на мировую историю и увидела бы, что практически всё действительно великое совершено людьми именно в эту пору становления личности — в пору той страшной и плодотворной неопределенности, когда душа человеческая мечется, не находя себе места; когда биологическое задание может остаться невыполненным. Будь у Маши способность к обобщающей мысли (или хоть интерес к ней), она бы знала, что биологическое задание, общее для всего живого, получило у вида *хомо сапиенс* особое преломление, именуемое творчеством. Творчество (настоящее, не то, что у актрис кино) — компенсаторный механизм, вторичные половые проявления, сублимированное (или, если угодно, извращенное) биологическое задание. Человек со слабым половым импульсом ни Америки не откроет, ни Моны Лизы не напишет, ни теории относительности не создаст. Талант заявляет о себе через половое влечение, прямое или вытесненное в другую сферу. Он ищет смысла жизни, и его творения суть его дети, иное, опосредованное проявление его уникального генотипа. Но зато уж ради этих детей он готов на костер взойти. Как настоящая мать — ради детей, ею рожденных.

Недавно Маша Мериль выпустила книжку под несколько неправильным названием «Биография обыкновенной половой жизни» (*Biographie d'un sexe ordinaire*). Книжка стала бестселлером и злобой дня. Что «биография жизни» — тавтология, никто не заметил. Того, что это — не совсем книга, — тоже (сейчас ведь любой протяженный текст объявляют книгой). О литературных достоинствах сочинения и не заикаются. Дело не в них. Дело в том, что Маша спокойно и подробно, смакуя детали, рассказывает о своих любовных историях. Человек, превосходно пообедавший, делится с другими наслаждением, полученным от соусов и приправ. В духе одного современного русского гастрономического поэта: «Осетринка с хреном поплыла вниз по батюшке, по пищеводу...»

Хорош ли был обед?

— Любовь и настоящий секс — одно и то же, — говорит бедняжка Мериль, комментируя свою книгу. Если так, то ее просто жалко. Дух захватывает, как убога и пошла может быть жизнь современного человека, даже самого удачливого, выхваченного из толпы лучом юпитера, ни в чем не нуждающегося, свободного и по видимости счастливого.

Любовь, милая Маша, состоит с сексом в теснейшем, но гораздо более сложном взаимодействии, чем свобода менять партнеров по прихоти и влечению. В своих высших проявлениях она вообще обходится без секса. Возьмем хоть любовь к Богу, так высоко поднятую европейской цивилизацией. Возьмем Марию-Магдалину, вашу полную тезку. (Маша Мериль — урожденная Мария-Магдалина Гагарина, по семейной легенде — из Рюриковичей.) Евангельская блудница тоже ведь, скорее всего, находила поначалу нечто упоительное в непосредственном сексе, была жрицей любви в древнем сакральном смысле, увольящем к храмовой проституции. Вряд ли только на хлеб себе зарабатывала, продавая свое тело. Большинство женщин уходит в эту профессию по призванию. Но вот, поди ж ты, преобразилась, да так, что мир поразила своею любовью. Давно высказана догадка, что началом ее любви к Богу было простое физиологическое влечение к Иисусу. Ничего кошунственного в этом еще нет. Никакого богохульства. Судим не по начальному импульсу, а по результату. Сублимацией полового влечения стала великая страсть, великая тяга к совершенству, к неземной красоте. Иначе говоря, любовь. Что рядом с этой любовью ваша, постельная?

Возьмем другой пример. Жан-Жак Руссо, провозвестник сегодняшних сексуальных свобод, говорит о себе: «вся жизнь моя была проникнута страстью, хоть я и очень мало обладал женщинами». Не сводилась для него любовь к сомнительному обладанию (разве можно кем-то обладать?), к «простым движениям». Любовь всей его жизни вообще никакой постелью не увенчалась. Как и у Данте Алигьери.

Франция, раз уж мы оказались во Франции, подобных примеров дала немало. Абельяр и Элоиза. «Старая», так сказать, Элоиза, в отличие от «новой» Руссо. Тут тоже Бог рядом. Абельяр (1079-1142) был великим христианским мыслителем, не только любовником. За историю с Элоизой поплатился жутко:

его оскопили. Что же, Элоиза перестала его любить в его новом качестве? Оба затворились в монастырях, оба любили Бога, но в значительной степени — через любовь друг к другу, жившую в них до последнего дня. Половая близость была короткой, почти случайной, но получили они от нее чувственное наслаждение, которое современным мариям-магдалинам и не снилось. Оно просто лежит за пределами их бедного сюжуминутного воображения.

Вообще изобилие и свобода современной жизни, как это ни странно, многого нас лишили. Да и не странно, пожалуй; нельзя приобретать, не теряя. Закон сохранения, так сказать. По Ломоносову: если где чего убудет, то в другом месте непременно прибудет. Прибыло гастрономических радостей (и им сопутствующих, животных); убыло — духовных, душевных, человеческих. Когда всё есть, то ничего не надо. Все сыты. (Ну, почти все; голод — там, где воюют.) Толстых — больше, чем в прошлом; счастливых — меньше. Потому что счастье неотделимо от трудностей, лишений, страданий. Даже — самое простое и сегодня всем доступное счастье половой близости. Современная погоня за наслаждениями, охватившая весь мир, не одну Францию, — не от хорошей жизни. Маша Мериль и ей подобные имитируют счастье, довольствуются его суррогатом. Их счастье густо замешано на тщеславии и показухе. Отнимите у них свет юпитеров — они почувствуют себя у разбитого корыта. Отнимете молоджавость — тут вообще настанет пустота; даже без Чапаева. А молоджавость, которой Маша так гордится, однажды пройдет, как с белых яблонь дым. Как никак актрисе — хорошо за шестьдесят.

Русская мысль заканчивает интервью с Машей Мериль вопросом, обращенным в пространство:

— Интересно, насколько русские читатели готовы будут принять такую откровенную книгу?

Вот уж, по-моему, совсем неинтересно. Вопрос из пальца высосан. Готов, готов современный русский читатель к пустому, дешевому, бездумному чтиву. Только к нему и готов, ни к чему больше. Ничего нового в «книге» Мериль не увидит. Половины имен не узнает (включая имя автора). Еще заскучает, чего доброго. *Жюстина* маркиза де Сада или недавняя вещица Катрин Милле *Половая жизнь Катрин М.* дадут ему куда больше. «Самый читающий народ в мире», дорвавшись до свобод, обнаружил

полное отсутствие вкуса и равнодушие к подлинной литературе. В этом смысле он не то что идет в ногу со временем, но и опережает Запад. Западная словесность хоть и много богаче российской, но тоже смахивает на пустыню. Правда, пока еще с оазисами. Нет-нет, да и наткнешься на ручеек с чахлой акацией.

О том, каково осмысление родного слова на родине Толстого и Достоевского, неплохое представление дает уже название интервью в *Русской мысли*. Называется оно ... «Женщина уходит от мужчины, чтобы встретить кого-то лучшего...» Дивно! Так и видишь кого-то большого и чистого из мира животных. Так русские парижане перевели с французского un homme. Про артикль забыли.

МАРКС КАК ХУДОЖНИК СЛОВА

В Западе существуют конторы, торгующие славой. Делают они вот что: проводят поверхностный анализ в какой-либо области, где продукт носит имя изготовителя, — например, в русской публицистике, — и выделяют имена, встречающиеся чаще других. В один прекрасный день имярек, плодовитый автор, получает извещение на солидном бланке: о том, что он избран человеком года, и — сертификат на этот титул с водяными знаками. В письме, в самом низу, имеется приписка, что за небольшую сумму — скажем, за тридцать долларов, — фирма вышлет ему настольную табличку с его именем и титулом. В этом и состоит бизнес: фирма, собственно говоря, торгует табличками, которые изготавливает тысячами.

И люди неизменно клюют на эту удочку. Если человек деятелен — скажем, опубликовал двадцать статей в год, — то ему и кажется, что все вокруг говорят только о нем. В Израиле, например, попалась в 1980-е немолодая публицистка Дора Штурман, гордившаяся своей плодовитостью (и дружбой с Солженицыным).

Характерно, что такие фирмы никогда не обращаются к людям действительно знаменитым, — к кинозвездам или эстрадным певцам, — а только к тем, кто может быть тщеславен, но настоящей славой обойден. Расчет тут безошибочный, бизнес беспроигрышный: нет такой лести, которой бы человек не проглотил. Мы все глядим в Наполеоны.

Людам не просто состоятельным, а богатым, фирма предлагает товар более шикарный: титул человека столетия. Несколько лет назад, в двадцатом веке, его удостоился директор одного российского автозавода. Имя его мы запомнили, что и понятно: ведь в прошедшем веке были и другие крупные люди: Эйнштейн, например, Чаплин — или, там, Сталин и Черчилль с де Голлем. Правда, сейчас эта отрасль бизнеса временно отпала. Новый век еще так молод, что даже самые тщеславные люди способны заподозрить неладное в титуле «человек столетия».

Но кого же всерьез можно считать формирующей фигурой минувшего века? Опрос общественного мнения, проведенный сотрудниками Би-Би-Си на интернете, такого человека выявил. Им оказался Карл Маркс.

Удивительно ли это? На наш взгляд — нет. Коммунизм и национал-социализм (который в значительной степени был реакцией на коммунизм) сформировали облик XX столетия. С Марксом в уме люди грезили светлым будущим, творили неслыханное в истории кровопролитие, перекраивали границы Европы. Другой вопрос, был ли Маркс прав — и вообще: кем он был. Этот вопрос и естественно поставить.

Критике Маркса посвящена обширнейшая литература — тысячи и тысячи томов (что тоже косвенно свидетельствует о его громадной роли, отрицать которую бессмысленно). Один из самых остроумных выпадов принадлежит австрийскому философу Карлу Попперу (1902–94). Его критика — призывает вообще отказаться от критики. Поппер полагал, что копыя ломаются зря, потому что опровергать марксовы «законы истории» — то же, что опровергать Нострадамуса. Какое из положений Маркса ни возьми, все сбылось. Развитие капитализма сопровождается периодическими кризисами (это, правда, не открытие, а наблюдение; уже при Марксе наблюдалось). Наша зависимость от техники растет день ото дня. Международные монополии — «спруты, опутывающие своими щупальцами всю землю», как определил их Маркс, — по своему могуществу давно оставили позади иные государства: взгляните хоть на *Микрософт*, империю Билла Гэйтса. Со дня выхода *Капитала* минуло сто с лишним лет, а в законах Маркса — нечего поправить. Комар носа не подточит! Значит, полагает Поппер, Маркс — не ученый, потому что научные положения постоянно уточняются, а когда количество уточнений перевалит некий критический порог, то и опровергаются.

Критики Маркса больше всего напирают на то, что предсказанного обнищания пролетариата не произошло. Современные рабочие западных стран живут в собственных домах, разъезжают на дорогих автомобилях, летают за океан на курорты. Но мы невнимательно читали Маркса — если вообще читали. Откроем 25-ю главу первого тома *Капитала*, его знаменитый закон капиталистического накопления.

Там говорится о другом: что будет расти число потерянных, выброшенных из жизни людей, содержание которых капитал переложит на плечи работающих. Что же, разве безработные не исчисляются сегодня миллионами? И разве по мере усложнения нашей психики, по мере возрастания культурного уровня — мы не чаще ставим вопрос о смысле жизни, вопрос, который не делает нас счастливее? Опять придаться не к чему. Формулировки Маркса — обтекаемые, многозначные. Всё — как у Нострадамуса. И, добавим, как у других пророков, всегда говорящих: будет хуже. Это в природе человека: верить, что золотой век — в прошлом, а в настоящем дело идет только под уклон.

Или другое: эксплуатация, по Марксу, будет постоянно возрастать. В развитых странах мы видим вокруг себя нечто противоположное; эксплуатация падает, условия жизни улучшаются. Во Франции, например, законом установлена 35-часовая рабочая неделя, — а давно ли люди работали по 12, даже по 18 часов в сутки? Исторически — совсем недавно, вчера. Но убежденные марксисты (в наши дни они почти все сплошь троцкисты) возражают: в развитых странах, говорят они, рабочие, да и вообще всё население, существуют за счет дешевого ручного труда в странах третьего мира. Там — эксплуатация возросла. Маркс ведь не говорит, где она должна возрасти!

Но пусть Маркс в самом деле предрек миллионные армии полуголодных рабочих в странах Запада, пусть эти армии тут, мы их видим, — и пусть неправы сегодняшние западные экономисты, говорящие, что с нищетой в цивилизованном мире покончено. Доказывать неправоту Маркса — пустая трата времени. Мы упрямся в определения, спор сделается терминологическим. Что такое нищета? В каждой стране ее понимают по-своему. Где щи жидки, а где жемчуг мелок. Спор немедленно вырождается. Разве хоть один экономист спорит с Иисусом Христом, сказавшим: «Нищих всегда имеете с собою»? Ученый не может спорить с пророком или мессией. Маркс — именно пророк. Более того: подобно Христу, он говорит не столько о нищете материальной, сколько о нищете духовной: о превращении человека в работа-потребителя. О порче нравов пророчит. Разве на это возражишь?! Со времен Хаммурапи нам твердили об этом — и никогда не ошибались.

Маркс думал, что написал ученый труд: экономический трактат, — но анализ текста и обмолвки автора говорят о другом. На самом деле он упивался не содержанием, а формой, — не экономикой, а эстетикой. По временам он сам догадывался об этом. В одном из писем Энгельсу он признаётся: «Каковы бы ни были недостатки моих произведений, а из них, взятых в совокупности, встает художественное целое...» Это — так сказать, для своих. Перед внешним миром, перед нами, он хотел быть ученым. Объясняя, почему прибыль получается от продажи товаров по их «настоящей» цене, а не за счет наценки, Маркс писал: «Это выглядит парадоксальным и противоречащим практике, — но столь же парадоксально и то, что Земля вращается вокруг Солнца, а вода состоит из двух легчайших газов. Научная истина всегда парадоксальна...». Как видим, его привлекает внешняя, театральная сторона науки, — ведь изнутри наука ничуть не парадоксальна. Парадоксальность — сильнейший художественный прием. В науке Маркс был посторонним.

Чтобы понять Маркса, нужно понять эпоху, в которую он жил. Первой ее особенностью была тяга к построению всеобъемлющих теорий. Заключить в единые рамки всю биологию, историю, философию (или громадные области этих дисциплин) — вот что грезилось в XIX веке мыслителям, большим и малым. Дарвину, допустим, это почти удалось; его поправили во многом, но пока только в частностях, и — ни в чем кардинально не опровергли. Геккелю, как недавно стало ясно, повезло меньше. Он, при жизни вознесенный на пьедестал, отвергнут практически целиком. Например, онтогенез вовсе не повторяет филогенез, — а какая упоительная, какая красивая теория! И какая фраза была! Мечта поэта... Работы историков-монументалистов типа Моммзена и фон Ранке тоже продержались как исчерпывающие не слишком долго, много меньше, чем рассчитывали их авторы, работавшие под Фукидида. (Но эти труды всё-таки живы. Настоящий историк обязательно должен быть еще и писателем. Тогда он, что называется, «в ограде божьей». Хорошо написанные тексты живут дольше любых научных теорий.)

К слову сказать, научной гигантоманией страдали преимущественно ученые германской школы. Ее последняя жертва — Альберт Эйнштейн, честный продолжатель великой немецкой традиции XIX века в веке двадцатом. Он так и умер

с уверенностью, что «Бог не играет в кости». Увязать относительность с квантами, запихать их в одну корзину Эйнштейну не удалось.

В русле этой германской традиции трудился и Карл Маркс. На частичную истину себя не разменивал — потому и сделался пророком, а как ученый остался ни с чем.

Еще один любопытный прием состоит в том, чтобы перечитать беллетристов, которых любил Маркс. Тогда в *Капитале* обнаруживаются чисто литературные заимствования, например, из Диккенса и Стерна. Главное в этом труде (настаивает Поппер) — мрачная игра воображения. Это викторианская мелодрама, или, если угодно, готический роман, герои которого поработаны созданным ими чудовищем. Но более всего *Капитал* — сатирическая утопия в духе Свифта. Этого писателя Маркс обожал. В его библиотеке важное место занимало четырнадцатитомное собрание сочинений Свифта, купленное за четыре шиллинга шесть пенсов. Потому-то труд Маркса полон силлогизмов, парадоксов, метафор, причудливого дурачества, иронии и карикатур. Люди у Маркса лишены воли, его полнокровные действующие лица, его настоящие лирические герои — товары, зарплаты, цены и доходы, которые манипулируют людьми, как разменной монетой. Маркс изобразил фантастическую страну, жуткое зазеркалье, в котором всё перевернуто вверх дном, и человеку — нет места. Этим он сделал важное и полезное дело: вскрыл язвы нашей цивилизации, способствовал самокритике и обновлению общества. Нужно ведь признать, что дозированный социализм, во-первых, существует повсюду, даже в самых крепких цитаделях свободного рынка типа Великобритании и США, а во-вторых, — является благом. Несомненное зло, как нам показала история, — только социализм тотальный.

Так что не всё у Маркса плохо — ведь, что ни говори, а сатирик полезен. Старший современник Маркса, русский поэт Евгений Боратынский, говорит о сатире:

Дыша любовь к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им.

Вынесем за скобки иронию — и увидим: сатирик содействует смягчению нравов и улучшению общественного устройства. Тотальный социализм, словно карточный домик, рухнул

в странах Восточной Европы, — ура! А социализму теоретическому скажем спасибо. Государственные пенсии и пособия по безработице, принятые во всем цивилизованном мире, — установления вполне социалистические. Их и в помине не было во времена Маркса, в эпоху классического капитализма.

КРИСТЕВА И КО: ТАНЦУЕМ ОТ СТИЛЯ

В конце 1990-х в США вышла книга под названием *Impostures Intellectuelles* (*Фальшивые интеллектуалы*), вокруг которой разразился скандал — из числа тех, что происходят нечасто и всегда открывают нам нечто важное о нас самих и о природе нашей цивилизации. В книге утверждается — ни много ни мало — что французские философы наших дней претенциозны и многословны, но вместе с тем и крайне бестолковы; что они, в сущности, несут полную чепуху, надувая себя и других.

Вполне понятно, что уже одним своим подстрекательским названием (намеренно написанным по-французски) книга вызвала бурю негодования в Париже. Авторы книги — физики: американец Алэн Сокал и бельгиец Жан Брикмонт. Их тезис таков: французские философы оттого непонятны до полной невразумительности (а это в XX веке признают многие), что им просто нечего сказать. Авторы не остаются голословными — и доказательно разбирают тексты французов, не оставляя от них камня на камне.

Под обстрелом оказались такие течения мысли как постструктурализм и постмодернизм (между прочим, плохо поддающиеся определению; иные скажут: и вовсе выдуманные) и такие известные люди как левый философ Роже Дебре, математик и психоаналитик Жак Лакан, семиотик Юлия Кристева (француженка болгарского происхождения) и комментатор газеты *Либерасьон* Жан Бодрийяр, тоже именующий себя философом. По словам авторов книги все поименованные (и не только они) вовсе не мыслят, а всего лишь умело комбинируют известные им понаслышке псевдонаучные идеи с сомнительными социологическими рассуждениями. Это варево они слабривают амулетами напыщенной терминологии, бряцают эрудицией, намеренно устраивают стилистические потемки, — одним словом, пишут, чтобы писать, создают видимость значительности, не сообщая

читателю ничего. Какова их цель? Она стара, как мир: привлечь к себе внимание, добиться славы, заработать на славе. Продукт этих мыслителей — «интеллектуальное надувательство» и даже «интеллектуальный терроризм».

Первым делом у новейших французских философов бросается в глаза непонимание существующих в науке терминов, злоупотребление терминами, применение терминов не к месту. Они слышали звон, да не знают, где он. Бодрийяр, например, философствует о «мультирефракции в гиперпространстве». Каждое из входящих в эту комбинацию слов существует в физике и несет известный смысл: и рефракция (преломление), и пространство, и гиперпространство, — но, сведенные вместе и снабженные роскошными префиксами, они лишены всякого смысла и являются типичным наукообразием, пустозвонством. Люди, прибегающие к подобным уrolливым гибридам, всего лишь «мутят свою воду, чтобы она казалась глубже», как Ницше сказал о поэтах. Они и есть несостоявшиеся поэты. До мыслителей — не дотягивают, поскольку не мыслят, поэтами не являются, поскольку из всех человеческих чувств способны вызвать только недоверие и возмущение, притом к себе. Вот, скажем, пассаж, взятый у Юлии Кристевой:

«Понятие конструктивности, исходящее из аксиомы выбора, соотнесенного со всем тем, что мы сводим под определением поэтического языка, объясняет невозможность утверждения противоречия в пространстве языка поэзии...»

Действительно, тут оторопь берет. Сколько ни вглядывайся в эту фразу, она — чистый вздор. Если Кристева и хотела этим сказать что-то осмысленное, то не смогла, не додумала свою мысль. Но скорее всего она и не хотела. Это просто дымовая завеса, потемкинская деревня. За нею зияет пустота. Как же после этого считать госпожу Кристеву мыслителем? Мыслитель выбирает кратчайший, экономнейший путь для своей мысли. Он ищет простых и выразительных формул. Особенно в последние полтора столетия, когда величайших философов находим среди физиков и математиков. Да и в прежние времена это было так. Спиноза излагает свою «*Этику*» в форме теорем. Второй закон Ньютона — величайший взлет философской мысли за всю человеческую историю — выражается простой линейной зависимостью, тремя символами. В уравнении Эйнштейна

(ошеломляющем, но всё же не столь великом) тоже три величины, тоже — линейная зависимость. А тут — какая линейность! Тут, как говорит Гамлет, «слова, слова, слова».

Разумеется, книга встречена взрывом патриотического негодования «на левом берегу Сены», в Латинском квартале, некогда считавшемся средоточием французской бунтарской мысли, — считающимся и в наши дни, но теперь уже скорее по инерции. Какой бунт в сытой, преуспевающей социалистической Франции? Против чего бунтовать? Разве что против Америки. Ей французы сразу нескольких вещей простить не могут: и экономического могущества; и английского языка, теснящего французский прямо во Франции; и помощи, самое главное, в освобождении от нацистов (услуга из тех, которых не никогда прощают).

Париж взорвался. В *Фигаро* появились статьи под названиями: «Это — война!», «Левый берег — под обстрелом!» Сколько было всего написано! «Острый галльский ум» исходил пеной. Мадам Кристева, как и подобает натурализованной француженке, назвала книгу в первую очередь франкофобской.

Любопытным образом попробовал защитить своих соотечественников французский ученый Паскаль Брюкнер. Он заявил, что недоразумение вызвано различием культурных традиций: англосаксонская мысль исходит, мол, из фактов, а французская — из стиля. Тут впору спросить: а немецкая? а русская или итальянская? И как это можно одним стилем довольствоваться в качестве отправной точки? С каким презрением выслушал бы этот довод Рене Декарт!

Но, может, это только французские философы заврались? Нет, непохоже. Скорее мы имеем дело с явлением, насквозь проникающим всю современную интеллектуальную жизнь.

Один из авторов нашумевшей книги, Ален Сокал, преподает в университете штата Нью-Йорк, научную репутацию имеет солидную, но громкое имя составил себе в 1998 году с помощью не совсем обычного эксперимента. Он опубликовал в американском университетском журнале *Social Text* статью, устроенную, как и все научные статьи: исходящую из гипотезы, оснащенную аппаратом ссылок, изобилующую терминами, снабженную выводами. Редакция журнала приняла ее сразу, без возражений и оговорок. По выходе статьи ученые мужи

по обе стороны Атлантики согласно кивали головами, — а между тем Сокал, выждав некоторое время и набрав необходимое количество отзывов, показывающих, что одобрение его работы было, в сущности, полным и единодушным, опубликовал другую статью, в которой признавался, что подшутил над ученым миром и считает сущим вздором содержание своей предыдущей наукообразной работы. Идея, которую с такою дерзостью проводит Сокал, проста: с тех пор как наука стала доходным занятием, она сделалась привлекательной для спекулянтов и шарлатанов всех мастей, — людей, не только в научном отношении недобросовестных, но и просто нечистых на руку.

Тут, согласимся, есть над чем призадуматься. Давно ли наука казалась нам храмом, а добросовестность ученого — делом само собою разумеющимся? Эти слова даже образовывали устойчивое сочетание: «добросовестность ученого». Правда, скандалы и подтасовки в науке случались во все времена, — но испокон веку сами же коллеги проворовавшего, противопоставляя кастовую честь кастовой солидарности, первыми спешили изобличить обман, так что мелкие фальсификации обыкновенно были сущими однодневками. Круговой поруки не наблюдалось.

Бывали, конечно, и крупные фальсификации — даже в Германии, даже в XIX и XX в веках. Одна из самых известных — на совести талантливое немецкого биолога Пауля Каммерера (1880-1926). Это был страстный ламаркист, веривший в наследование приобретенных признаков. Он подтасовал свои эксперименты с жабами, был пойман с поличным и покончил с собою; не пережил позора и крушения своей ученой иллюзии. Ибо верил, что, в сущности, он прав, а только опыты ему не удались. (Занятно, что незадолго до смерти Каммерер — открытый ламаркист! — получил должность профессора в московском университете — в советское время, в дарвинистском раю; занять кафедру, впрочем, не успел; едва ли и собирался; в ту пору быть ученым еще значило для многих — быть *немецким* ученым; научным центром мира была Германия.)

Другие не то чтобы фальсифицировали, а чуть-чуть подправляли свои опыты и наблюдения, и тоже — в угоду большой, красивой, соблазнительно-всеохватной теории, в угоду воображаемой логике природы или Бога. За ними обыкновенно стояла великая страсть гармонизировать мироздание, и та же, кто у Каммерера, вера в свою конечную правоту. В сущности,

иные из них были скорее мечтателями. Эрнст Геккель, например, не сомневался, что «онтогенез повторяет филогенез», отправлялся от не совсем аккуратных опытов, но верил в это всем сердцем, — и поспешил осчастливить человечество стройной теорией. Он был убежден, что со временем некоторые неувязки разъяснятся, нехватка опытных данных восполнится скрупулезной работой ремесленников от науки, и общий его вывод — его закон! — подтвердится. Высказанный в 1874 году, этот красивый тезис был окончательно опровергнут только в самом конце XX века.

Всегда чуть-чуть прикрывали прорехи своих теорий и философы. Возьмем Карла Маркса, который — вовсе не худший пример. Он если и был отчасти визионером и мечтателем, то всё же полным шарлатаном и пустословом его не назовешь. Его утопия стройна и всеохватна (как и подобает теории немца его времени). Она, кроме того, прекрасно читается, воспринимается и усваивается. Она — упоительна. Иные из его выводов верны, другие ошибочны, все — красивы, а прогнозы — вещь особая, тут и догадка — не заслуга, и ошибка — не промах. Всё списывается на страсть, на другую, ненаучную правду. Кто мог угадать источник взрывных социальных перемен в науке и технике? Если бы 150 лет назад социологу или экономисту сказали, что к концу XX века прямым производительным трудом, достаточным для того, чтобы всех накормить и одеть, будет заниматься 15% населения, а в сфере перераспределения информации («переносом порток с гвозда на гвоздок», по русской пословице) будет занято вдвое больше, он решил бы, что имеет дело с сумасшедшим. Общества, где все сыты, и на горизонте не было.

Но вернемся к тому возражению, которое Паскаль Брюкнер выдвинул в защиту своих соотечественников. В нем есть своя правда. Мы ведь и в самом деле во многом остаёмся внутри парадигмы, заданной языком. Стиль и строй нашего мышления сопряжены с конструкциями и звуками родной речи. Давно отмечено, что немецкий язык благоприятствует философам, французский — беллетристам, русский — поэтам. Давно известно, что в художественной литературе мысль действительно *художественная* в принципе неотделима от воплощающих ее слов, — но ведь и философия не существует без своей литературной оболочки, невозможна без емких, запоминающихся,

подчас спекулятивных и насыщенных метафорами формулировок, роднящих философа с поэтом. Отнять у мыслителя право на такие формулировки значит лишить его мысль полета.

В связи с этим можно порадоваться тому, что человеческая мысль всё еще (пока) развивается в нескольких руслах мощных языковых традиций. Если бы мировая уравниловка уже покончила с этим; если бы (вообразим на минуту) все мы перешли на эсперанто, латынь или тот же французский (по мнению многих, самый изящный и организованный из языков), — одернуть завравшихся пустословов было бы куда труднее. К несчастью, энтропия в обществе копится, языки умирают, а один из них, далеко не самый организованный темзинский диалект (в нем сегодня насчитывают 614 тысяч общеупотребительных слов — против ста тысяч во французском и ста восьмидесяти в немецком) грозит захлестнуть всё человечество. Предотвратить это, судя по некоторым признакам, нельзя или крайне затруднительно, — но бороться против энтропии нужно, ибо это борьба за наше с вами духовное выживание. Даже если допустить, что Сокал и Брикмонт хватили в своей критике через край, их книга — напоминание о необходимости такой борьбы.

(публиковалось под псевдонимом Никифор Оксеншерна)

ЕСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ КОНТОРА КУКА

The Marbles Reunited. «Воссоединенные мраморы», если дословно. Так называется новое британское движение за «возвращение» коллекции Элгина в Афины. Точнее, старо-новое. Возродившееся из пепла. Первым его представителем был еще Байрон.

Коллекция состоит из архитектурных и скульптурных частей фриза Парфенона. Старо-новую агитацию за отдачу коллекции сейчас связывают с именем Робина Кука, бывшего британского министра иностранных дел в лейбористском правительстве Тони Блэра. Кук запомнился тем, что ушел в отставку, якобы возмущенный войной против Ирака, а на деле — в поисках дешевой популярности. В 2005 году он внезапно умер, но дело его живет.

Старо-новым (как синагога в Праге) и западно-восточным (как «Диван» Гете) является и вопрос, возникающий в связи с коллекцией: до какой степени все мы, современники, совесть потеряли.

ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЙ ГЕНИЙ

Парфенон — главный храм древнего афинского акрополя, в честь богини Афины Девственницы — многие считают величайшим *общественным* зданием всех времен и народов, величайшим в смысле его художественной ценности архитектурным сооружением человечества. Строился он с 447-го по 438-й год до н.э., то есть всего девять лет. Это в сознании не укладывается. Средневековые христианские соборы Европы возводились веками, силами общин более многочисленных, более богатых, чем крохотные (по теперешним представлениям) и бедные (даже по средневековым меркам) Афины классического пятого века до новой эры. Но на то он и классический. По талантности это исчезнувшее племя — древние афиняне, аттические ионийцы — ни одному народу мира не уступает;

по вкладу в мировую культуру — всех превосходит. Всё, что нам сегодня льстит (кроме монотеизма и римского права), современный мир получил в зачатке из древних Афин: науку, философию, математику, театр, историю, искусство, архитектуру, демократию. У других народов эти вещи были синкретическими составляющими культа. Афиняне первыми догадались сообщить им человеческое, а не божественное измерение. Это был гениальный бросок в будущее. Парфенон — овеществленный гений афинского народа. В древности у людей язык отнимался, когда они впервые видели, как эта беломраморная громада невесомо парит на фоне яркого аттического неба.

Почти тысячу лет Парфенон оставался храмом языческой богини. В эпоху Византии стал христианской церковью, причем христиане разрушили его восточный фронто́н. В 1458 году (через пять лет после падения Константинополя) он был превращен в мечеть и снабжен минаретом. Целых 2115 лет, до самого 26 сентября 1687 года, храм простоял почти невредимым, словно бы отрицая время, но в этот роковой день в него угодило ядро венецианской корабельной пушки. Угодило не куда-нибудь, а в пороховой склад. Взрыв уничтожил все стены и всю внутренность храма, повалил 14 из 50 колонн. Упала мраморная крыша. Частично погибли фризы и фронтоны. После этого в разрушительную работу включилось время. И люди.

ТОМАС БРЮС, ЛОРД ЭЛГИН

Городок Элгин известен в Шотландии во всяком случае с XII века. Имя Брюс — в числе самых славных в этой стране. Его носил человек, который в 1314 году пресек английские посягательства на шотландскую независимость (заметим: и по сей день незыблемую и бесспорную; Шотландия — политически столь же независима, что и Англия; две страны составляют династическую унию, возникшую в 1603 году под шотландской короной). Роберт Брюс был королем шотландцев с 1314-го по 1329-й.

Его потомок, сэр Томас Брюс, 7-й граф Элгин, 11-й граф Кинкардин, был чрезвычайным британским посланником в Константинополе с 1799-го по 1803 год. Почему чрезвы-

чайным? Британия воевала с Наполеоном (переворот 18 брюмера приходится на ноябрь 1799-го) — и война шла не на жизнь, а на смерть. Нельсон не случайно вознесен на такую высоту над Трафальгарской площадью. Ни Великая армада, ни нацисты не внушали британцам большего страха, чем корсиканец.

В 1802 году сэр Томас, знаток и ценитель античности, получил у султана Селима III разрешение «вывезти из страны любой кусок камня с надписями или изображениями». Турция, как и Византия, не дорожила языческими руинами. Обломки статуй веками растаскивали на кладку домов и на известковый раствор. Половина из них уже была безвозвратно потеряна, другая — находилась под угрозой; Элгин предвидел, что греки возьмутся за оружие против турок, и тут от древнейших памятников вообще ничего не останется. За десять лет, с 1802-го по 1812-й, он переправил в Лондон многие упавшие плиты и фигуры Парфенона. На деле — спас их.

Дома на Элгина посыпались обвинения. Выступил, среди прочих, и лорд Байрон, вообще любивший протестовать. Коллекционера называли грабителем и варваром. Но когда Элгин опубликовал свой отчет, здравомыслящие люди успокоились. Стало очевидным, что рельефы и статуи именно спасены. С этим согласилась и специальная парламентская комиссия. В 1816 году Элгин продал свою коллекцию Британскому музею за 35 тысяч фунтов стерлингов (себе в убыток; сам истратил 39 тысяч, по тем временам — деньги колоссальные).

ЧЕЙ МРАМОР?

Коллекция попала в Лондон легально. Документы, полученные Элгином от турок, в полном порядке. Греции, требующей «возврата», не существовало на политической карте мира. Парфенон был в Турции, а Турция возврата *подаренного* не требует.

Но, может, Турция владела Парфеноном незаконно? Такой довод выдвигают «греческие патриоты». На это международное право твердо (хоть и не прямо) отвечает: все государства

возникли в результате войн и захватов. Не исключение и теперешняя Греция. Законных оснований для передачи сокровищ в Афины — нет.

Эти простые соображения не раз прозвучали в здравомыслящей европейской печати. Кто не вовсе потерял совесть, повторяют их и сейчас. Но вот чего произнесено не было, вот что мы добавим: сегодняшние греки имеют к Парфенону не большее отношение, чем сегодняшние египтяне — к пирамидам. Парфенон был возведен не их предками. Сегодняшний греческий народ возник в результате смешения многих рас и народов: эллинов, римлян, авар, болгар, славян, турок, семитов, армян, готов, скандинавов. Этнически они не больше эллины, чем жители Сицилии или Анатолии, где эллины жили веками. Славянский элемент особенно важен. Константинополь уже в VII-XIII веке махнул рукой на Пелопоннес и Аттику — до такой степени они были в руках многочисленных и плохо управляемых славян. Гениальное крохотное племя афинян к этому времени давно растворилось в славянском море. Кстати, именно оно, а отнюдь не все эллины, даже если допустить, что они всё еще тут, могло бы претендовать на Парфенон. Фивы и Спарта к нему руки не приложили. Но афинян эпохи Перикла на земле нет. Следа от них не осталось.

В культурном отношении Европа вышла из Парфенона, как Афина Паллада — из головы Зевса. Парфенон — достояние всех европейских народов. Ни у одного народа нет на него исключительных или преимущественных прав. Исторически случилось так, что большая часть его досталась Греции, значительная часть — Великобритании, а части поменьше — еще восьми странам (десяти музеям, включая Лувр).

ЧТО ТАКОЕ МУЗЕЙ?

Музеи, как и государства, исторически появились в результате завоеваний и грабежей. Самый первый музей в истории создал в Вавилоне не кто-нибудь, а Навуходоносор. Уже этим всё сказано. Разумеется, с тех пор многое изменилось. Мы цивилизовались. Но идея музея — всё та же: там, в первую очередь, собрано то, чего нет дома.

Современные собрания типа Британского музея разворачивают перед посетителем грандиозную панораму смены цивилизаций, их взаимодействия и преемственности. Не покидая одного здания, мы видим, что эллины взяли у ассирийцев, персов, египтян, и тут же — *что* они, эллины, вручили своим прямым наследникам, молодым народам Европы.

Теперь вообразим на минуту, что безумие восторжествовало, и коллекция Элгина водворена в построенное для нее здание на Акрополе. Во-первых, ее значение тотчас упадет. Там, в Афинах, этот мрамор не только потеряется, он в значительной степени умолкнет: будет говорить только об эллинах и Афинах, не об Ассирии, не о хеттах и египтянах, которые влияли на становление культуры древних афинян. Во-вторых, прецедент будет создан, и начнется расформирование всех прочих музеев мира. Лувр «вернет» Греции Венеру Милосскую и Нику Самофракийскую, а Италии — Мону Лизу. Берлинский Пергамский музей «вернет» Ираку вавилонские ворота Иштар, а Турции — пергамский алтарь Зевса... Эпоха музеев кончится.

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Новая британская кампания за «возвращение мрамора» отличается от прежних одним: подтасовкой. Курс взят на то, чтобы обмануть общественное мнение. Бывший министр Робин Кук прекрасно знал, что ни один суд в мире не поставит под сомнение права Британского музея. Знал, что даже у самого британского парламента нет конституционного права на передачу другому государству объектов, представляющих собою национальное достояние. Знают это и его соратники. Как же они действуют?

Имеется так называемое «предложение Греции»: передать коллекцию Элгина в Афины — «на экспозицию». За это предложение и встали горой кукисты. Коллекция, говорят они, останется в Афинах собственностью британского народа. Но Греция (тоже понимающая, что юридический барьер непреодолим) не скрывает, что, заполучив коллекцию, возвращать ее не намерена. Там уже и здание под нее построено (характернейшая наглость, в духе политических демаршей стран третьего мира). И где построено? На месте самом

археологическом. Специалисты слезами обливаются: под новым музеем погребены драгоценные артефакты эпохи Византии. Греческий верховный суд дважды признал это строительство незаконным. Но правительство и бровью не повело. Ему суд не указ.

А между тем еще при жизни Кука его контора провела опрос среди британцев — и оказалось, что целых 73% — *за*... За что? Вопрос был сформулирован лукаво: «Считаете ли вы, что Британский музей должен разрешить “воссоединение мраморов Элгина”, с тем, чтобы они опять были выставлены в Афинах, откуда вывезены?» Как тут не ответить: да?! У порядочного человека просто выхода нет. А вместе с тем всё здесь — ложь и подтасовка, чтобы не сказать — подлость. Прежде всего — слово «опять». Когда это они, мраморы, «были выставлены» в Афинах? Ведь агитаторы знают, что Элгин вытащил сокровища из-под груды мусора, спас от уничтожения (а те, кого они опрашивают, могут не знать). И что за «воссоединение»?! Ни один человек не думает водворять обломки фриза туда, откуда они упали. Замечательно и то, что слово «выставлены» расчетливо прикрывает передачу навечно.

В том же духе — и прочая фразеология кампании: «украденные британцами сокровища», «грабеж». Кук договорился до того, что «Элгин варварски разобрал (!) Акрополь». И такой вот человек — метил в премьер-министры Великобритании! Не стал им, а в принципе — мог. Потому что таковы нравы в современной политике, и где? В Великобритании! Ради славы и власти забыто всё.

А мы еще спрашиваем: почему демократия — зло...

Верно: Куки приходят и уходят. Верно и то, что в тоталитарных и авторитарных странах с культурным достоянием обходятся зачастую еще хуже (в современной России музейные ценности и архивы разграбляются с варварством прямо-таки ассирийским; от нацистов уцелело больше, чем оставят после себя новые русские). Но Кук — симптом. Если такие лидеры возвышаются над массами, то в пору говорить о глубоком кризисе демократии; о том, что Запад скатывается в энтропийную яму, прямой дорогой идет к охлократии. Закат Европы подкрался не с той стороны, с какой его ожидали.

А Восток... Нет, Восток лучше вообще не трогать. Там и энтропия может показаться наименьшим злом.

БРИТАНЦЫ О НЕМЦАХ

Самые цивилизованные народы косятся на соседей со смесью недоверия и презрения. В массовом сознании господствуют схемы, предрассудки, мифы. Взять хоть британцев, давших миру Ньютона и Дарвина. Что они думают о немцах, народе мыслителей и композиторов? Да ничего хорошего. Настолько ничего, что институту Гёте, германской правительственной организации, пришлось затеять в Великобритании специальную кампанию по перестройке сложившегося тут образа немца. А образ этот начинается с того, что вульгарная, простонародная кличка немца — гунн. Откуда бы ей взяться? Никаких исторических корней для этого нет и в помине. А вот откуда: от имени Ганс. Ну, и от представления о том, что сосед дик и космат. Русское слово «немец» тоже, кстати, очень выразительное. Означает оно, что от германца слова человеческого не дождешься.

Недавно институт Гёте подвел итоги своей двухлетней работы — и в недоумении разводит руками. Работали, можно сказать, почти зря. Немец по-прежнему вызывает у британца три основных ассоциации: нацизм, футбол и автомобили. Не густо. А четвертая, побочная ассоциация — пиво: толстый самодовольный баварец в шляпе с пером, гетрах и с громадной пивной кружкой.

Только треть молодых британцев не чувствует отталкивания от немцев. У остальных — что-то свербит в душе при упоминании о самой мощной державе Европейского союза. А ведь кампания института Гёте (она называлась *Cool Germany*, что на новейшем жаргоне означает *потрясающая Германия*) была основательная — и целевая: обрабатывали в пользу немцев более четырех тысяч школ и предприятий. (Заметим, что и Лондон в Германии занят примерно тем же: убеждает немцев, что британцы — народ что надо, а Британия — страна потрясающая.)

Пожалуй, в одном институт Гёте просчитался: упор был сделан на плакаты и проспекты *юмористические*. Верно, у британцев с чувством юмора всё в порядке; он, юмор, в известном

смысле — ключ к пониманию психологии этого островного народа. Опросы показывают, что и другие народы Европы ценят британский юмор, выделяют его и его носителей. Но вот у немцев-то как раз дела с юмором обстоят не совсем блестяще. Повсюду в Европе, начиная с России (даже еще пушкинской России), немец, притом немец самый дельный, представляется несколько деревянным. Ни один народ мира не свидетельствует лучше, чем немцы, что тупость и глупость — вещи разные. Заостряя характеристику до карикатуры, можно сказать, что в представлении многих народов немец очень умен, но при этом несколько туп.

Плакаты, выпущенные институтом Гёте, не опровергли этого представления. «Выучи немецкий — и увидишь, что дело не исчерпывается блондинками!», гласит один из них. Тут, по правде сказать, оторопь берет. Что же, блондинки в Британии, что ли, перевелись? Или, может, немки со своей Клавой Шиффер красивее? Сомневаемся. Видим только, что ростом они крупнее (как и мужчины-немцы крупнее британцев, хотя и тем, и другим далеко до голландцев или датчан).

Представитель института Гёте Клаус Кришок признает: «Похоже, за два года упорной работы нам так и не удалось представить Германию в более выгодном и привлекательном свете. Поразительно, как глубоко застряли в британском сознании некоторые стереотипы...»

Что ж, и это правда. Британцы — косны, упрямы; не только в хорошем, но и в дурном смысле консервативны. Всё это есть. Добавьте еще, что опросы проводились в основном среди молодежи, которая — наше светлое будущее. Про нее (и тут уж про всю молодежь, не только про британскую) приходится сказать, что она не перегружена знаниями. Просили, например, назвать имена самых знаменитых немцев. Тут, разумеется, главная трудность в том, что их невероятно много. Не знаешь, с кого начинать: с Фридриха Барбароссы или с Баха, с Мартина Лютера или с Канта, с Дюрера или Лейбница. А молодой британец, почесав за ухом, припоминал чаще всего всё ту же Клаву Шиффер (которая живет в Британии) — и, понятно, Гитлера. Унылая картина! Догадываемся, что бы тут сказал Гёте. За ним такое высказывание числится: «Тот, кто не может окинуть мысленным взором три тысячи лет истории, пребывают в дочеловеческом состоянии...»

Ну, и язык, великий немецкий язык, про который давно выяснено, что он лучше любого другого способствует отвлеченной мысли. Институт Гёте сокрушается: только 22 процента молодых британцев сказали, что они немножко могут говорить и понимать по-немецки. Здесь, решаемся думать, сокрушаться нечему. В сущности, это здорово. Процент — высок. Где еще он будет выше? Только в германоязычных странах. Кстати, в Европе — около ста миллионов человек считают немецкий родным (или, во всяком случае, пользуются им ежедневно). Английский и французский оставлены далеко позади. Испанский — тоже (а ведь он второй из мировых языков, по числу носителей уступает только китайскому). Не исключено, что даже русский язык как раз сейчас уступает или вот-вот уступит немецкому; тут тоже должно быть сейчас примерно 100 миллионов, потому что на неевропейскую часть России приходится больше сорока миллионов человек. А в Европейском союзе, как известно, отнюдь не немецкий является основным. Преобладает французский (хотя номинально все языки равноправны, и Брюсселю теперь нужны переводчики, скажем, с португальского на эстонский).

В связи с языком позволим себе американское отступление. Бытует легенда, что отцы-основатели США думали сделать немецкий язык государственным — чтобы совсем отгородиться от ненавистной Англии. Вопрос в пользу английского был будто бы решен большинством в один голос. В действительности такого законопроекта не было. (В январе 1795 года группа немецких эмигрантов из Виргинии обратилась в конгресс с просьбой напечатать три тысячи экземпляров федеральных законов по-немецки. Некоторые конгрессмены хотели отложить дебаты по петиции; это процедурное предложение и было отвергнуто 42 голосами против 41, а голосование вызвало к жизни легенду.)

Но легенда не случайно оказалась живучей; она подводит нас к вопросу о соперничестве языков — и народных правд. Если бы в колонизации Америки преуспели немцы или, скажем, французы со своей Луизианой (покрывавшей тогда весь Средний Запад до канадской границы), то сегодня мировым языком запросто мог быть не английский, а немецкий или французский. Хорошие шансы были у испанского, португальского и голландского. Вспомним, что первое имя Нью-Йорка — Новый

Амстердам. Именно Голландия могла оказаться на месте Англии. В XVII веке между этими странами было целых три войны — и воевали, можно сказать, за Америку. А мировой язык надвигается оттуда, из-за океана. И понятно, что успех английского — это успех американского доллара (кстати, слово «доллар» — искажение голландского «даалдер»). Успех этот именно экономический. По своим лингвистическим достоинствам корявый темзинский диалект, отнюдь не улучшенный за океаном, уступает и немецкому, и французскому, и некоторым другим языкам Европы.

Но он, можно сказать, уже победил, и деваться тут некуда. Опрос в Германии показывает, что целых 97 процентов молодых немцев знают английский, а 25 процентов говорят на нем свободно. А с языком — и английская культура получила мировой размах. Восемьдесят процентов немцев, не затрудняясь, называют британских знаменитостей, и не только мыльных (вроде Клавы), о которых завтра забудут. Пятьдесят процентов немцев относятся к Великобритании с симпатией (и это несмотря на немецкий пацифизм; британское вторжение в Ирак осуждают в Германии почти все).

Так что же, кампания института Гёте была вовсе напрасна? Нет, уверяет Клаус Кришок. Имеется громадное достижение: косный, упрямый британец всё же не видит больше в немце врага. Теперь уже нельзя сказать, что британец, вообще говоря, не любит немца. Немцы так рады этому, что решили продолжать кампанию. Глядишь, не за горами и полное любовное слияние.

Но это — вряд ли. И не потому, что два родственных народа не могут забыть кошмарных войн XX века, в которых они безжалостно уничтожали друг друга. Нет, проблема тут, решаемся думать, глубже. Проблема в том, что у каждого народа — своя правда, закреплённая в языке, а через язык — и в сознании. Неизреченная правда. Нечто важное, что принадлежит только ему, этому народу, а от других скрыто. Только эту правду, впитанную с молоком матери, и можно любить всей душой. Только за нее не страшно умирать. В темном массовом подсознании каждого народа живет потаенная мысль о том, что на самом деле он — лучший. Каждый народ обольщается на свой счет самым причудливым образом. От немецких писателей мы, например, не раз слышали, что немецкий народ — самый добродушный, а немецкий

язык — самый музыкальный, — но попробуйте убедить в этом русского или итальянца! Решительно каждый народ считает себя самым гостеприимным, самым отзывчивым, самым задушевным. Ни один народ не согласится признать, что ему — как народу — свойственны черствость, жадность или жестокость (а соседи часто думают о нем что-то в этом роде; на английском, например, *to go Dutch*, действовать по-голландски, означает: после дружеского обеда в ресторане платить только за себя). Проходят эти самообольщения — только вместе с народом, с его национальной смертью, стираются — только при унификации, при стирании национальных особенностей. Каждый год в мире исчезает несколько языков, и вместе с ними — и несколько неизреченных народных правд. Каждый день каждый из языков (не исключая и русского) хоть немножко, а сдает под напором английского. Никто от этого не становится богаче. Различия, даже противостояния — плодотворны. Разноязыкий Вавилон с его соперничающими правдами хорош низким уровнем энтропии. Для тока (для мысли, для движения) — необходима разность потенциалов. Когда британец полюбит немца, как самого себя, не будет ни британца, ни немца. И в мире воцарится чудовищная скука.

«Я НА СВЕТЕ ВСЕХ УМНЕЙ...»

Никогда не забуду этого специфического опыта. В возрасте сорока лет посадили меня за стол в обществе очень непохожих на меня (и друг на друга) людей, развернули передо мною тетрадку с кубиками, треугольниками, кружками и кляксами и предложили — дипломы и звания побоку — доказать, что я не совсем дурак.

Во всех языках мира существуют слова глупый и умный. В определении они не нуждаются. В иной компании стоит мимоходом упомянуть «этого дурака», и все уже знают, о ком речь. Но измерять интеллект стали сравнительно недавно. Первым взялся за дело двоюродный брат Дарвина, основоположник евгеники, психолог и антрополог сэр Фрэнсис Гальтон (1822-1911). Он был большой оригинал: полагал, что музыкальный слух или мускульная сила — косвенные свидетельства умственных способностей. Занимался самыми неожиданными вещами, например, статистическими методами исследовал эффективность молитвы. Из любопытства, но с риском для жизни, путешествовал по Африке. Он же составил карту Англии, на которой в баллах отмечалось... безобразии местных женщин (самые некрасивые оказались в Кембридже). Мимоходом, развлекаясь и увлекаясь, сделал несколько открытий. В частности, первым пришел к выводу, что наши отпечатки пальцев уникальны, совершенно как наши души...

Здесь вот что любопытно. До Гальтона в порядочном английском обществе было укоренено представление о гении и таланте в искусстве, но не в науке. Считалось, что люди бывают двух родов: нормальные и идиоты. Нормальные — все примерно одного и того же интеллекта. Если кто выдвинулся по части философии или физики, так это потому, что не ленился. Сам Дарвин думал именно так — и был поражен мыслью Гальтона, что люди рождаются с умственными способностями, варьирующими в широком диапазоне.

Плодотворную мысль Гальтона уразумели и стали развивать.

Современный психометрический подход разработал в 1904 году француз Альфред Бине (1857-1911). Затем идея была подхвачена психологом Льюисом Терменом (1877-1956) в Стэндфордском университете в США, где и возникла знаменитая теперь аббревиатура IQ (intelligence quotient, показатель умственных способностей).

Сегодня США буквально помешаны на тестировании мозгов. По слухам, даже кандидаты в уборщики мусора проходят тесты. С особым рвением американские психологи исследуют детей. Начинают с двухлетних, а пятилетним уже прямо произносят окончательный приговор, выраженный в баллах. С ним и живи, будь ты хоть пророк. Обжалованию он не подлежит.

Чтобы не обижать дураков, нижний балл в тестировании принят равным ста. Верхняя отметка — 200, но ее, кажется, еще никто в мире не достигал. Средний (нормальный) показатель — 120, притом он одинаков для женщин и для мужчин. Никакого преимущества у сильного пола не наблюдается.

Пользуясь тестами, американские психологи давно уже оценили умственные способности народов. Самыми глупыми, вообразите, оказались китайцы и русские. Обиженные народы спрашивают, и не без некоторого основания: а не косвенная ли это оценка тестов? Китайцы — древнейший народ на земле. Они умели писать в XII веке до н. э. — и это были *они*, сегодняшние китайцы, этнически мало изменившиеся. Музыка, танец, живопись, скульптура, театр существуют у них с глубокой древности. Китайцы изобрели колесо (во всяком случае, со спицами; известно с 1200 года до н. э.), бумагу, шелк, порох, книгопечатание, бумажные деньги, фарфор и еще многое. Теперь допускают, что они и Америку открыли задолго до викингов (не говоря уже о Колумбе). Но, может, они выродились, отстали? Такое с народами случается. Однако в лучших американских школах первыми по успеваемости идут обыкновенно выходцы с Дальнего Востока: японцы и китайцы, а уж вслед за ними — евреи.

Русские, наоборот, один из молодых народов. Вровень с западными народами русских поставили культурные и научные достижения XIX-XX веков, в первую очередь — литература. Поль Валери приравнивал русский роман XIX века к итальян-

скому Возрождению (как целому!) и культурному взлету Афин в V в. д. н. Тут он, конечно, хватанул, но и в преувеличениях, осознанных как таковые, есть своя правда. Английский и французский роман ему чудом не казались, а уж эти литературы куда как богаты.

Правда, эпохальных открытий вроде колеса, шелка или Америки, за русскими не числится (за французами и англичанами — тоже), да и самовар не ими придуман, а китайцами, но и глупыми русские нигде ни у кого не слывут. В чем же тут дело?

Отчасти — в *определении* народа. Английское слово nation, в его современном значении, правильно переводится на русский не как *нация*, а как страна. В первый раз ошиблись в 1945 году — когда возникла ООН, которая, по смыслу и определению, есть, конечно, организация стран, а не наций. Но в составном имени смысл отдельных слов уходит, поглощается смыслом словосочетания, чему и аббревиатура помогает. До перестройки нацию в России понимали как народ, не отрывали от этноса и культуры. В послеперестроечные времена, когда пришлось подыскивать замену формуле *советский народ*, опять, и опять некстати, подвернулось слово *нация*. Оно стало собирательным, включает в себя, если говорить о России, и русских, и татар, и чеченцев, то есть, в сущности, исподволь поменяло свое значение на обратное. Каких русских исследовали американцы? Русских русских, русских марийцев, русских евреев? Ответа нет. Исследуя себя, они учитывают расовую и этническую принадлежность испытуемых, а потом каким-то загадочным образом обобщают результаты (надо полагать, кое-что скрывая). В отношении русских этого сделано не было. Россияне взяты en masse. Получается, что американцы по психометрическим тестам — народ неглупый, но это *все* американцы, во всем их этническом многообразии. Сколько среди подвергшихся испытанию было этнических ирландцев, китайцев, немцев, поляков? Ответа опять нет. Именно такие данные обычно придерживают. (К слову сказать, именно поляки слывут в США тем, чем в России — чукчи. «Сколько нужно поляков, чтобы ввинтить лампочку? Пять. Один приставляет лампочку к патрону, а четверо других вращают под ним стол...» Но академические тесты поляков никак не выделяют.)

Еще одно объяснение психометрическим результатам американцев можно почерпнуть в знаменитом высказывании Бенджамина Дизраэли, любимого премьер-министра королевы Виктории: «Есть ложь, бессовестная ложь — и статистика...» Какова была контрольная выборка обследованных? Какова она по качеству и количеству? И что такое средняя температура по больнице? О тупости немцев твердили при Пушкине, твердят и сейчас, а в философии, физике, химии и биологии немцы преобладают по крайней мере до конца первой четверти XX века. Это потом мозги перетекли за океан, где денег стало много. Но и сегодня немцы на втором месте по числу нобелевских лауреатов. У меня под рукой таблица до 1994 года: США — 238 лауреата, Германия — 96, Великобритания — 85, Франция — 46, Швеция (sic!) — 30, Дания — 20, Швейцария — 19, Россия плюс СССР — 17, Канада и Нидерланды — 14, Италия — 13, Австрия — 11, Япония, Норвегия и Бельгия — 8, Ирландия — 7, Испания и Южная Африка — 6, Аргентина — 5, Израиль и Австралия — 4, Польша и Индия — 3; остальные меньше. Занятно, не правда ли? О многом эта статистика говорит, но о многом и красноречиво умалчивает. Построить на ней представление об интеллекте народа — дело безнадежное.

Россия по части разработки своих тестов отстает; в советское время они не поощрялись, что и правильно было. Но российские интеллектуальные состязания, так называемые детские олимпиады по школьным предметам, дали прелюбопытный результат. В течение десятилетий ни один из победителей в дальнейшем не стал даже доктором наук, не то что большим ученым. Получается, что и олимпиада — не показатель. Школа — тоже. Один из величайших мыслителей XX века, Альберт Швейцер (1876-1965), считался в школе мальчиком туповатым и едва не был исключен за неуспеваемость. Даже в музыке (а он потом, среди прочего, сделался еще и замечательным органистом) отставал. Не блистал на студенческой скамье и Альберт Эйнштейн. Наполеон был выпущен из артиллерийской школы в числе последних по успеваемости.

Вообще в Старом Свете тестирование пока не приняло повального характера. Спасибо традиции. Часто она оказывается умнее разума и его измерителей. Кто составляет тесты? Избранники божьи или самозванцы? Любое произведение несет

на себе печать авторской индивидуальности. Тест — не исключение. Даже если считать ученого-психолога человеком усредненным (а не психом, каковым он нередко оказывается), все равно субъективности тут не избежать.

Возьмем несколько тестов из российской печати последнего времени.

Подчеркните лишнее слово: селедка, дельфин, акула, скат, палтус, камбала.

Правильный ответ, говорят нам, — дельфин, поскольку он — млекопитающее, а остальные — рыбы. Но этот тест — переводной (как и большинство российских тестов), и ошибка переводчика допускает другой ответ: селедка. Действительно, рыба, под которую хорошо идет водка, по-русски — сельдь; селедка — скорее блюдо; или уж во всяком случае, просторечие, умншительно-ласкательное имя обитательницы морей *clupea harengus*, тогда как прочие имена — без всякой ласки. Выходит, что *грамматически* это слово выпадает из общего ряда. Вот вам и тест.

Или вот такая загадка на проверку ума:

Какой из городов не находится в Англии: Фидкраф, Доллон, Пурливерль, Золгаг, Рофдско.

Опять, правильный ответ (Глазго = Золгаг) на поверку оказывается неправильным: ведь Кардифф (Фидкраф) тоже город не английский, а валлийский, что особенно бросается в глаза в наши дни, когда Уэльс обрел, наконец, некоторую степень автономии. Составитель теста, что называется, сам дурак. Более того, здесь возможен и третий безукоризненно правильный ответ: ни один из городов не является английским. Перечисленных названий нет ни на карте Англии, ни в произведениях английский беллетристов, — а ведь о том, что города зашифрованы, тестируемый не предупрежден, стало быть вопрос — некорректен.

Именно из-за подобного рода некорректностей психометрические тесты вызывают у многих возмущение. Люди спрашивают психологов: с чего бы это вдруг нам играть в ваши игры, а не в свои собственные?

Наконец, ясно и то, что тест, даже самый что ни на есть объективный (если таковой вообще возможен), именно в силу своей объективности вытолкнет на обочину человека

действительно своеобразного, не говоря уже о гении. Идея психометрического теста — средний человек, возведенный в квадрат (в идеале — в куб). Представим себе такую картину: 1811 год; двенадцатилетний Пушкин поступает в лицей, — и вот ему, в качестве проверки интеллекта, предлагают продолжить числовой ряд: 1, 3, 7, 17... (члены, начиная с третьего, определяются по правилу $a_{n+1} = a_{n-1} + 2a_n$, которое и нужно угадать). Что, если бы он не справился? «Милостивый государь Сергей Львович, не обессудьте, сын Ваш, Александр Сергеевич, не может быть принят в Императорский Лицей, ибо не оказал на испытаниях достаточных умственных способностей...» Прощай, Евгений Онегин, Пиковая дама, «Я помню чудное мгновенье...»... Прощай, «наше всё»! Получился бы из Пушкина — Денис Давыдов, отважный гусар, пописывающий стихи. Ведь это признать нужно: не было у Пушкина математических способностей. И еще некоторых.

Иногда кажется, что тесты специально придуманы для газетных сенсаций. Одна из них вот какова: нас уверяют, что IQ женщин падает при наступлении климакса, а затем — еще раз падает, когда эта неприятность совсем уже позади. Мало того: чем выше начальный IQ, тем позднее наступает климакс, то есть сексуальная одаренность есть причина (или следствие) умственной. Приводятся ученые соображения, объясняющие нам эту гримасу природы. Что ж, может оно и верно. Что-то ведь тесты да измеряют. Вопрос только: что?

Сам я получил на этот счет урок — во время того самого испытания, с которого начал (и которое проходил в одной *кровожадной* ближневосточной армии). Рядом со мной сидел грузный человек лет 28-30, о котором, перемолвившись с ним, я узнал, что он торгует на рынке. Страницы теста он перелистывал с какой-то несколько даже пугающей быстротой, закончил первым — и сразу же был приглашен к начальству. Решительность, собранность, темп жизни, может, и сила духа — вот что, похоже, в первую очередь проверяется в ходе тестов. Они — не для созерцательных или артистических натур. Пушкин («умнейший человек России») закончил лицей предпоследним по списку, девятнадцатым из двадцати одного выпускника; вероятно, квадратного уравнения не мог решить. Мандельштам провалил в университете экзамен по литературе (не смог рассказать об Эсхиле) — да так и не получил высшего образования. Дарвин, Фарадей, Галуа — тоже никаких дипломов не имели.

Опомнятся ли американские психометристы? Трудно сказать. США в наши дни — страна поветрий, выращенных из человеколюбия, на деле же — обращенных против человека. Рука об руку с тестированием идет политическая корректность (нелепое, кстати, словосочетание), идея которой — уравниловка. Чем дальше, тем увереннее она внушает нам, что ум ничуть не лучше глупости. Спрашивается, зачем же тогда тесты?

Между прочим, идея политической корректности (и именно в такой форме, уравнивающая ум и глупость) родилась не где-нибудь, а в пореволюционной России, в голодном Петрограде 1921 года. Дело было вот как. Шло заседание Цеха поэтов. Председательствовал Николай Гумилев. Предстояло принять нового члена цеха: некоего Сергея Нельдихена, теперь прочно забытого. Этот господин читал стихи не то чтобы совсем плохие, а явно глупые. Технически — они были написаны сносно. Никому из собравшихся стихи не понравились, однако Гумилев настоял на том, чтобы Нельдихена приняли. В его защиту он сказал вот что: «Глупость донныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость — такое же естественное человеческое свойство, как ум».

(публиковалось под псевдонимом Никифор Оксеншерна)

II. ПЕНАТЫ

ЧТОБ КАФКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЮ (Первый съезд советских писателей)

Скажешь: 1934-й, и в сознании встает кровь людская, которую после убийства Кирова начали лить, как водицу. И это, конечно, главное. Но стоит поднести лупу к прошлому, и нас не в меньшей мере поражает другое: апокалипсическая серьезность, с которой разыгрывалась *русская народная кафка*. Немецкая каменная серьезность. Это ведь необходимо признать: стиль ведения партийных дел (не говоря уже о научных) заимствован русскими у немцев. Он и определил тональность первой половины XX века — больше, чем любые «идеи». Будь вожди чуть легчевеснее, легкомысленнее (на французский или хоть на британский лад), случись у них побольше юмора, поменьше академичности, — и число людей, погибших насильственной смертью в лагерях и войнах XX века было бы на миллионы меньше.

В 1934-м сперва состоялся «съезд победителей»: XVII съезд ВКП(б), возвестивший миру о победе генеральной линии партии в построении социализма. Занятно! Генеральная — и вдруг победила! Да кому же и побеждать? Маргинальной, что ли? Но это *теперь* занятно. А тогда — 1108 из 1966 делегатов партийного съезда были репрессированы. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК — уцелел 41. Началась большая чистка. Большая кафка. Русская — при всей многонациональности СССР. Стиль эпохи создался в том единственном на свете городе, который не верит слезам, — и создался по-русски.

ПАРАД БЕССМЕРТНЫХ

Вслед за партийным съездом состоялся другой, не менее победительный: первый всесоюзный съезд советских писателей. Заседали с 17 августа по 1 сентября 1934 года — с той же самой зловещей, в сознании не укладывающейся всемирно-исторической серьезностью. Всё было расписано как по нотам. Готовились манифесты почище Эрфуртской программы: резолюция первого съезда советских писателей, устав союза советских писателей и т.п. Писали золотыми буквами, возводили нерукотворный памятник. Строили на века, не хуже Рамсесов-Озимандий. Даже спорили с оглядкой на вечность.

Докладов было прочитано 22; речей произнесено 183; приветствий съезду зачитано 42. Приветствия почти сплошь были *явлениями*. В зал заседаний являлись делегации от самых неожиданных групп и обществ: от саамской народности Кольского полуострова; от рабочих литературных кружков Москвы; от моряков-командиров запаса Осоавиахима; от работниц, рабкоров и начинающих писателей; от художников-палешан; от рабочих — авторов технической литературы; от Люберецкой трудовой коммуны; от пионеров Базы курносых...

Были еще всяческие приветственные слова *от* съезда, числом 6. Догадываетесь, кому? Верно: первым делом — вождю-и-учителю. Но не только ему, еще наркому обороны Ворошилову, Ромену Роллану, а под занавес, на последнем заседании, — центральному комитету ВКП(б), совету народных комиссаров да плюс обращение к Эрнсту Тельману. Были заключительные слова (2), ответные слова на приветствия, оглашения и голосования (7), резолюции (2) и заявления (2). Протестов и возражений не было. Откуда бы им взяться в монолитном лагере победителей?

На 26 заседаниях примерно сто часов говорили по-русски, причем произнесено было на этом языке около полумиллиона слов. Русский ведь был рабочим языком съезда, что, разумеется, нигде не отмечено, потому что — какой же еще? Дурака валять не стали. О добровольно-принудительной русификации окраин, можно поручиться, даже и мысли у руководства не возникло, да и слово это (русификация) было не в ходу. Представители

народов, много превосходящих русских историческим возрастом и литературной традицией, изъяснялись на молодом языке, едва оформившемся за полтора года до съезда.

Сколько говорили на зарубежных языках, нам прикинуть не удалось (русские пересказы этих выступлений попадают в упомянутые сто часов и полмиллиона слов). С иностранцами, игравшими роль свадебных генералов, вообще большая путаница. Имен сколько-то известных всего четыре: Луи Арагон, Жан-Ришар Блок, Клаус Манн, Витезслав Незвал. В официальном списке 40 иностранных гостей, но на трибуну поднимался и немец Фридрих Вольф, в списке забытый. Есть в списке и мертвые души, неизвестные писатели (неизвестно, были ли они писателями): таинственный Удеану от Франции, Амабел Уильямс-Эллис от Британии (значится как Амабель-Вильямс Эллис) и Роберт Геснер от США. Энциклопедии о них не знают. Немцев было 10 человек, чехов и словаков — 6, французов — 5, шведов — 3, по паре в этот ковчег попало испанцев, датчан, греков, турок (оба турецких имени искажены) и американцев (один липовый), по одному от Нидерландов, Норвегии, Японии, Китая, Австрии и Британии (та самая леди Амабел). Кворум хоть куда!

Говорили на языках и неписатели. По-французски приветствие съезду произнес последний выживший участник Парижской коммуны, специально выписанный из Франции.

Делегатов с решающим голосом съехалось 377, с совещательным — 220 («одни животные более равны, чем другие»); всего, значит, 597 человек. Внушительная, большая литература! Но сегодня Краткая литературная энциклопедия знает из них только 389 человек; 208 человек (35%) даже и до этого специального издания не дотянули.

Большая кафка, понятно, не обошла писателей стороной. В последующие годы погибло в застенках и ГУЛАГе 182 два участника (30%), еще 38 подверглись разной степени репрессиям, но уцелели. А на фронтах второй мировой войны погибло всего 17 человек, все — с решающим голосом и (почему-то) преимущественно носители нерусских фамилий.

Еще одна любопытная черта съезда состоит в том, что это был съезд мужчин. На женщин приходилось лишь 3,7%. При этом из 22 писательниц четыре — иностранки; стало быть, среди иностранцев женщин — 10%.

Съезд был молод: средний возраст писателя составлял 36 лет. Самому молодому, Александру Филатову (1912-1985), было 22 года. «Коммунизм — это молодость мира...»

А вот и национальный состав (официальные данные): русские — 201, евреи — 113, грузины — 28, украинцы — 25, армяне — 19, татары — 19, белорусы — 17, тюрки — 14, узбеки — 12, таджики — 10, немцы — 8. Всего представлено 52 национальности, включая венгров и греков. Нашелся один итальянец, одна китайка и один лак (не подумайте, что лакировщик действительности; есть такая народность в Дагестане; впрочем, точнее было бы сказать: лакец, или казикумухец).

Ну, и партийный состав: 65% коммунистов и комсомольцев.

Перед большой кафкой, как перед Богом, все народы были равны. Берем в качестве пробного камня евреев. Их, насколько я вижу, погибло 35 из 182, то есть 19%, а процент евреев среди числа делегатов был — 18,9%. Никакой процентной нормы! Наоборот, Молох их даже миловал — общий-то процент погибших, как мы только что видели, — 30. Но есть и другой счет. Собственно еврейских писателей, идишистов, присутствовало на съезде 17 человек. С Бабелем, которого позволительно считать писателем еврейским, выходит 18. Уцелело трое. Уничтожено — 79%.

КТО ГОРДО РЕЯЛ

Не угадали. Горький. Упомянут на 271 из 714 страниц стенографического отчета. Тот, на кого вы грешили, отстаёт: упомянут только на 167 страницах. Разве он мог этого не услышать? Жить Горькому оставалось менее двух лет.

Ленин упомянут на 152 страницах, Пушкин — на 82, Маяковский — на 75, Маркс — на 71, Шекспир — на 62, Пастернак (еще не совсем опальный, наоборот, член президиума) — на 56, Лев Толстой — на 55, Шолохов (ему 29 лет) — на 49, Гоголь — на 43, Олеша — на 42, Достоевский — на 27, Бабель — на 17, Есенин — на 12, Заболоцкий (на съезд не попавший) — на 4 страницах.

Про этих писателей мы слышали. А вот кто такой Владимир Михайлович Киршон (1902-38) с рейтингом выше Шекспира? Был такой драматург. Естественно, репрессирован. И забыт. Sic transit gloria mundi.

Но если взглянуть на дело более пристально, то гордо реет на съезде всё-таки не буревестник революции, а — тот самый («не нужно имени: у всех оно в устах, как имя страшное владыки преисподней»). Его если уж упоминают, то не как Пастернака («с одной стороны... с другой стороны...»). А вот как:

«...неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина...» (Горький) «...Товарищ Сталин на XVII съезде партии дал непревзойденный, гениальный анализ наших побед...» (Жданов) «...нашему другу и учителю... Дорогой и родной Иосиф Виссарионович... Да здравствует класс, родивший вас, и партия, воспитавшая вас для счастья трудящихся всего мира!» (приветствие съезда вождю).

«...Да здравствует наш первый и лучший ударник, наш учитель и вождь, любимый т. Сталин!» (приветствие съезду от доярок).

С момента установления советской власти прошло неполных 17 лет. У власти Сталин — десять лет (двенадцать — генсеком). Как много человек успел!

КТО ОТСУТСТВОВАЛ

Ахматова, Мандельштам (уже в ссылке), Булгаков, Кузмин, Хармс (зато присутствовал Олейников; всё же член партии), Бенедикт Лившиц, Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев. Это понятно. Съехались-то советские писатели.

И еще: Городецкий, Крученых, Исаковский (?), Заболоцкий (арестуют в 1938-м), Лозинский, Шенгели, Павел Васильев...

Могли бы присутствовать: Вагинов, Платонов, Павел Бажов, Александр Беляев, Леонид Борисов, Гроссман, Пантелеев, Всеволод Рождественский, Соколов-Микитов, Эрдман...

Четверо — Арсений Тарковский, Дмитрий Кедрин, Мария Петровых и Леонид Мартынов — отсутствовали, можно сказать, по молодости, хотя были делегаты и моложе.

Многие — *совсем* отсутствовали: не упомянуты ни разу на 714 страницах. Среди них — Ахматова, Мандельштам, Кузмин, Бенедикт Лившиц.

ВОЗРАЖЕНИЙ НЕТ

Возражений по генеральной линии, разумеется, не было, но видимость демократии соблюдалась серьезнейшим, педантичным образом.

Открывает съезд Горький, коротким словом и — на правах *председателя оргкомитета* (а не кандидата в нобелевские лауреаты, каковым он был до переезда в СССР). Открыв, передает слово украинскому писателю Ивану Микитенко (уничтожен в 1937-м). Тот предлагает избрать «руководящие органы съезда». Оглашается список почетного президиума: Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе (покончил с собою в 1937-м), Куйбышев, Киров (убит в 1934-м), Андреев, Косиор (уничтожен в 1939-м), Тельман (сидит в берлинской тюрьме), Димитров (уже оправдан по обвинению в поджоге рейхстага), Горький... (*бурные аплодисменты; все встают...*) Заметьте, что Бухарина нет. Вот кому будут возражать.

«Разрешите, товарищи, ваши горячие аплодисменты считать одобрением почетного президиума съезда...»

Так же, аплодисментами, избрали Горького председателем съезда.

«В президиум предлагается 52 человека <не по числу ли национальностей? остроумно!>... Нет возражений? Возражений нет...»

Отметим некоторых членов президиума: Жданов (sic!), Демьян Бедный, Мехлис (!), Пастернак (!), А. Толстой, Тихонов, Фефер (расстрелян в 1952-м), Шолохов, Шагинян, Эренбург... Бухарина нет и тут, а ведь он редактор *Известий*.

«Возражений нет? Разрешите голосовать. Делегатов съезда прошу поднять мандаты. Кто за этот список? Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Президиум съезда избран единогласно...»

Совершенно так же избираются секретариат («Возражений по поводу количества нет? Нет...» и т.д.), мандатная комиссия (?) и редакционная комиссия, утверждаются «порядок работы» съезда и регламент.

Характерный момент: на теперешних съездах русских писателей (они называются конгрессами) вся эта мишура и показуха отмечена. Президиум назначен заранее, делегаты его не обсуждают. Все знают, кто начальство, а кто — статисты.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Их оказалось девять, по числу больших докладов о них, которые шли в следующем порядке: украинская, белорусская, татарская (притом, что Татария — автономная ССР), грузинская, армянская, азербайджанская, узбекская, туркменская и таджикская литературы.

Вот фрагмент из доклада тов. Ивана Кулика о литературе СССР:

«... значительная часть... ездили с экскурсией писателей на Беломорско-Балтийский канал, видели, как создаются там подлинные чудеса, невозможные ни при каком другом строе, наблюдали собственными глазами, как под влиянием ударной большевистской работы, большевистской правды вчерашние преступники, отбросы общества, перерождаются в сознательных, активных участников социалистического строительства. Мы видели условия, в которых содержатся там эти преступники. Таким условиям позавидовало бы немало западных рабочих, жестоко страдающих от кризиса и безработицы...»

Сам Иван Юлианович стал отбросом общества в 1937-м. Погиб в лагере.

БЕДНЫЙ БУХАРИН

Вот кого нельзя не пожалеть. Как страшно он умирал! Как не хотел умирать... Никто не хочет, но он-то словно в кривое зеркало угодил. От рук друга и соратника. Сталин уверял его (косвенно, через следователя-палача; в личной

встрече отказал, на письма из тюрьмы не отвечал), что нужно умереть ради дела мирового пролетариата, и этот бедняга почти уговорил себя согласиться... а всё же молил о пощаде, голенища готов был обнять.

Жить ему оставалось менее четырех лет.

Доклад его на съезде был... о поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР. Делегаты съезда знали, что доклад Бухарина — не вполне официальный, в отличие от доклада Жданова, что он — не линию партии выражает. Что знал об этом Бухарин? Понимал ли, что топор уже занесен? Куда рвался с таким пылом?

«Товарищи, я отношу ваши аплодисменты по адресу той великой партии...»

Академик Бухарин начинает издалека: с блаженного Августина, с индийского учения Анандавардханы. Он критикует определение поэзии, данное в Британнике (за тавтологию). Цитирует буржуазного Гумилева, буржуазного Бальмонта. Он не скупится на метафоры. У Андрея Белого *«фетишизация слова достигла гималайских высот»*. Речь льется рекой. Теоретизирование обставлено ссылками на источники... Николай Иванович без остановки говорил более трех часов! И не всё было сплошной лестью партии и народу.

«Мы имеем великолепные успехи в области классовой борьбы пролетариата, в первую очередь благодаря тому мудрому руководству, которое возглавляется т. Сталиным...»

«Наша страна стоит перед великими боями...»

«...в наше время чрезвычайно резко подчеркнута *проблематика качества* решительно на всех фронтах. Проблема качества — это проблема разнообразности, множественности особых подходов, индивидуализирования (?)...»

«...поэтическое творчество есть один из видов идеологического творчества...»

«...сейчас *проблема качества*, проблема *овладения техникой* поэтического творчества, проблема мастерства... выдвигаются на первый план...»

«Нам нужно иметь сейчас смелость и дерзание выставить *настоящие, мировые критерии* для нашего искусства и поэтического творчества. Мы должны догнать и обогнать Европу и Америку по мастерству...»

«...области литературы пришло время для *генеральной разборки...*»

«Это — диалектические величины, составляющие единство... В явлении является сущность. Сущность переходит в явление...»

Гумбольдт, Потебня, Лукреций, Шопенгауэр, Гегель, Гомер, Лессинг, Гораций, Аверроэс...

Местами докладчик отступал от писанного (и уже опубликованного) текста, импровизировал.

Досталось Жирмунскому и Эйхенбауму — но не шибко, чуть-чуть.

«Нужно понять со всей отчетливостью огромную разницу между формализмом в искусстве, который должен быть решительно отвергнут, формализмом в литературоведении, который точно так же неприемлем, и анализом формальных моментов искусства (что отнюдь не есть еще формализм)...»

Блок, Есенин, Брюсов, Демьян Бедный (*аплодисменты*) и Маяковский (*бурные аплодисменты; все встают*) угодили в раздел доклада «Перелом».

А вот «Современники»: Владимир Кириллов (1890–1937), Безыменский (*аплодисменты*), Багрицкий (*аплодисменты; все встают*), Светлов, Жаров, Уткин, Ушаков, Борис Корнилов, Пастернак (*бурные аплодисменты*), Николай Тихонов (*бурные аплодисменты*), Сельвинский (*аплодисменты*), Асеев (*аплодисменты*), Луговской, Прокофьев, Павел Васильев, Василий Каменский (*аплодисменты*). Некоторые только упомянуты, некоторым посвящены страницы с цитатами. Никто не идеален. Всех жуют (над Уткиным и смеются), похвалы произносятся словно сквозь зубы, с явным усилием («Разве можно у Светлова найти “Лютецию”? (Гейне)»). Больше всего похвал досталось Пастернаку и Тихонову, но — оба слишком субъективны, слишком индивидуальны, нарушают «законы “сложной простоты”»...

Двадцать четыре больших страницы, по 750 слов на каждой, всего, значит, 18000 слов. Где оратор прав, там он, увы, пошл, а пошлость, как на этом съезде объявил Бабель, контрреволюционна...

«Любимец всей партии» (по определению Ленина), простой, обходительный, демократичный, веселый, доступный,

интеллигентный... В 1934-м Бухарин как раз женился (в третий раз). Спустя два года попал за границу, уже знал, что обречен, и не остался...

«Я кончаю свой доклад лозунгом: нужно дерзать, товарищи!»
(*Бурные аплодисменты зала, переходящие в овацию. Крики «ура». Весь зал встает.*)

В наши дни почти все понимают Сталина как откровенного властолюбца — и этим объясняют его убийства. Он, дескать, убивал, чтобы властвовать. Но смерть раздавленного и униженного Бухарина ему была не нужна. Бухарин и в лучшие дни не слишком рвался к власти, а тут уж и во всем уступил, пресмыкался. Зачем же такого убивать? Чтобы другим неповадно было? Непохоже. Вокруг и так всех трясло от страха. И потенциальных жертв было сколько угодно. Зачем было приканчивать эту теоретическую овцу? Ведь не Троцкий же.

Существует гипотеза, престранная, но остроумная. (Я ее слышал от израильского химика Сергея Брауна.) Сталин, согласно этой гипотезе, не сознавал себя властолюбцем, не себе служил (действительно, в быту был неприхотлив), а честно и самоотверженно боролся с буржуазией, внушавшей ему самое искреннее отвращение; боролся во имя счастья мирового пролетариата, ради создания бесклассового общества. Он был последовательным марксистом. Свое право на верховную власть выводил из веры в то, что он лучше других понял марксизм. А что говорит марксизм? Что в одной стране, да еще аграрной, бесклассовое коммунистическое общество не создашь. Как раз на этом настаивали меньшевики. Сталин очень серьезно отнесся к их критике — и нашел выход. Он убивал тех, кто успел обуржуазиться. Ведь что происходило на его глазах? Вчерашние голодранцы, дорвавшись до власти, богатели, пребывали в довольстве. Общество не становилось бесклассовым, наоборот, возрождался класс власти, люди состоятельные. А где классы, там и классовая борьба. Борься, решил Сталин, нужно так: с одной стороны — создавать пролетариат (индустриализация и коллективизация); с другой — искоренять зажавшихся. Поднимется к власти новый пласт народный — и начинает вещами обрастать, стихи читать, в Шопенгауэра заглядывать. Вчера они были свои, сегодня — чужие. Их — под корень. Живем-то ведь в капиталистическом окружении, кругом враги. Поднимется следующий пласт — и его туда же. И так — до самого начала мировой революции.

В этой ретроспективе Бухарина просто нельзя было оставлять в живых. Он был до мозга костей мелкобуржуазен.

ЧТО ГОВОРИЛИ ПИСАТЕЛИ

«...Вы знаете, что материалом для истории первобытной культуры служили данные археологии и отражения древних религиозных культов...»

Это — из начала доклада Горького о *советской литературе*. Чего смеетесь? Литература-то огромная, событие — всемирно-историческое, и копать нужно глубоко.

«Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать по воздуху...»

Не по воде, заметьте.

«История технических и научных открытий богата фактами сопротивления буржуазии даже росту технической культуры...»

«Время от 1907 до 1917 года было временем полного своеволия безответственной мысли...»

«Мне кажется, что я не ошибаюсь, замечая, что отцы начинают все более заботливо относиться к детям...»

Об отцах — на десятой (!) странице доклада. Основоположник говорит уже 75 минут — и не произнес еще ни одного имени *советского* писателя, зато коснулся де Костера, Мережковского, Людовика XI, Ивана Грозного и расстрела на Ленских приисках. Грандиозно!

«Мы всё еще плохо знаем действительность».

Имен так и не появится (Мария Шкапская и Мария Левберг — не в счет; они «отлично работают» над историей фабрик и заводов), зато появится цифра:

«Союз советских литераторов объединяет 1500 человек...»

Значит, на съезде-то — больше трети всех советских писателей!

«...в расчете на массу мы получаем: одного литератора на 100 тысяч человек. Это — немного, ибо жители Скандинавского полуострова в начале этого столетия имели одного литератора на 230 читателей...»

В конце, на 13-й странице своего эпического полотна, Горький формулирует цель:

«Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса-Ленина-Сталина и как это реализуется трудом на фабриках и на полях... Вот какова, на мой взгляд, задача союза литераторов...» (*бурные аплодисменты; зал стоя приветствует...*).

Виктор Шкловский

«Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника... если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника...»

«...мы стали единственными гуманистами мира, пролетарскими гуманистами...»

«Маяковский виноват не в том, что он стрелял в себя, а в том, что он стрелял не вовремя и неверно понял революцию...»

Ицик Фефер

«Бодрость и оптимизм — вот характерные черты еврейской советской поэзии. Это отличает ее и от дооктябрьской еврейской поэзии, и от еврейской поэзии в современных капиталистических странах...»

«Во главе нашей прозы стоит крупный мастер Давид Бергельсон (расстрелян в 1952-м). Он ведет нашу прозу вперед...»
«...еврейская литература ни одной капиталистической страны не может сравниться с уровнем еврейской советской литературы...»

«...температуры героев Советского союза еще нет в нашей советской литературе...»

«...когда мутная волна антисемитизма захлестывает все капиталистические страны, советская власть организует еврейскую самостоятельную область — Биробиджан, который очень популярен. Многие из еврейских писателей буржуазных стран едут сюда, многие палестинские рабочие удирают из этой так называемой “родины” на свою подлинную родину — в Советский союз...»

«...Палестина никогда не была родиной еврейских трудящихся. Палестина была родиной еврейских эксплуататоров...»
Расстрелян в 1952 году.

Корней Чуковский

Изрядную часть своей речи он посвящает разбору стихотворения Николая Асеева из «Мурзилки», которое называет отвратительным. «По улице майской солнце бьет, по улице ветер знамена вьет. Заполнив их все по сбочины, на улицы вышли рабочие...». И ему не возразишь. Но и сам он странно выражается:

«Чарская отравляла детей сифилисом милитаристических и казарменно-патриотических чувств...»

Мариэтта Шагинян

Особенностью съезда было то, что писателей вызывали на трибуну без имен – только по фамилии: т. Березовский, например (а что он – Феоктист Николаевич, это в уме нужно было держать; сейчас это только КЛЭ помнит). Для т. Шагинян, в числе немногих, было сделано исключение: ее назвали по имени и фамилии.

«Когда-то враги и предатели нашего дела утверждали, что невозможно построить социализм в одной стране...»

«Этот процесс нельзя охарактеризовать иначе, как бессмертной сталинской формулой, данной еще три года назад...»

«Судя по нашим серийным романам – “Тихий Дон”, “Бруски” (роман Панферова о коллективизации), “Поднятая целина” – мы как будто имеем дело с прерванной коллизией... На Западе такие романы в виде истории одной человеческой жизни имеют смысл... У нас, товарищи, это теряет смысл. ...наша “болезнь продолжений” вовсе не вызвана необходимостью – она доказывает лишь неумение кончать, неумение строить целую форму...»

«Именно в личной любви, как ни в чем другом, наиболее ярко, с наибольшей ясностью вскрывается в литературе класс и его идеология... Кажется, будто *сейчас только одни мы во всем мире обладаем ключом любви*, только мы знаем тайну эроса, связующего людей разной кожи и расы... только мы во всем мире вынашиваем в нашем искусстве *идею нового человечества...*» (курсив М.Ш.)

«... я была поражена той нежностью, с которой наши маленькие ребята относились к детям чужой расы... мы воспитали эту нежность всей атмосферой нашей культуры и первыми уроками пролетарского мировоззрения...»

Вера Инбер

Эту писательницу вызвали на трибуну даже по имени-отчеству и встретили аплодисментами. Съезд не знал, что она — двоюродная сестра Троцкого.

Начала Инбер с рассказа о своей недописанной пьесе, в которой имелся отрицательный персонаж. Он говорит: «Я вообще не верю в пролетариат. Несмотря на его мужественную внешность, это хрупкий и недолговечный класс. Он скоро вымрет. И как вы думали — отчего? От искусства...» Как в воду человек глядел! Куда лучше, чем кузен писательницы. Тот в пролетариат верил до конца. В сущности, Инбер пророка вывела.

А вот и сама писательница:

«Поистине оптимизм — мало исследованная область, о которой даже Малая советская энциклопедия мало что знает... (смех)»

«Наш основной тонус — это счастье... Мы идем как бы против шерсти мировой литературы...»

«...основное качество социализма заключается в конденсированности, сжатости, насыщенности... алмаз — это каменный уголь, но только сказанный кратко...»

Речь имела успех. Писательница, если говорить о ее сочинениях, — тоже. Через двенадцать лет она получит государственную премию — за поэму *Пулковский меридиан*. Но в историю литературы Инбер вошла другим. Во-первых, бессмертной стихотворной строкой: «Отруби лихую голову!». (Этот нерукотворный памятник прекратит существование только вместе с русским языком.) Во-вторых, тем, что сказано о ней (хоть и не о ней одной) в частушке: «Дико воет Эренбург. Повторяет Инбер дичь его. Ни Москва, ни Петербург не заменят им Бердичева...» Это тоже надолго, если не навсегда.

Илья Эренбург

«Наши иностранные гости сейчас совершают поездку в машине времени...»

«Разве не гордость нашей страны — та действительно всенародная любовь, которой окружен Максим Горький?»

«В моей жизни я много раз ошибался... Я — рядовой советский писатель (*аплодисменты*). Это — моя радость, это — моя гордость (*аплодисменты*)...»

«Я написал роман “Любовь Жанны Нэй” и уверяю вас, что любой писатель, набивший руку, может делать такие сюжеты по десяти в один месяц (*смех*)...»

«Я вовсе не о себе хлопочу. Я лично плодовит как крольчиха (*смех*), но я отстаиваю право за слонихами быть беременными дольше, чем крольчихи (*смех*)... Когда я слышу разговоры — почему Бабель пишет так мало, почему Олеша не написал в течение стольких-то лет нового романа, почему нет новой книги Пастернака... я чувствую, что не все у нас понимают существо художественной работы...»

«Поглядите на буржуазное общество — молодой писатель там должен пробивать стенку лбом. У нас он поставлен в прекрасные условия...»

«Мы вправе гордиться тем, что некоторые из наших романов уже доступны миллионам...»

«Верьте мне, что о том, о чем я с вами говорю, я очень часто думаю за своим столом...»

Яков Бронштейн (1897-1938)

Был такой. Делегат от Белоруссии, автор «Проблем ленинского этапа в литературоведении», профессор, член-корр. Сейчас его даже КЛЭ не знает. Расстрелян, реабилитирован и забыт. Но говорил занятные вещи.

«В русской критике недавно заговорили вскользь о своеобразной, корректорского типа автополемике, которую Пильняк повел против (своих) «Корней японского солнца». А почему бы русской руководящей критике (!) не заинтересоваться таким вопросом, как проблема перестройки ряда писателей народов СССР в области более оригинальной и более серьезной, чем у Пильняка, — в области образной автокритики?»

... Писатель, отягощенный в прошлом грузом реакционных образов, вызывает из недр прошлого свою излюбленную галерею образов и гильотинирует ее, снимает ее автокритикой – не публицистической, а образной...»

«Если бы русская литературная критика могла познакомиться с поэмой еврейского поэта Кульбака (уничтожен в 1937, на год раньше Бронштейна) “Чайльд Гарольд из Дисны”, она бы поняла...»

«Напомню о лозунге, который был недавно брошен в еврейской литературе т. Фефером: “Запоем голосом Беранже!” Борьба за голос Беранже, за сатиру является положительной борьбой...»

«Несколько слов о том, как мы боремся с классовым врагом... На выставке есть стена, посвященная латинизации восточных языков. На ней имелся также еврейский текст. Содержание этого текста такое: “По переписи 1932 г. количество крестьянского еврейского населения в Палестине составляет 45000, еврейского городского населения – 130000”... буржуазные еврейские националисты-сионисты применяют ряд очень скрытых маневров, чтобы даже на территории нашего Центрального парка культуры и отдыха вести свою пропаганду сионизма...»

«...на нашу долю выпало счастье работать под руководством невиданной в мире партии, под руководством партии Ленина и Сталина (*аплодисменты*).

Ну, как тут не расстрелять?!

Юрий Олеша

«Нельзя описать третье лицо, не сделавшись хоть на минуту этим третьим лицом. В художнике живут все пороки и все доблести... Когда изображаешь отрицательного героя, сам становишься отрицательным, поднимаешь со дна души плохое, грязное, т.е. убеждаешься, что оно в тебе есть...»

«Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами... И тут сказали, что Кавалеров – пошляк и ничтожество... Я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло <сейчас бы сказали: “шокировало”>... Я не поверил и притаился...»

«Каждый художник может писать только то, что он в состоянии писать... Мне трудно понять тип рабочего, тип героя-революционера. Я им не могу быть...»

«Где-то живет во мне убеждение, что коммунизм есть не только экономическая, но и нравственная система...»

Как человек уцелел?! И ведь еще дворянин вдобавок.

Александр Авдеенко

Ему тогда было 25 лет, и он был социально близок.

«Несколько лет назад я сидел в тюремной камере в Оренбурге... Я жил в этом мире, мире людей, как зверь, — я мог перерезать другому горло, пойти на самое ужасное преступление... У меня много грязи. Я уверен, что и вы не чисты...»

«Я — свежий человек в литературе...»

«Равнодушие — это самое страшное...»

«Мы, молодые, оправдаем надежды, которые на нас возлагают...»

Агния Барто

«Впервые за всю жизнь человечества дети являются наследниками не денег, не домов и мебели родителей, а наследниками действительной и могущественной ценности — социалистического государства...»

Давид Бергельсон

«...еврейская литература стоит наравне со всеми великими литературами Союза...»

«Товарищи, я как еврейский писатель хотел бы с этой трибуны добавить, что одной из самых сильных речей, которые я здесь слышал, была речь народного поэта Дагестана. Я ни одного слова не понял из этой речи, но тем не менее она была листом бумаги ослепляющей белизны, на котором была написана необыкновенная поэма о ленинско-сталинской национальной политике...»

Расстрелян в 1952 по делу Еврейского антифашистского комитета.

Исаак Бабель

Он был встречен *продолжительными аплодисментами* — один из очень немногих.

«Пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость — это контрреволюция... Монтер по соседству избил свою жену... это — контрреволюционер...»

«Невыносимо громко говорят у нас о любви... И ведь дошло уже до того, что объекты любви начинают протестовать, вот как Горький вчера...»

«...посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованны <sic!> его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин, над словом нам надо (*аплодисменты*)...»

«Если заговорили о молчании, то нельзя не сказать обо мне — великом мастере этого жанра (*смех*)... Надо сказать прямо, что в любой уважающей себя (?) буржуазной стране я бы давно подох с голоду...»

«...на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что всё нам дано партией и правительством и отнято только одно: право плохо писать... Это была привилегия, которой мы широко пользовались... давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам бог. Впрочем, бога нет, сами себе поможем (*аплодисменты*)...»

Он был уничтожен четыре года спустя.

Всеволод Вишневский

«...В 1919 г. лишенная хлеба, света, ободранная наша страна в одной Ярославской губернии имела театров больше, чем их имела вся Франция (*аплодисменты*)...»

«Помните, как в 1905 г. Ленин писал: “Запасайтесь кастетами, палками, запасайтесь смоляным материалом, запасайтесь всем...”...»

«Кто знает, что всем партизанским сибирским движением молча (!) руководил Сталин?»

«У нас ряд писателей — обращаюсь в частности к моему другу Юрию Олеше — вошли в область абстрактных хрустально-прозрачных построений о будущем... Не думайте, что это что-то новое... во времена военного коммунизма Н.И. Бухарин

однажды говорил так: будет бесклассовое общество... люди потеряют ощущение вечной напряженности... Покойный А.В.Луначарский в одной из своих пьес... показал, как люди будущего, участники боев, люди двух станов — белого и красного — встретятся и полупечально-полуласково будут говорить о пролитой ими крови, и какой странный братский диалог будет вестись между Лениным и Врангелем...»

«Мой друг Олеша... вы пишете о хрустале, о любви, о нежности и прочем. Но при этом всегда должны мы держать в исправности хороший револьвер... Мы должны понимать, что мы стоим перед большим и окончательным расчетом с пятью шестыми мира (*аплодисменты*)...»

Без Аляски, Польши, Прибалтики и Финляндии тогдашний Советский союз на одну шестую уже не тянул. Сейчас Россия покрывает одну девятую суши.

Борис Пастернак

Он был вызван на трибуну (из президиума) без слова *товарищ*, а как Борис Пастернак (и, подобно Бабелю, был встречен «продолжительными аплодисментами»).

«...я — не борец. Личностей в моем слове не ищите... Товарищи, мое появление на трибуне не самопроизвольно. Я боялся, как бы вы не подумали чего дурного, если бы я не выступил...»

«Двенадцать дней объединяло нас ошеломляющее счастье...»

«Что такое поэзия, товарищи? Поэзия есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т.е. факта с живыми последствиями...»

«Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными (но да минует нас опустошающее человека богатство). Не отрывайтесь от масс, — говорит в таких случаях партия. Я ничем не завоевал права пользоваться ее выражениями... При огромном тепле, которым окружают нас народ и государство, слишком легко стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой, и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям (*продолжительные аплодисменты*)...»

Семен Кирсанов

«Кто не знает, что стоило только кому-нибудь заговорить о проблеме формы, о метафорах, о рифме или эпитете, как немедленно раздавался окрик: “Держи формалистов!”...»

«В той части, где т. Бухарин подводит итоги и намечает бюджет нашей поэзии, нужно поспорить... Докладчик восклицает: нужно дерзать!... но если дерзать — это значит находить в себе раздирающие противоречия, то я решительно против такого дерзания...»

«Конечно, товарищи, огромная политическая задача и поэтическая задача — найти новый этап (!) к слову “поцелуй”...»

«Свивание венков из груди (!) не является жгучей проблемой для революционных рабочих Германии и Франции...»

«Я здесь кричу во весь свой совещательный голос...»

Николай Тихонов

Он произнес доклад о ленинградских поэтах. (Доклада о московских поэтах не было. Культурный центр еще не переместился в Москву. Сам Тихонов, Маршак, Чуковский, Заболоцкий, Евгений Шварц и еще многие в ту пору жили на берегах Невы. В Ленинграде существовала последняя из групп старого, несоветского типа: обэриуты.)

«Какие же поэты оказали наибольшее влияние на ленинградских молодых поэтов? *Сергей Есенин*. ... Он не смог побороть в себе вчерашнего человека ради человека будущего... *Маяковский*. Он стоял перед таким творческим кризисом, от одного сознания которого его охватывало смертельное головокружение. И футуризм в его лице подошел к поэме “Во весь голос” с потерей всего своего мощного поэтического арсенала, имея оружием только отвергавшийся им ранее канонический стих...»

Повлияла на ленинградцев и «...труднейшая скороговорка Бориса Пастернака, этот обвал слов»; и стих Багрицкого, который «был близок к акмеистическому»; и Асеев, «этот большой поэт, этот черный труженик стиха»...

В целом у молодых ленинградских поэтов заметны: «ритмическая бедность, поэтические штампы, прямое

эпигонство... комнатные переживания, споры о книгах, заседания, редакции, изучение маленьких тайн ремесла вместо изучения нового человека и нового общества...»

«Сколько у нас говорят о поэтическом наследстве! Правду надо сказать, что старики писали не так плохо...»

Подают надежды Прокофьев, Саянов и Корнилов («Корнилову надо помнить, что в поэме многое удалось ему только по прямому вдохновению, но что одного вдохновения мало...»). Больше из молодых (за час и десять минут на трибуне) не упомянут никто. Даже Заболоцкий, к которому Тихонов относился хорошо. Сатрап осторожничает. Зато часто привлекаются Пушкин и Лермонтов, не забыт Тютчев (о котором «желчный старик поэт Соллогуб» <sic! через лл>) говорит: «дворянские стишки».

«У нас в Ленинграде имеются квалифицированные переводчики... Тынянов (!), Лифшиц...<вероятно, Бенедикт Лившиц>... Лозинский...»

«Возьмем стихотворение “Горные вершины”, переведенное Лермонтовым. Это – гениальное произведение... Гетевское стихотворение “Горные вершины” – посредственное стихотворение...» Это мнение крепко застряло в сознании тех, кто в оригинал Гете не заглядывал.

«Мировоззрение – хозяин творчества...»

«Что же такое стихи? Стихи находятся как бы в вечном формировании, в вечной изменяемости...» (определение так и не последовало).

«Пацифизм чужд духу нашей поэзии. Никакие экзотические завоевания <sic!>, волновавшие умы певцов русского империализма, не живут в стихах советских поэтов...»

«Наша поэзия не достигла еще мировых высот...»

Увы!

Алексей Сурков

Помните такого поэта? Вряд ли. А ведь он повелевал.

«Тов. Бухарин в своем вступлении к докладу заявил, что он делает доклад по поручению партии. Не знаю, что этим хотел сказать т. Бухарин. Во всяком случае это не значит, что в его докладе всё правильно и отдельные положения не подлежат

критике. Кроме того на нашем съезде все доклады делаются по поручению оргкомитета. Мне думается, что доклад является только отправной точкой для суждения, а не директивным началом в распределении света и тени в нашей поэзии (*аплодисменты*)...»

Что Бухарин — человек конченный, знали и другие делегаты; нападали смело. Не исключено, что — по заданию оргкомитета. И «любимцу всей партии» пришлось оправдываться прямо на съезде.

«...для большой группы людей, растущих в нашей литературе, творчество Б.Л. Пастернака — неподходящая точка ориентации в их росте (*аплодисменты*)...»

Человек непосвященный может вообразить, что речь тут идет об эстетической борьбе, а не о физическом искоренении классового врага. Но Сурков знал, что делает.

«На нашем съезде получило все права гражданства одно слово, к которому мы еще недавно относились с недоверием или даже враждебностью. Слово это — гуманизм. Рожденное в замечательную эпоху, это слово было запакошено и заключено в тщедушными вырожденцами. Они подменили могучее его звучание — человечность — христианским сюсюканьем — человеколюбием... У нас по праву входят в широкий поэтический обиход понятия любовь, радость, гордость, составляющие содержание гуманизма. Но некоторые поэты как-то сторонкой обходят четвертую сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном слове ненависть (*продолжительные аплодисменты*)...»

«На страницах газеты рядом с пахнущими порохом и кровью заметками международной информации, рядом с сообщениями ТАСС, заставляющими вечером достать из дальнего ящика наган и заново его перечистить и смазать, щебечут лирические пташки... Давайте не будем размагничивать молодое красногвардейское сердце нашей хорошей молодежи интимно-лирической водой. Давайте не забывать, что не за горами время, когда стихи со страниц толстых журналов должны будут переместиться на страницы фронтовых газет и дивизионных полевых многотиражек. Будем держать лирический порох сухим! (*продолжительные аплодисменты*)...»

ЧТО ГОВОРИЛИ ИНОСТРАНЦЫ

Андре Мальро (1901-1976), француз

Мальро начинал ~~ея~~ свою жизнь очень революционно, но потом опомнился. Министр культуры Франции в 1959-69 годах (то есть при де Голле и ... при Фурцевой). Речь на съезде зачитана Олешей, очевидно, в его переводе (грешащем против русского языка).

«Вы уже можете работать для пролетариата, мы — революционные писатели Запада — принуждены еще работать против буржуазии (*аплодисменты*)...»

«Но вы должны знать, что только действительно новые произведения смогут поддержать за границей культурный престиж Советского союза, как поддерживал его Маяковский, как поддерживает его Пастернак (*аплодисменты*)...»

Вот тут и понимаешь, как разнесло поэтов большой четверки: Мандельштам — в ссылке, в Чердыни, на грани жизни и смерти; Ахматова — в полуподполье, в ожидании ареста; Цветаева — в Париже (Мальро о ней не слыхивал); Пастернак — в президиуме; он — спасибо Бухарину — слава Советского союза <sic! именно так тогда писали название страны: первое слово с прописной, второе — со строчной>.

Рафаэль Альберти (1902-1999; международная ленинская премия, 1965), испанец.

«Основанный нами журнал “Октябрь” ... богато иллюстрирован фотографиями о Советском союзе...» «...мы твердо знаем, что наступит день, и советская Испания широко раскроет перед вами свои границы. Испанская революция не может не победить...»

Другие иностранцы тоже говорили как о близком будущем о советской Франции, советской Германии.

ТАКОЙ ВОТ СЪЕЗД

Такой вот съезд выдался. Вальпургиева ночь — но вместе с тем и Никейский собор (только император не присутствовал). Допущенные в чертог провозвестники нового мира заклеямили

ереси, возликовали, попиrowали и разошлись, каждый — навстречу своей судьбе. У иных «всё до мельчайшей доли сотой в ней оправдалось и сбылось». У большинства вышло иначе.

Как сказал один безымянный молодой поэт той поры (цитированный на съезде):

«По щекам удрученной компартии
незаметно скатилась слеза...»

Но это потом.

А 1-го сентября 1934 года, закрывая съезд, Горький был весел и бодр:

«Дорогие товарищи! Перед нами огромная, разнообразная работа на благо нашей родины, которую мы создаем как родину пролетариата всех стран. За работу, товарищи! Дружно, стройно, пламенно — за работу!»

На съезде было сказано много правды. В частности и такая: съезд был-таки всемирно-историческим. Ни до, ни после история ничего подобного не знала.

И не узнает.

В ПЕТЕРБУРГЕ МЫ СОЙДЕМСЯ С НОВА

300-летие Петербурга (зоолетие, по тамошней угрюмой шутке) вызвало к жизни массу статей, в которых петербуржцы и москвичи на все лады поносили этот «искусственный», «вымышленный» город, жить в котором будто бы нельзя. Привлекались авторитеты от Аксакова до Кюстина. Говорили, что настоящие города так не возникают. При этом нечто важное выпадало из поля зрения многих авторов.

ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Вычтем из России Пушкина, что в остатке получим? Малюту Скуратова. Пушкин в этом уравнении взят как эпоним, как протуберанец *петербургского начала в русской истории*. Не было бы Петербурга — не было бы и великой русской литературы, животворящего ядра русской культуры, национальной по форме, европейской по содержанию. Не было бы России, какою мы ее знаем. Что она без Пушкина?

Петербург в этом уравнении тоже взят в расширительном смысле. Он мог быть основан не на Заячьем острове, а в месте слияния Невы и Охты, где уже стоял шведский Ниен. Мог вырасти из Ивангорода, построенного итальянцами и греками в 1492 году. Мог — и вообще в другом месте; не будем фантазировать. Не возникнуть — *не мог*. Он — в контексте нашего разговора — не в первую очередь город, он — имя, обозначающее исторически неизбежное возвращение России в семью европейских народов.

Владимир Соловьев писал: «По общему своему смыслу и направлению реформа Петра Великого не была для русского народа чем-нибудь совершенно новым: она возобновляла и продолжала предания Киевской Руси... он <Петр> своим историческим подвигом возвращал Россию на тот христианский путь, на который она впервые стала при св. Владимире... Россия

тем самым признавала себя составной частью единого человечества, усвояла себе истинные интересы, приобщалась его всемирно-исторической судьбы...»

Здесь выпало важное звено: Россия вновь обратилась к Европе не при Петре, а на двести лет раньше: при Иоанне III (1440-1505). Орда была сломлена; возникло большое *независимое* государство, и оказалось, что в нем нет ни врачей, ни литейщиков, ни архитекторов. В 1474-м рухнул в процессе строительства Успенский собор в Кремле, и Зоя (Софья) Палеолог, племянница последнего византийского императора, указала Иоанну на Италию, где была воспитана. Явился Аристотель Фиораванти — «учить московитов кирпичи обжигать», по его собственным словам (в действительности — для дел куда более важных). За ним последовали другие мастера: архитекторы, литейщики, чеканщики, живописцы (хоть это и отрицалось), итальянцы, греки, хорваты, венгры, евреи, датчане. Россия приходила в себя, возвращалась в Европу. Могла вернуться раньше Петра, могла позже. Не вернуться — не могла.

Сравнивают московское и петербургское начало в русской истории — и не видят главного: что самодовольство, проистекающее от закрытости, бесплодно, а ученичество — плодотворно и ничуть не унижительно. Народу, как и человеку, всегда есть у кого поучиться. Ученик, вообще говоря, не глупее учителя. Не всегда и моложе. Ломоносов в 19 лет за парту сел, а успел немало. Он — тоже Петербург. Не было бы Петербурга — не было бы в России ни поэзии, ни химии.

Петербург (как и Россия) мог бы, вероятно, быть лучше, чем он есть. Финский залив — не Босфор, Маркизова лужа — не Золотой Рог, даже — не Венецианская лагуна (острова которой, к слову, тоже мало подходили для основания великого города). Петербург мог быть счастливее: избежать революций, блокады, запустения и обнищания советских лет (прямого следствия московского реваншизма). Его очень можно не любить; местный патриотизм петербуржцев стоит недорого. Но и таков, как есть, Петербург равновелик Москве в контексте русской истории и культуры. Москва — город мировой и европейский *благодаря* Петербургу. Без него — ее, сегодняшней, тоже не было бы. Вычтем из России Петербург, получим не «бой часов на Спасской башне» (возведенной

итальянцами), а язычество, самодовольство, дикость; получим боярина и холопа, которые друг от друга отличаются только кафтаном, взаимозаменяемы (как показала опричнина) и оба слезам не верят. Владимир Соловьев особенно на язычестве Москвы настаивает. Петербург для него — *metanoia*, что по-гречески одновременно и покаяние (самоосуждение), и — перемены. Соловьев пишет:

«Для всякого народа есть только два исторических пути: языческий путь самодовольства, коснения и смерти — и христианский путь самосознания, совершенствования и жизни... Вопреки всякой видимости реформа Петра Великого имела, в сущности, глубоко христианский характер, ибо была основана на нравственно-религиозном акте национального самоосуждения...»

Во времена Петра (и во времена Соловьева) христианство было другим именем цивилизации. За мусульманами, индустрами, буддистами цивилизованности не признавали, держали за младших, несозревших. История внесла свои поправки: осудила христианоцентризм (европеоцентризм) как еще один «языческий путь самодовольства», признала, что цивилизация возможна на иной, отличной от христианства, духовной и нравственной почве. Вполне христианских стран сегодня нет — и уже никогда не будет, в чем справедливо усматривают громадный шаг вперед, громадное достижение *христианской цивилизации*. Но для России Петра (и Соловьева) всё это не важно, для нее был только один путь возвращения в семью народов: *петербургский*. В Петербурге Россия очнулась, пришла в себя, встретилась с собою. В Москве такая попытка была предпринята — и не удалась.

ЖИВОТВОРЯЩЕЕ ЯДРО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Эллины создали литературу, театр, философию, науку; выделили всё это из культа. Римляне во всем называли себя учениками греков, сами о себе говорили: мы умеем только управлять. Скромничали. Воевать умели лучше спартанцев и македонян. При Алезии, при Тигранакрте — всюду были в меньшинстве, побеждали не числом. Юриспруденция

и по сей день покоится на их достижениях. В скульптуре, особенно портретной, занесенной к ним (хоть и не созданной) греками, превосшли учителей. В красноречии, в поэзии — тоже. Учились, ученичества не стыдясь, и превосшли.

Русские тоже всему учились: у голландцев, немцев, англичан, французов. Последние дали толчок русской литературе, которая и *уравняла* в XIX веке Россию со старшими братьями. Не солдаты Суворова и Кутузова, не Бородино и Венский конгресс, а Толстой и Достоевский возвестили Европе о еще одном великом европейском народе. Афины V-IV веков до н. э., итальянское Возрождение и русская литература XIX века — вот, по мнению Поля Валери, три художественных вершины европейской культуры. Валери, конечно, переборщил, значение русской литературы поставил в один ряд с явлениями более грандиозными, но слова эти все же произнесены — и они не случайны, его восхищение русским романом было подлинным, да и не он один восхищался.

При этом главного француз почувствовать не мог: изумительной гибкости русского языка, архаического, избыточного — и словно бы специально созданного для поэзии. Пушкина (по мнению Владимира Вайдле, самого европейского поэта Европы) — прочесть и услышать не мог. Со стихами ведь та беда, что они не мысль в первую очередь несут и не картины рисуют. Игра воображения поэта (и его читателя) неотторжима от звука и ритма стихов, осуществляется через звук и ритм. Если в стихах содержится *оригинальная* мысль (и они этой мыслью держатся), стихи обыкновенно плохи. Во всем Пушкине нет *ничего нового* — кроме него самого. Поэзия — протоязык человечества, она предшествовала прозе, возникла вместе с разумом и обращена к сверхразумному, она и есть то самое божественное Слово, — и вот этот-то специфический прием постижения мира удержался в русском языке в большей мере, чем в главных европейских языках. Это затрудняет работу физику (по-английски ему писать проще) и философу (ему в большей мере благоприятствует немецкий), но дает неоспоримое преимущество поэту, а за ним — и прозаику. Психологизм русского романа XIX века не тем только объясняется, что психология как дисциплина едва зарождалась в пору его расцвета, не одним только синкретическим слиянием двух независимых сфер приложения разума, но еще и жаркой

родовой интимностью русского языка. Английский — много богаче русского словами и временными конструкциями, французский — много стройнее и изящнее, но оба (особенно первый) в значительно большей мере отрешены от личностного, и рядом с русским — прохладны.

Подлинное и единственное величие России — в ее языке и литературе. Всё остальное — музыка, наука, живопись (территорию, штыки и боеголовки вовсе выносим за черту обсуждения как вещи малосущественные и преходящие) вторично по отношению к слову и *вторично по отношению к Европе*. Были великие математики, физики, композиторы, но Декарт и Эйлер, Ньютон и Лейбниц, Бах и Верди родились западнее Бреста. Были изумительные художники (великих не видим), но Русский музей — не крыло Эрмитажа, даже — не его флигель; до фламандцев русские не дотягивают. По части мысли Россия могла бы поставить себе целью догнать Голландию (как по части мореходства при Петре), но догонит не раньше, чем произведет Гроция и Спинозу. Зато Пушкин, Боратынский и Тютчев, Достоевский, Толстой и Чехов — не то что выдерживают сравнение со старшими братьями на Западе, а и не нуждаются ни в каком сравнении, поскольку сами — недостижимые образцы.

Язык, в котором осуществилось величие России, мы получили от карамзинистов, иначе говоря — из Петербурга. Остается надеяться, что он не погибнет. (Подлинное унижение современной России — не в том, что она по ВВП отстает от Мексики и по преступности опережает Колумбию, а в том, что русский язык на глазах превращается в испорченный американский.)

В ЗАЩИТУ НАИМЕНЬШЕГО ЗЛА

Русскую литературу заносит. Перед первой мировой войной явились молодчики, которым потребовалось сбросить Пушкина с парохода современности, а Корнеля с Расином (и отца родного) поджечь, облив керосином. Затем наступило беспамятство, которое и обсуждать не хочется. Едва очнувшись от него, некогда великая литература угодила в новую ловушку: рыночные отношения. Долгожданная свобода и низкий общественный вкус отняли у писателя заработок.

Положение сейчас столь бедственно, что давнее противоположение московской и петербургской линий в литературе отошло на задний план. Но оно никуда не делось. Будем исходить из того, что для русской литературы (значит, в русле нашей логики, и для России) не всё потеряно, что русская литература и Россия не погибнут в обозримом будущем, и обсудим этот вопрос как если бы его актуальность уже вернулась. Названия двух городов берем как литературные термины. Москвичи и петербуржцы рассеяны по всему свету, москвичи водятся в Петербурге, петербуржцы — в Москве. Характеристики для краткости заостряем.

Москва — разухабиста (при другом прочтении, таровата); Петербург сдержан (если угодно, скуповат). Москвич говорит: «на цепочке Наполеона поведу, как мопса». Петербурженка (лучше бы — *петербуржанка*) говорит: «Пускай на нас еще лежит вина — Всё искупить и всё исправить можно». Так, пунктиром и двумя именами (Маяковского и Ахматовой), можно в самых общих чертах наметить это противостояние. Смысл его всё тот же, соловьевский: с одной стороны — самовыпячивание («языческий путь самодовольства, коснения и смерти»); с другой — *metonoia* («христианский путь самосознания, совершенствования и жизни»).

На чем сойдемся? Московский путь — прельстительнее. Это путь лести и самообольщения, котурнов и бахвальства. Каждый — сам себе «третий Рим, а четвертому не бывать». Самоутверждение во что бы то ни стало, любыми средствами, вопреки всем и всему, самоутверждение сиюминутное, немедленное, — вот его суть. Человек одаренный (не обязательно художественно одаренный) угадывает общественный запрос, подстраивается к нему, угождает толпе (всё равно какой, советской, англосоветской или постсоветской) — и получает свое здесь, сейчас. Новизне, изыску — приписывается самостоятельная эстетическая ценность, без оглядки на то, что новое непременно становится старым. Сиюминутное противопоставляется вечному. Но едва контекст эпохи уходит в песок и меняется общественный запрос, как недавние «шедевры» тускнеют, становятся смешными и ненужными. Первыми устаревают гигантомания и выкрики. Становится очень ясно, кто мопс, а кто — Наполеон.

Петербургский путь не сулит быстрого успеха — разве что громадным дарованиям при счастливом стечении обстоятельств. Его суть — в следовании традиции. Писатель и тут может самообольщаться (в сущности, и должен, иначе ничего не напишет), но он не станет язычествовать, не забудет, что он — один из многих в среде соплеменников и современников, в цепи поколений и культур, не упустит из виду, говоря по-соловьевски, «истинные интересы», «приобщится всемирно-исторической судьбы». Его цель — не успех, а служение (через самовыражение), в котором уже и воздаяние заложено. Ничто не вечно под луной, но всё же настоящее искусство (царственное слово) — долговечнее всего на свете, ближе всего к вечному, и без мысли о вечном (и высоком) его не создашь.

Скажут: противопоставление Москвы и Петербурга касается прежде всего поэзии, но посмотрите на сегодняшнюю петербургскую школу; масса умелых и очень плодovitых стихотворцев, вычерпавших до дна акмеизм, боящихся высоты — и просто скучных, мелких; ни одного живого звука, ни одной окрыляющей мысли. Примем это. Не будем спорить. Не станем даже говорить, что в Москве дела обстоят не лучше. Эпоха эпохе рознь, большие таланты редки. Но примем это — как наименьшее зло. Потому что если отбросим, останемся с перформансами, с теми, кто книжки ножницами режут и первую строфу Онегина с завываниями поют, а при этом называют себя поэтами. С черным квадратом останемся — в поэзии, в живописи, в душе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СМЫСЛА

В Осипе Мандельштаме, как это ни дико, видели певца зауми, сторонника разрушительного, иррационального начала в искусстве. В доказательство приводили знаменитое:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.

Речь здесь, конечно, о другом: о воскрешении поэзии, похороненной «в черном бархате советской ночи», о возвращении смысла обезумевшему миру. Жуткая действительность убила поэзию (в широком смысле). Люди перестали быть людьми, ушли в дочеловеческие потемки. Поэзию в тесном смысле нужно было возрождать с нуля, с протоязыка, с адамова наименования зверей и предметов, с ономотопейного (звуковыразительного) узнавания, еще бессмысленного, но уже блаженного, потому что оно — прорыв к смыслу, прорыв к человеческому и надчеловеческому.

Черный бархат советской ночи очень уж затянулся. К 1965 году режим почти и зубы утратил, а со смыслом дела всё еще обстояли плохо. Вышла книжка с такими вот четырехстопными ямбами (которые приводим в строку):

«Взойду ли я, как всходят всходы на тот курган, на тот курган, где в непогоды и невзгоды вербина — древняя карга — вербина погружает в небо — последний горбоносый сук. Прошла ее страда и нега. Она одна. Дрябла. И суд соболезнующих, бездарных потомков эти жернова не разрушает. Благодарны за то, что якобы жива. Над ней возводят мавзолеи — вроде музеев на дому, и там сотрудничают, млея от разно-и-образных муз. К ней, потерявшей смех, рассудок, велут экскурсии (есть план): — Была она такой — (рисунок), деяния такие — (бланк). Деянья! — для легенды нужно! Была! — пускай в легендах есть! За что, начитанным научно — за «хлеб насущный даждь нам днесь»? — Насущный хлеб! — Вонзайте бивни! — Насущный хлеб! — Еще рога! О, не завидуйте вербине, хоть — надо всеми, хоть — курган. Чтоб непогоды, чтоб невзгоды, чтоб всё, что «не» — озон задул! А на курганы всходят всходы. Со всходами и я взойду. Пусть — на пограние! Поругание! С клеймом! Ногою у луки! Но я останусь на кургане, пока сжимаю кулаки. Пока гудит моя легенда. (Она — гудит! и ей — гудеть!) Но всё равно — когда-то, где-то раскрутится моя кудель. Тогда — совсем без ударений, и вовсе не по существу, — используйте на удобренье мой ствол, и корни, и листву. Пусть делают свои погоды, пусть набирают высоту те новые, большие всходы, что неминуемо взойдут!»

Это — Виктор Соснора об Анне Ахматовой. Соснора тут — не в первую очередь завистник, в гораздо большей мере он — «глас, пошлый глас, вещатель общих дум» (Боратынский).

За год до смерти Ахматовой *так думали многие*. Ахматова казалась вчерашним, даже позавчерашним днем. Ее обращение со словом, ее образы и рифмы, ее постоянный взгляд в прошлое, ее сетования, воспоминательный характер ее стихов — всё подтверждало эту мысль в глазах тогдашнего советского обывателя. То, что она жива, не укладывалось в сознание, не вязалось с современностью. Стихи — мешали своею простотой:

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рош.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.

Казалось, так писать больше нельзя: «голос-колос», «рош-дождь» (Соснора в те годы рифмовал «чернила-чирикают», и барышни ахали). Но вот прошли десятилетия. Мертворожденный памфлет Сосноры — там же, где и был: мертвые птицы дронта, как говорят англичане. А незамысловатые пятистопные ямбы, произнесенные «дряблой» поэтессой над гробом Пастернака, живы и находят дорогу к сердцам. «Курганы» Ахматовой и Сосноры — даже и не сравниваем...

Возвращение смысла началось едва ли раньше 1953-го; мешал дочеловеческий страх. Оно шло двумя путями. С одной стороны вдруг оказалось, что не устарел не то что Бунин (победителей у нас ценят, нобелевская премия произвела впечатление), но и Борис Зайцев. Откуда ни возьмись появились те, с кем было покончено: Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Ходасевич, Георгий Иванов, Заболоцкий. Вспомнили Платонова и Пильняка. Во всем своем блеске явились Булгаков и Набоков. Преобразился Пастернак. Все они молодели на глазах, становились всё ближе — потому что общество очеловечивалось. Родное и подлинное проступало всё явственнее. Шел мандельштамовский процесс узнавания. Старшие — те вспоминали; родительница муз, Мнемозина, очнулась первой. А в дочеловеческих потемках закопошились молодые, те, кому нечего было вспоминать. Под сердцем у самых молодых шевельнулось первородное, еще бессмысленное слово. Начинается самиздат, а за ним — и тамиздат.

К середине 1970-х, когда эмиграция стала массовой, заговорили о единстве русского литературного пространства.

Возникло даже впечатление, что всё лучшее — за рубежом и в подполье. К 1990-м плотину прорвало. Три-четыре года эмигрантам, старым и новым, на родине ковровую дорожку стелили. Печаталось всё, что *оттуда*, и всё казалось откровением. Когда первый хмель схлынул, картина осложнилась. Стало очевидным, что третья волна эмиграции — представительная проба того, что никуда не уезжало, а самиздат — неизмеримо беднее, чем чудилось. Но в тот самый момент, когда уже можно было расставить всё по своим местам, вмешался рынок, и хваленый русский читатель повернулся спиной к настоящей прозе, поэзию же вовсе читать перестал. Возвращение смысла оборвалось на полуслове.

Но если мы еще люди, оно состоится.

«Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль — и уступить место другим, уже напирющим сзади...» (Ходасевич). В этой чехарде остаётся только самое подлинное, достоверное, общее — и обращенное ввысь. Злободневное — не выживет. Третий штиль всегда умирает первым.

От прочих живых существ человека отличает потребность в искусстве — в том искусстве, определения которого находим у *всех* мыслителей прошлого, от Аристотеля до Соловьева; в искусстве *до* черного квадрата Малевича и черного бархата советской ночи. Если мы всё еще люди (не стали новым биологическим видом, довольствующимся кривляньями); если мы не язычники, непомнящие родства; если потребность в осмысленном искусстве вернется — мы, люди русской культуры, сойдемся, куда бы ни занесла нас судьба, в понимании ценности возвеличившего Россию слова, в отрицании мерзости и саморазрушения. Сойдемся — в Петербурге.

ТРИЗНА ПО РОССИИ

Достоевский, показавший бесовскую природу социализма; Толстой, звавший к братству во Христе, — неужто и они, певцы сердобольной, всемирно-отзывчивой русской души, а с ними и другие русские писатели великого для России XIX века (единственного пока великого), косвенно виноваты в большевизме, войне, Гулаге?

Виноваты. Тем виноваты, что малых сих соблазнили. Не стоило поэтизировать чернь, льстить ей. Они мечтали о русской душе — и вызвали к жизни чудовище.

Что они увидели в своих самозабвенных мечтах? Чем покорили мир?

Русская душа, выведенная в литературе XIX века, — это, в сущности, общехристианская *misericordia*, пропущенная через призму архаичного — и потому насыщенного поэзией — русского языка. Милосердие и сострадание — вот ее сущность. Обращенность сердечная к бедным и несчастным, любовь к страждущим и обремененным, милость к падшим (грешным, виноватым), духовная жажда, разбуженная совесть. Евангельская любовь, чопорному и педантичному Западу будто бы не дающаяся, — вот мечта великой русской литературы прошлого. Мечтали так талантливо, что и сами поверили, и холодный, насквозь формальный, юридическим крючкотворством занятый Запад всколыхнули. Выходило, что правильное понимание христианства (и вообще человечности, любви к ближнему) только русским отпущено, и его носитель — задавленный, забитый, угнетенный русский народ, который нужно только отогреть да чаем отпить — и он мир спасет. До Бунина так никто и не очнулся от этих грез. Атеисты и верующие, народники и сановники, славянофилы и западники глаза друг другу выцарапывали по пустякам, но в главном были согласны: мужик-христофор, «солдатик» Платон Каратаев, есть последняя правда; сейчас он слезет с печи, научится грамоте — и преобразит мир. Для него старались, себя не жалея. Сеяли разумное, доброе, вечное.

Ну, христофор и очнулся. Сказал спасибо сердечное.

Первым делом он расправился с мечтателями. Оказалось, что мечтатели были другим народом. Не в культурном только отношении другим, а этнически другим. Потому что в жизни этнически-единого, целостного народа не бывает (за всю историю человечества не бывало) такого разрыва в культурной преемственности, какой без видимых усилий возник в 1917 году в России. Христианство — как ветром сдуло. Будто и не крестили Русь. Миллионы, которые вчера несли свет Христов загнивающему Западу, в мгновение ока из богомольцев стали комсомольцами. (Тут бы и вспомнить, что богомольцы эти, в своей массе, троицу понимали как Христа, Богоматерь и Николу-угодника. Да куда там! Опоздал Бунин.) Мужик-христофор протер глаза, научился грамоте, сбросил вериги христианства — и тут краем уха прослышал, что он, мужик, воспет сгинувшим малым народом мечтателей, воспет как богоносец. Это понравилось. Марксизм-то учил, что отдельно-взятой аграрной стране полагается быть на задворках нового мира, а не спасать этот мир. Произошел дивный сплав московского языческого самодовольства с импортной единственно-правильной западной идеологией. Родился большевизм. Москва стала столицей всего прогрессивного человечества.

Сбылось, иначе говоря, пророчество французского историка Жюль Мишле (Michelet, 1798-1874): «Россия — это ложь. Апофеоз лжи и видимости. Сегодня она говорит нам: “Я — христианство”, завтра скажет: “Я — социализм”...». Задумаемся: когда это написано! Европа еще не прочла Толстого и Достоевского. Мишле не дождал до книги Эжена де Вогюэ (1848-1910) *Русский роман* (1886), с которого началась в Европе повальная любовь к русской классике и к России.

В какой мере прав Мишле? Может, и впрямь русская душа — выдумка и ложь? Может, не было ее, не было «религии страдания», жертвенности и самоотречения, упоительной душевной красоты, богоискательства? Не выдумка и не ложь. Всё было. Была русская душа, та самая, дивная, действительно почти евангельская, ближе стоявшая к исконному христианству нищих духом, чем душа жесткой, строгой, законолюбивой Европы. Была да считала. На месте ее звериный оскал обнаружился.

Она, эта русская душа, перед которой на колени упасть хочется, была живой реальностью «малого народа» совестливой русской верхушки, тех самых эксплуататоров, которым (по Толстому) в молодости стыдно было выезжать иначе как четверкой цугом, а к старости стыдно стало видеть, как служанка за ними горшок выносит. Народа с другой духовностью — и (поневоле приходится допустить) с другим этносом. Не может, повторим, один и тот же народ в одночасье переключиться с Христа на Маркса, с мизерикордии — на Гулаг.

Малый народ создал великую литературу, на минуту стал совестью Европы (и был ею осознан в этом качестве), а после 1917-го оказался частично вырезан в ходе гражданской войны, частично вытолкан за рубеж, где растворился в других народах. Его место заступил народ большой, продравший глаза мужик-христофор, булгаковский Шариков. При взгляде со стороны этнически он был тем же самым народом. Но жестокий опыт, поставленный историей, заставляет думать, что это не так. России Пушкина — не стало.

На Западе лишь немногие заметили подмену. Культурная инерция сильна. Затемняло картину и «единственно-правильное учение», пока оно было живо. Иным чудилось, что большевизм с его всемирностью — естественное продолжение той самой русской души, ведь он тоже благодетельствовать мир обещал (что проглотить собирался, того не видели). Одна страстная проповедь сменила другую, а жар (казалось) был прежний. Вот многие и продолжали смотреть на Россию (уже советскую) с надеждой. Продолжали умиляться и удивляться. Так взрослый смотрит на подающего надежды подростка. Во мне, мол, всё уже застыло, а в нем — сколько заложено! Взрослый — человек в футляре, он закон уважает. Прохладные воспитались в Европе народы, вошли в возраст, остались без жара душевного, без пыла сострадательного. Если и были у них духовные светочи, то давно. В темные века средневековья. И то сказать: к чему светочи там, где светло? «Свет во тьме светит».

А в России — новость: народ-богоносец расправил плечи и сбросил с себя марксизм. С той же неправдоподобной легкостью, что и христианство. Промарксистовал 70 лет — и сбросил. Даже не усмехнувшись, не то что не покаявшись. Десятки миллионов жертв, неслыханная в истории гекатомба — и как с гуся вода! Будто и не было.

Откуда эта божественная легкость? Всё оттуда: от язычества. Требовалось и требуется этому народу, собственно говоря, только одно: вера в свое превосходство над всеми прочими народами. В дикости, в язычестве каждого народа эта вера укоренена и незыблема. Проходит она только по мере взросления. Не доросший до цивилизации народ знает всеми фибрами своей большой, жаркой души, что он — лучший. Во всех смыслах лучший, в первую же очередь — самый задушевный и добрый. Это знание — из тех, которые и формулировать не нужно. Это как уверять, что вода — мокрая, а кровь — красная. Это самоочевидно. Но когда первый шаг в сторону цивилизации сделан, когда забрезжила мысль, самоочевидное перестает быть таковым, нуждается в подкреплении. Шариковым как нельзя кстати подвернулись классово-чуждые Толстой и Достоевский. Эти христианские гиганты, по иронии судьбы, способствовали языческому мифотворчеству. Гулага не было бы без старинной, из московского православия выросшей веры, что Россия несет свет миру; без веры в то, что русские спасут и осчастливят человечество. Не было бы советской власти, которую (посмотрим правде в глаза) из всех подсоветских народов только русские воспринимали как свою. Не было бы, пожалуй, и второй мировой войны, и победы в нынешнем ее понимании.

Приступаем к самой тяжелой части разговора.

Победа во второй мировой войне — последнее, что на сегодня осталось от языческого российского мифа. Только победа еще питает в сегодняшних великороссах веру в то, что они — лучшие в мире. Ничто другое на это больше не указывает. Христианство в массах оказалось липовым, ханжеским, внешним; марксизм — таким же непрочным, наносным и чужеродным, как христианство. Правога Мишле подтвердилась с излишней, можно сказать, наглядностью. Вышло, что Бог в России может быть только русским богом. Этот бог, этот языческий идол — необходим народу-подростку, и тут все средства хороши. На худой конец (за неимением лучшего) — сгодятся война и победа. Именно на худой конец. Победа над Наполеоном не стала символом веры царской России. Страна, при всех ее бедах, была при царе самодостаточна, в милитаристских подпорках не нуждалась. А ведь Наполеона победили, не Гитлера!

Вторую мировую войну только в России называют великой. В других странах великой называют первую, а в этой величия не видят: зверства превысили пределы человеческого воображения. Освенцим и Катынь; сметенный с лица земли Дрезден; воздушная война против мирных жителей, — такого никогда прежде не бывало. (В Лондоне, который никто в России прифронтовым городом не считает, от бомбежек погибло тридцать тысяч жителей.) Сбылось еще одно пророчество — Николая Бердяева: о том, что будущее, наряду с небывалым добром, чревато и небывалым злом.

Но зверства в Европе (в первую очередь, конечно, зверства нацистов, лишь во вторую — Красной армии) были у всех перед глазами. А вот зверствам и массовым убийствам в сталинских лагерях Европа не верила до Солженицына (даже Василия Гроссмана не услышала). Разве газовые камеры не имеют себе полного аналога в Гулаге? Там только педантизма немецкого не хватало, зато пытки применялись более изуверские и размах был русский, народу погибло больше. И еще спросим: разве нацизм — не историческая реакция на большевизм? Ложь породила ложь, жестокость — жестокость. Остервенение, охватившее народы во второй мировой войне, в значительной степени восходит к победе большевиков в 1917-м.

Восьмого (не 9-го) мая в Европе и за океаном вспоминают о второй мировой войне и победе над нацизмом. Вспоминают без помпы, с раздумьями и горечью. Устраивают встречи ветеранов, воевавших по разные стороны фронта. Да-да, британские ветераны, соберитесь с духом, встречаются и обсуждают прошлое — с немецкими, сражавшимися под свастикой. И те, и другие согласны: изжито и побеждено страшное зло — но побеждено большой, чудовишной кровью, ценой громадных человеческих и культурных потерь, ценой жестокости, которой по необходимости (и без необходимости) ответили на жестокость. Помнят, что война не только героизмом была отмечена, но и самым страшным за всю историю помрачением человеческого разума.

В России 9 мая — день какого-то помпезного всенародного торжества, языческого веселья. Говорят только о величии и героизме. Сияют довольством. Вся страна празднует; все убеждены, что «русские победили немцев» и тем спасли мир. Тут в пору спросить: кто празднует? В советское время —

можно было считать, что большевики празднуют. А сейчас кто? Народ-богоносец, прославленная мягкостью русская душа, всемирно-отзывчивая к добру, всепрощающая и сострадательная? Ничего этого не видно. Бряцают оружием, празднуют «победу над врагом», большую кровь, — вместо того, чтобы вспомнить, что все люди — братья, да покаяться. Или, может, каяться не в чем?

Любое упоминание об ужасах, которые советские солдаты творили в ходе наступления в Европе, встречается как богохульство, святотатство, клевета. Зверствовали, твердит молва в России, только немцы, но зато уж — все поголовно. Самое большее, соглашаются, что советские зверствовали по отношению к себе самим. Согласны признать, что были заградотряды; что крови солдатской не щадили; что в Гулаг прямиком из немецкого плена последовали — с именем предателей — миллионы защитников родины. Но шила в мешке не утаишь. Воины-освободители грабили, насиловали и убивали мирных жителей в странах Европы. Есть свидетельства просто жуткие, которые и воспроизвести не хочется. Да, война — это жестокость. Может, и нельзя без жестокости. Человек слаб. Но ведь было! Как забыть об этом? Честно ли забывать?

Забывают и другое: что большая страна победила не такую уж большую (и весьма молодую; Германии к 1941-му как раз 70 лет стукнуло). Несколько очень больших стран (Британия еще была громадной империей) навалились на одну. Обычный аргумент — что, мол, «на Россию вся Европа шла», не дорого стоит. Кто воевал против Красной армии? Итальянцы — не в счет, их в начале войны даже греки били, ни сном ни духом воевать не собиравшиеся. При высадке британцев в Сицилию разом сдалось сто тысяч итальянцев, а немцев — полегло 30 тысяч, столько же и британцы потеряли. Из прочих на стороне противника воевали только венгры, но — на конной тяге (а что такое конная тяга против брони, показала польская кампания; поляки, между прочим, к войне готовились и были солдатами настоящими). Забывают о героизме немцев, — да-да, о военном героизме народа-агрессора, зараженного бесчеловечным нацизмом, но не из одних нацистов состоявшего. Сражались и простые немцы, вчерашние школьники, мобилизованные в принудительном порядке. Сражались так, как в XX веке никто не сражался. Отступали только при

громадном перевесе в силах, при последней усталости. На своей территории в 1945 году творили чудеса. Назовем вещи своими именами: германский (если угодно: нацистский, времен нацизма) солдат — не по мужеству, а по сумме боевых качеств, — равных себе не знал. Эта простая истина никогда не была произнесена, присутствует всюду как фигура умолчания — и чести умалчивающим не делает. Германия не своими размерами внушала ужас, не многочисленностью армии, а ее доблестью.

Тут всплывает еще одно. Попробуйте заикнуться, что «русские» никогда не победили бы «немцев», если бы не американцы и британцы, — вам в России головы не сносить. Второй фронт, твердят в России, открылся «безобразно поздно», под занавес. Твердят, имея в виду высадку союзников в Нормандии 6 июля 1944 года, страшную по своим потерям. Но второй фронт — это фронт восточный, советский. Западный, первый — ни на минуту никуда не девался даже после капитуляции Франции. Ламанш и захваченные нацистами Нормандские острова в проливе были фронтом с самого начала войны, с весны 1940-го. Моря и океаны — тоже. СССР еще сторону Гитлера держал, когда Франция и Британия, а затем одна Британия сражалась с нацизмом. Над Ламаншем и югом Англии, в воздушной битве за Британию, можно сказать, под Лондоном, нацисты были *впервые* остановлены в ходе этой войны (а не под Ленинградом, как об этом твердят советские источники). Остановили их (в сущности, победили) — британцы, и при полном равенстве сил, не числом. До этого всюду блицкриг торжествовал. Мог восторжествовать и в СССР. Ошибка думать, что быстро побежденные Франция и Польша не сражались. Просто к войне против панцирных бригад никто не был готов. Проморгали стратегическую находку немцев. Британию спас пролив; Советский Союз спасла территория — да еще то, что железнодорожные колеи были другой ширины, а больше всего — непостижимое «стояние» немцев в августе 1941. Целый месяц не могли договориться, в каком направлении наступать — при практически сломленном сопротивлении.

В Африке британцы воевали с державами оси с 1940-го, американцы — с 1942-го. В 1942-м британцы удержали африканские Фермопилы — эль-Аламейн: не пустили нацистов к Суэцкому каналу и нефти. Не только не пустили, а победили —

правда, при большом (почти трехкратном) перевесе в силах. Египет, эль-Аламейн, Африка – это был третий фронт, после второго, советского. Итальянский фронт (четвертый) открылся в 1943-м; на Дальнем Востоке бои шли с 1941-го. Битва за Атлантику, надводная и подводная, начинается в 1940 году и идет не только в Северном, Балтийском и Средиземном морях: в Атлантике (от Дувра до Нью-Йорка и Бостона), на Суэцком канале, в водах Индийского и Тихого океанов (сравнительно с британскими и американскими – морские операции СССР кажутся каплей в море). Догадываются ли в России, какие потери несли британские конвои, шедшие в Мурманск и Архангельск, и какую роль в войне сыграли поставки по ленд-лизу? На борт кораблей вступали смертники; погибал каждый второй, и люди знали, на что идут. Победа в морской битве за Атлантику обозначилась лишь к 1943-му. Она далась страшной ценой, страшным напряжением сил союзников. (Союзников очень даже есть в чем упрекнуть, особенно если о евреях вспомнить и о других преданных и выданных, например, о казаках; но мы ведь не об этом сейчас говорим.)

Нет, учат нас: значили в победе над нацизмом только Сталин да Жуков, да «русский солдат» (не советский!). Миллионы людей обнаруживают стойкий иммунитет к правде, к мысли, к фактам. Не хотят думать, не способны вести корректный спор. Не готовы даже выслушать другую сторону. Готовы только торжествовать и бахвалиться. Не о миллионах жертв думают (общее число погибших в этой войне исчисляется в шестьдесят миллионов, из которых 27 – советские), не о вине (которую вообще всегда приходится делить между сторонами; а тут – и почти поровну делить, по Молотову-Риббентропу), не о примирении, а только о том, какие они доблестные. Где «милость к падшим» (к плохим, к павшим со стороны противника)? Где всемирная отзывчивость русской души? Христос, помнится, и врага велел возлюбить – этого не ждем, но хоть сострадание-то должно проявиться. Отчего россияне только на себе сосредоточены, только собою любят?

Пусть, однако, «русские победили немцев». Пусть. Забудем на минуту, что воевали еще украинцы и армяне, татары и евреи (по числу героев Советского Союза на душу населения они – вторые). Пусть американцы и британцы, а с ними и все национальные меньшинства в советской армии (половина этой

армии) сыграли второстепенную роль в победе, пусть вообще никакой роли не сыграли; всё — одни русские. Даже и в этом случае праздновать в Москве следовало бы с оглядкой. Защищали ведь не Россию, которой даже на карте не было. Защищали в первую очередь большевизм, изуродовавший Россию, стерший это имя с географической карты (Российская Федерация — не то же, что Россия; а в имени «СССР» России вообще нет). Защищали идеалы, оказавшиеся фальшивыми, бесчеловечными. Шли в бой с именем Сталина, который убил больше русских (грузин, украинцев, татар), чем нацисты. Победили — и спасли Гулаг для новых миллионов жертв сталинизма. Отстояли в войне преимущественное право на убийство за Сталиным, не за Гитлером. Отстояли одну ложь против другой.

На минуту закроем глаза на большую кровь. Забудем, что восточный фронт стал сдвигаться к западу, лишь когда советский перевес в силах и технике стал подавляющим (по некоторым сведениям — десятикратным). Примем чудовищную логику квасных патриотов: что ради «славы русского оружия» никакой своей крови не жалко. Пусть слава — тут. (Что она не только «русская», тоже забудем.) Выиграла Россия от такой победы? Едва ли.

Победа изуродовала русскую душу, не только карту континента. После войны миллионы русских советских людей упивались мыслью о том, что СССР поработил («освободил») народы центральной Европы и грозит Западу атомной бомбой. Гордились этим! Великодержавие оказалось для них дороже свободы, чести и совести.

Победа закрепила сталинизм, продлила на несколько десятилетий стагнацию России — политическую, экономическую, культурную, нравственную (последней, как показывает майская праздничная помпа, и сейчас конца не видно); привела к обнищанию народа России. Победа (в той форме, в какой она была подана советской пропагандой и запала в души миллионов) парализовала творческую волю народа-победителя, почившего на сомнительных лаврах.

Спросят: что ж, лучше было бы поражение? Страшно вымолвить, а нужно: похоже на то. Произносим это, внутренне содрогаясь, в полном сознании того, что фантазия получается

жуткая, что нас камнями закидают (и что история не знает сослагательного наклонения), но также в сознании, что эта фантазия — необходима и целительна.

Итак, поражение. Советская власть рухнула. Сталин из Москвы бежал (и тотчас всем стало ясно, кто он такой). Гулага нет. Есть оккупация — унижительная, отвратительная, но временная, как во Франции, да и не вся страна оккупирована. «Независимость и величие России», совершенно как «независимость и величие Франции», о которых твердил де Голль, подразумеваются — и через несколько лет, после победы союзников, восстанавливаются. Заметьте: России, не СССР. Социалистическая химера, не подкрепленная победоносным оружием, забыта; еще жив Милуков, жив Керенский («сердце народное», по словам Куприна), живы миллионы людей, знавших Россию настоящую; еще можно ее вернуть к жизни. Поскольку кровопролитие кончилось быстро, к сентябрю-октябрю 1941 года, то — вообразите на минуту! — 26 из 27 миллионов убитых в этой войне на стороне СССР — уцелели. (Евреев не обсуждаем, мы ведь о благе всей России фантазируем. Горький опыт говорит, что еврейской крови при любом раскладе прольется больше.) Утопия продержалась у власти всего 24 года, а не 73. Опустошительный коммунистический миф рассеялся навсегда. Помрачение прошло.

Случись так, сейчас Россия была бы богатой, процветающей, культурной страной, осудившей свое позорное прошлое, отрезвленной военной неудачей. Ее население (при независимых Украине, Грузии и Татарии) было бы не 140, а 400 миллионов. Нормальной была бы страной, сдерживающей свои амбиции и процветающей. Такой же, как побежденная Германия, только богаче. Потому что нацизм, зло откровенное, был обречен изначально, победить в мировом масштабе не мог, — в резком контрасте со злом прикровенным, с коммунизмом, имеющим всю видимость добра. Буйное помешательство лечится, тихое — неизлечимо. Западные демократии, нерешительные, колеблемые любым ветром, становятся непреклонными, когда дело доходит до последней крайности. Не всегда, может быть, но перед лицом таких помрачений, как нацизм и большевизм, — всегда.

Для русских — лучше было бы принять победу из рук американцев и британцев, как это случилось с французами.

Тогда и победительный, милитаристский российский миф не в такой мере отравлял бы умы и души. Процветает же Франция. Довольствуется мифом о том, что сама себя освободила. Если бы считала, что освободила мир, была бы сейчас Албанией.

Но СССР победил. Внес главный вклад в победу над режимом, в пользу которого не выживший из ума человек слова не скажет. Склоним головы перед победителями, прошедшими через нечеловеческие ужасы. Помянем павших (с той и с другой стороны). И — признаем, что в ходе этой страшной войны Советский Союз попутно еще одну страну победил: Россию. Покончил с нею. Праздник 9-го мая свидетельствует: между Россией до 1917-го и Россией теперешней нет ничего общего. Праздник этот — в его сегодняшней форме — позорит память всечеловеческой России Достоевского и Толстого. Он, в сущности, — языческая тризна, поминки по совестливой всечеловеческой христианской России. Не русский — насквозь советский праздник. Советская пасха.

Смотришь сейчас на безвкусную пошлую помпу — и невольно думаешь: сегодняшние россияне имеют не больше прав на *Войну и мир* или *Преступление и наказание*, чем сегодняшние греки — на Парфенон, сегодняшние египтяне — на пирамиды. России великой русской литературы XIX века — просто нет в природе.

ТРИАДА СЛАВЫ

Реферат с отсебятиной

Об этой дате забыли, годовщину в 2005 году не отмечали, а она была прелюбопытная: 350 лет назад вошел в употребление термин *славяне*.

Что он — новый, не новость. Послепетровская культура знает только его, древнерусские летописи — только термин словени (словене). В глубокой древности люди, обладавшие словом, говорившие, — отгородились самоназванием от людей бессловесных, не говоривших, от немцев всех мастей. Изначально — *слово*, а не *слава* входит в корень самоназвания народа. Московские государственные историки Татишев и Карамзин знали о подмене, но прятали ее. Триада «слава-православие-славяне» утвердилась в Москве в 1655 году.

Это наблюдение принадлежит писателю Александру Щербакову (1932-94). Его статья «Аз и он» напечатана в журнале «Звезда» (5, 1993) и отмечена премией этого журнала за лучшую публикацию года. Как Щербаков рассуждал?

ПО ЩЕРБАКОВУ

«Щит меж двух враждебных рас» держала не Москва, а Литва, крупнейшая европейская держава в XIV-XVII веках (начиная с XVI века Литва и Польша, но для Москвы — та же Литва), империя-республика с выборным королем, вдвое превосходившая по территории нынешнюю Францию. Она простиралась «от моря до моря», от Балтики до турецкого Причерноморья, а на востоке подступала к теперешним предместьям Москвы. Московия была невелика, но росла; до 1478 года не включала и Новгорода, до 1521 года — Рязани. Она была дочерним предприятием древней Руси, окраиной, Украиной, с которой поначалу никто серьезных надежд не связывал. Ей была свойственна азиатская самодостаточность, замкнутость, неподвижность. Живой, открытой миру европейской Русью

была славянская Литва, большая часть которой приходилась на сегодняшнюю Белоруссию и Украину. Жители этой части Литвы считали себя русскими (русью), а свой язык — русским; возводили себя к Ярославу Мудрому; своего князя, литовца, именовали русским. (Первые русские князья тоже ведь были иноплеменными.) Восточных соседей русь называла московитами (москалями). Общими были вера и язык, но — с накопившимися разночтениями.

Принадлежал Европе и другой обломок державы Ярослава — Великий Новгород с его пушной империей, Заволочьем, великое княжество, враждебное Москве, покоренное при Иоанне III. Был ли он Русью? Варяги прошли через Новгород и владели им из Киева, но имя новгородцы удержали прежнее: словене.

Славяне вместо *словени* впервые было произнесено в Вильне в 1618 году, где вышла книга «Грамматіки *Славенскія* правильное Синтагма» («Правильное построение славенской грамматики»). Никогда прежде этого термина — *славенский* — не видели, не писали и не произносили. Авторство грамматики по сей день приписывают литовскому русскому Мелетию Смотрицкому, но Щербаков показывает, что Смотрицкий (правильнее: Смотрицкий) был только издателем; напечатал книгу за свой счет в период и в ходе своего церковного покаяния. Преподавать он не любил, автором учебника себя не называет. Достоинства же учебника таковы, что по нему учили более ста лет.

Настоящие авторы, по Щербакову, — братья Стефан и Лаврентий Тустановские (оба пользовались еще псевдонимом Зизаний, от *зиза*, плевел), профессиональные учителя (дидаскалы). Они работали над «грамматикой Смотрицкого» 24 года.

В 1617 году в Вильне появились беженцы из Новгорода, земли исконно словенской, где всегда помнили, что «словенскій языкъ и рустій единъ есть» (из новгородской летописи). Они и смутили одного из дидаскалов. В Новгороде был Славенский конец, иначе Славно, — от имени Ярослава или его двора. Беженцы, дети которых учились в школе Лаврентия и Стефана, говорили о себе: «мы — славеньские». Страстный поборник православия в католической Литве, Стефан увидел здесь довод в пользу родной веры. В Новгороде он не бывал, про Славно — не слышал; решил, что имеет дело с древним народным

самоназванием: что словени — слово порченное, а правильно — славени, славене. В сознании Стефана забрезжила триада: слава-славяне-православие.

В Вильне «Грамматики Славенскія» и триада славы признаны не были; язык остался словенским. Около 1620 года Стефан умер. Пропагандистом триады и грамматики становится его брат Лаврентий Тустановский-Зизаний. Он едет в Киев, где образованных людей было меньше, чем в Вильне или во Львове.

В 1623 году, в Киеве, были отпечатаны комментарии к посланиям апостола Павла, в которых набранное слово *словенский* от руки переправлено на *славенский*. В конце 1620-х, в Валахии появляется псалтырь, в которой новоизобретенное слово — «вирус Тустановского» (Щербаков) — уже набрано типографским способом. В титульном подношении местному воеводе впервые напечатана и триада славы. В 1627 году в Киеве выходит «Лексикон Славеноросский», составитель Памво Берында. Вирус привился. У Лаврентия Тустановского появились последователи.

В 1627 году Лаврентий повез свою идею в Москву и добился приема у отца молодого царя, патриарха Филарета, полновластного правителя Московии. «Патриарх и великий государь Филарет» был к Западу суров: заставлял повторно креститься православных, переселявшихся в Москву из Литвы; Литву ненавидел (после долгого литовского плена); отпечатанные в Литве православные книги запретил; на расправу с еретиками был скор. В Лаврентии он увидел поляка, литвака, да еще с амбициями. Всё в нем Филарету было противно, начиная с выговора. Сперва Филарет дал гостю возможность выказать себя, поиграл с ним, как кошка с мышкой, затем Лаврентий был изобличен в ереси и исчез. Триада славы — корней в Московии не пустила. В 1648 году в Москве выходит переиздание «грамматики Смотрицкого», в котором всюду *славене* исправлены на *словене*.

В Киеве тоже дали задний ход — усилиями архимандрита Киево-Печерской лавры Петра Могилы. Искажение не прижилось. Совершенно так же, как в языках западных славян, по-украински *славяне* — словени. Никакой славы.

Однако «вирус Тустановского» всё-таки проник в Москву из Киева, и при Алексее Михайловиче восторжествовал. В 1655 году вышел из печати Служебник, на титульном листе которого значится: «...с древних греческих книг с святыя горы Афона и прочих и харатейных славенских». Привез «вирус» в Москву страстный сторонник термина-мутанта, ученик Лаврентия, киевлянин Епифаний, приглашенный в качестве ученого консультанта к не слишком образованному патриарху Никону. В Москве, когда дело его было выиграно, Епифаний выбрал себе звучную фамилию с намеком: Славинецкий.

Так в 1655 году мутант становится государственной собственностью. К этому моменту со дня его изобретения в Вильне прошло 38 лет.

В Московии утверждение нового термина совпало с расколом, с церковными реформами патриарха Никона. Сам патриарх просто повторил то, что вложил в его уста Епифаний. Не все и заметили это. Вера в темной, необразованной Московии держалась на внешних формах, на обрядах. Креститься двумя перстами или тремя — это был вопрос жизни и смерти. Слова значили меньше. Государство и церковь не сразу поняли, какое идеологическое орудие вручили им не шадившие живота своего Стефан и Лаврентий Тустановские. Никакой светской культуры, способной воспринять подарок, в Московии не существовало. Первая школа — вообще самая первая в стране — возникла в Чудовом монастыре при Филарете (умер в 1633 году) для исправления церковных книг.

Когда церковная революция пошла на убыль, подарок оценили. В 1679 году выходит в Москве «Букварь языка славенска» Симеона Полоцкого. С этого момента — или, уж во всяком случае, с появлением первых петровских указов — старый термин отвергнут окончательно. Ломоносов переоткрывает триаду славы и очень горд этим. Для Державина она уже нечто само собою разумеющееся: «Славян всегда наследье — слава...»

Шербаков пишет: «Примерно двести лет понадобилось нам, чтобы самостоятельно дозреть до мысли, озарившей “быстрога разумом” книжника Стефана Тустановского-Зизания еще в начале XVII века: до мысли о богоизбранности народа, изначально Его волею отмеченного особым именем...»

ОТСЕБЯТИНА: ТРЕТИЙ РИМ

В 1472 году Иоанн III женится вторым браком на Софье (Зое) Палеолог, племяннице последнего византийского императора, воспитанной в папском Риме. В Москву невеста привозит императорские регалии и имперские амбиции. Европа впервые замечает Московию, Московия же начинает видеть в себе преемницу Византии (павшей в 1453 году).

Между 1510-м и 1521 годом было написано знаменитое письмо псковского монаха Филофея великому князю Василию III: о том, что Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать. Псков был захвачен Московией в 1510 году. В 1492 году Иоанн III выходит к морю и прорубает окно в Европу: руками итальянцев и греков строит Ивангород, несостоявшийся Петербург.

Стефан и Лаврентий Тустановские не могли не знать о письме Филофея, не могли не видеть возвышения и новых притязаний Москвы, представлявшей собою в их глазах пусть и вторичную, не настоящую, но всё же Русь — хотя бы по языку. Запад, еще вчера полагавший, что Московия, как при Хубилае, зависит от Орды, принадлежит Китаю и управляется из Пекина, на минуту поверил, что новая эфемерная держава способна изгнать турок из Константинополя. Об этом в Москве и не помышляли, но и от Орды Москва больше не зависела (после «стояния на Угре» в 1480 году), уже около ста лет прибирала к рукам ордынские земли — участвовала, на правах одной из частей Орды, в дележе ордынского наследства. Начало упадку Орды положил в 1395 году эмир самаркандский Тимур. Именно он, разгромив Тохтамыша, открыл Москве путь к предгорьям Кавказа и в ордынскую Сибирь.

В XVII веке Литва (Речь Посполитая) ослабевает. Она — в числе сил, проигравших Тридцатилетнюю войну (1618-48), в которой Московия поддерживала ее противников, антигабсбургскую коалицию — дешевой продажей зерна в Копенгагене. Против Речи Посполитой поднял в 1648 году восстание Зиновий-Богдан Хмельницкий. Этот вождь сперва хотел полной независимости Малороссии, затем, по мере того, как удача изменяла ему, равноправия Руси с Литвой и Польшей в составе Речи Посполитой, наконец — автономии под шведской короной. Союз с Московией (Переяславская рада) был для него

компромиссом – таким же временным стратегическим шагом, как и союз с крымскими татарами. О полном аншлюсе, о присоединении к провинциальной азиатской Московии – Хмельницкий не помышлял. Умер он в 1657 году, как раз когда уже собирался подписать сдачу Малороссии шведам. Свой край он оставил разоренным и обескровленным. Днепровское левобережье (не вся Украина) отошло к Москве.

Московия уже приобретала черты империи: в 1490-е годы вышла к чухонскому морю, в 1478 году захватила Новгород. Она становится империей с захватом Казанского ханства в 1552 году и Астраханского ханства в 1556 году. Она прибирает к рукам то, что держала под рукой Орда: Карачай, Черкессию и Кабарду.

К моменту озарения, посетившего Стефана Тустановского в 1617 году, миф о том, что Москва – Третий Рим, уже воцарился в сердцах. Миф и надоумил Стефана. Триада слава-славяне-православие замыкала в своей стройности представление, любезное сердцу каждого народа: о том, что он, этот народ, – лучший, первый на земле и меж другими народами. Филофей льстил не князю, а себе. («Любя отечество, любим себя», говорит Карамзин.) Для Филофея Москва – еще не Россия, не страна, а именно город, подобно Риму, кристаллизующий вокруг себя окрестные земли (Имя *Россия* по-русски впервые прозвучало как раз при Филофее, в 1517 году; до этого оно встречалось только у греков в форме *Ρωσσία*, в Москве же знали слова, *Русь*, *Русия*).

Всё выходило складно. Первый Рим был языческий, а сейчас – хуже языческого: еретический; второй оказался негоден Творцу и подпал под турок, а третий – вот он: православная Москва. Князя Иоанна, будущего Грозного, короновали в 1547 году по византийскому обряду. (Впервые венец и бармы Мономаха были в 1498 году возложены на царевича Дмитрия, которого к 1509 году уморил в тюрьме его дядя Василий III.) Петру Великому – имперское величие (если не имперская корона) досталось на блюдечке. Не в последнюю очередь – благодаря словечку *славяне*.

ОТСЕБЯТИНА: СРЕДНЕЕ ЗВЕНО, СЛАВЯНЕ

Но точно ли русские — славяне? Был или нет на свете Рюрик с братьями, а варяги в Новгороде и Киеве — были и княжили. Пришли они княжить над словенами, чудью и весью (тем самым эстонцы, чудь, имеют полное право считаться русскими; имеют — да не хотят). То есть с первых шагов видим во всяком случае четыре племени, включая варягов. В Киеве добавились хазары, поляне и евреи; еще три. Дальше — больше. Перед нами — государственный союз племен, притом неродственных, в очень разной степени готовых к слиянию в единый этнос. Полного слияния вообще не происходит. Некоторое этническое единообразие складывается к XV веку в Московии, но вновь размывается в ходе ее имперской экспансии при Иоанне III (1440-1505) и Василии III (1505-33).

С самого начала особое место в союзе племен принадлежит племенам финно-угорским. Их было много: чудь, весь, меря, мурома, черемиса, мещера, мордва, нарова, ямь, югра, печера, пермь. Список не полон. Территорию они занимали громадную, примерно соответствующую будущей Московии и части Орды (с ближним и дальним Зауральем) плюс все обширные новгородские земли — и дальше на северо-запад, до Ботнического залива и Белого моря. Карамзин отмечает, что Москва — имя финское и что финно-угорские племена исторически всегда только уступали свои территории, никогда ничего не завоевывая. Добавим: уступали бессловесно; летописей не оставили.

Словенские племена должны были быть пусть и важными, но численно незначительными вкраплениями в этом финно-угорском море. Весьма характерно, что финны, а не словене, дали имя пришедшим скандинавам. Имя русь (Карамзин этого не знал) — тоже финское. По-фински Рутсы (Ruotsi) — Швеция. Это имя и было произнесено в Новгороде Гостомысла, притом произнесено по-фински: пришла Швеция, Русы. (Литера Т не случайна в названии языка в новгородской летописи: «словенскій языкъ и рустій единъ есть».) Два века спорили на все лады о происхождении имени Русь, копыя ломали, возводили его к Пруссии, к Этрурии, династию Рюрика пытались представить хазарской, у немцев справлились, а ответ

был под носом, у стен Новгорода. Бессловесных финнов спросить не догадывались. Они всегда это знали. Россия по-фински — Швеция.

Варяги-шведы были малочисленны и первыми растворились в русском котле народов. Но и они ушли не сразу. Византийские летописи описывают Святослава Игоревича как типичного скандинава. А в Константинополе варягов знали хорошо, там издавна царская гвардия из них формировалась. Ярослав Мудрый в сагах — конунг Ярицлейв, правитель окраинной по отношению к «кругу земному» Гардарики. У Ярослава — как у своего — находят пристанище неудачливые конунги и принцы Норвегии (Олаф и Магнус). «А дева русская варяга презирает» (Батюшков) — сказано о Елизавете Ярославне (в сагах она Элисава), жене знаменитого авантюриста, норвежского конунга Харальда Сурового, погибшего в 1066 году в битве за английский престол (а в молодости служившего в Константинополе).

Хазары, казалось бы, вовсе сошли с исторической сцены, частично войдя в неоднородный русский этнос. Но ушли они не без следа. Давно отмечено, что народное религиозное творчество в России всегда шло по направлению от Нового завета к Ветхому завету. В XIX веке молокан, иеговистов, жидовствующих и иных раскольников ветхозаветного толка насчитывалось в России от полумиллиона до двух миллионов. Традиция эта давняя, она не прерывалась со времени св. Владимира, крестившего Русь (но сначала едва не принявшего иудаизм). Высказывалась догадка, что мать князя Владимира, Малуша, ключница Ольги, была еврейкой. Жидовствующих видим в XV-XVI веках, во времена так называемой «итальянской волны» европеизации Московии, при великом князе московском Иоанне III, который сам сочувствовал этой ереси. В XIX веке казак-иудей Тимофей Бондарев, автор книги «Торжество земледелия», привел Толстого к мысли о необходимости пахать, то есть к толстовству. Донское казачество непрерывно поставляло ветхозаветных раскольников. В XIX веке Хуперский казачий полк почти целиком был составлен из жидовствующих из станицы Александровской. Ветхозаветный раскол распространяется на всю Россию и Сибирь, до Иркутской губернии, но идет преимущественно с территории, некогда находившейся под контролем иудействовавших хазар.

На юго-востоке Русь с первых своих шагов в этническом отношении размывалась Степью. Князь Игорь Святославич из «Слова о полку Игореве» (оперный патриот, исторический мародер и убийца, вырезавший русский город Глебов так, что, по словам летописца, «живые мертвым завидовали») был на три четверти половец. В XIII веке приходят монголы — и в XIX веке Достоевский записывает французскую поговорку: «Поскоблите русского, найдете татарина» (эти слова приписывают и Наполеону, и его ненавистнику графу Жозефу де Местру). С петровских времен добавляются немцы, да так, что и на престоле российском в конце концов немец сидит.

Вывод напрашивается: русские — имя собирательное. Разговоры о чистоте крови в России — пустая трата времени. Старинные племена, сохранившие свою физиономию, не растворившиеся в пестром титульном этносе (в первую очередь евреи и эстонцы) — племена в России коренные, исконно русские. Евреи удержали свою религию, эстонцы (русские из русских) — в большинстве своем лютеране. Они, чужд и «жидове», старше титульного этноса в России. Они уже были в этих землях, когда русских в сегодняшнем понимании — еще не было.

Второй вывод, не столь несомненный, но весьма вероятный: великороссов лишь с оговорками можно признать славянами. Этнос Московии (Великороссии), относительно устоявшийся к моменту начала имперской экспансии при Иоанне III, сложился в значительной степени на основе финских племен. С северо-востока славянский этнос изначально разбавлялся финно-угорским, с юго-востока — в днепровской Руси — хазарским, тюркским, монгольским, турецким и еще многими.

Можно допустить и то, что Карамзин ошибся, сказав: из славянских языков русский — наименее испорченный. Знал он из этой языковой группы, кажется, только польский с его латинскими заимствованиями. В дунайские земли не заглядывал. Если бы заглянул, услышал бы живую речь «Слова о полку Игореве». Ее и сегодня можно услышать в предгорьях Альп, в Словении. Там не скажут: «закрой рот» — скажут: «заприте уста». Вместо «собака» скажут «пэс». Там — меньше тюркских заимствований типа «язык» или «хоругвь» (но тюркское «книга» всё же проникло туда в форме «книжица»).

ОТСЕБЯТИНА: ПЕРВОЕ ЗВЕНО, ПРАВОСЛАВИЕ

Громадным политическим успехом Годунова (еще не царя) стало в 1588 году то, что он, по словам Щербакова, «не мытьем, так катаньем добился для Москвы статуса пятого патриаршества». Запад и днепровскую Русь это изумило. Честь казалась несообразной, не отвечавшей достоинству окраинного государства, едва отделившегося от Орды, известного косностью и невежеством. Вся ученость, все школы, всё православное богословие было в Вильне, Киеве и Львове. Митрополит киевский остался митрополитом «всёя Росіи».

С 1386 года, когда литовский князь Ягайло крестился в католичество, православие на Днестре, в Галиции и в Полесье оказывается в зависимости и под давлением католичества. В 1453 году, с падением Византии, Московия становится (или воображает себя) единственной в мире страной, где православие — государственная религия (была еще Валахия во главе с Владом Цепешом, он же Дракула, но кто же в Москве мелочится?). Наследница Орды, издавна обращенная к Востоку, открытая всем его веяниям, а от Запада отворачивавшаяся, Московия получает еще один довод в пользу самодовольного изоляционизма: «истинную веру» на государственном уровне. Сложились благоприятные условия для того, чтобы превратить Бога — в русского бога, христианство — в национальную религию одной отдельно взятой страны. И вот мы с изумлением видим, как Филарет перекрещивает людей — из православия в православие. В московское православие, в единственно правильную, национальную веру. Так на земле появился второй избранный народ. Первый, евреи, назван избранным в Ветхом завете, однако по учению церкви отвергнут Богом; избранным народом стали все христиане безотносительно к их этносу («несть ни элина, ни иудея»). Национального христианства Западная Европа не знает. Зато на востоке Европы в XVII веке, в явочном порядке и без деклараций (если не считать Третьего Рима), — избранными оказываются уже не все христиане, даже не все православные, а только великороссы (каковыми во втором поколении становились все крестившиеся нехристи).

Московское православие было национальным еще и вследствие ошибок в переводах церковных книг. Максима

Грека (1475-1555), человека ученого, ошибки изумили. Исправления были необходимы, иначе пятое патриаршество и впрямь превращалось в совершенно отдельную религию, религию одного народа. Максим приехал в Московию в 1518 году (через год после начала Реформации) и поплатился за свою ученость: был осужден на соборах 1525 и 1531 годов. В 1988 году русская православная церковь Максима канонизировала, а в тогдашней Московии его едва не замучили, двадцать лет держали в местах весьма отдаленных.

Но как только в Москве все желанные элементы сошлись (Третий Рим, русский бог и имперская мощь), так возникло затруднение. С завоеванием Казани — Московия перестала быть страной только христианской. Добавилось мусульманство. С расширением империи на запад в нее, спустя поколения, вошли массами католики и протестанты. С разделом Польши в конце XVIII добавилась громадная еврейская община. Евреи, коренные жители днепровской Руси и Галиции, упорствовали, христианства в своем большинстве не принимали. Когда при Иоанне Грозном был в 1563 году (ненадолго) взят Полоцк, упорствовавших топили в Двине, а из немногих крестившихся вышли потом известные дворянские фамилии России (в Польше крестившиеся евреи автоматически становились шляхтичами). По отношению к евреям у христианства издавна существовало нечто вроде эдипова комплекса, у московского же православия — ожесточение обострялось конкуренцией за право именовать Бога своим, национальным. В этом смысле можно сказать, что с момента возвышения Москвы и обособления от Запада русские православные, сами того не сознавая, на протяжении всей своей истории пытались стать евреями.

Можно ли считать сегодняшнюю Россию страной православной? Нет. Иначе получится, что в ней есть граждане второго сорта (совершенно как в сегодняшнем Израиле — как только мы признаем его страной еврейской). Будет ли Россия когда-либо православной? Вряд ли. Для этого ей пришлось бы вернуться в границы Московии Василия III, которая еще и Россией вполне не была. Если Россия — такая же страна, как все прочие (если Бог — не русский бог, если русские — не избранный народ), это однажды и произойдет. Все империи рано или поздно распадаются. Естественная восточная граница Великороссии — Волга на юге, Урал — на севере. Но, опять,

если Россия — такая же страна, как все прочие, если общие тенденции истории распространяются и на нее, то и возвращение в свои естественные границы не сделает ее чисто православной страной — просто потому, что времена переменились. Все цивилизованные страны планеты живут в наши дни национально-религиозными общинами, все содержат религиозные меньшинства. Общинный путь цивилизации, некогда казавшийся нездоровым, присущим только империям в процессе распада, сейчас считается прогрессивным. Полагают, что общины обогащают друг друга в культурном смысле и в некоторых других, например, в генетическом. Излишнее единообразие чревато застоєм, самодостаточностью, самодовольством: тем самым мертвым самодовольством Московии, помешавшем ей в XV–XVI веках воспринять необходимый культурный опыт Европы в ходе «итальянской волны» переноса знания. Восприняла этот опыт (с мучениями, но всё же восприняла) — многонациональная и многоконфессиональная имперская культура петровской России.

Зато если московское православие — единственно-правильное понимание Бога, единственно-истинное христианство, и, значит, все народы рано или поздно станут православными московской патриархии, тогда, естественно, Россия будет православной — потому что весь мир станет Россией, а все люди — великороссами.

В этом вселенском притязании Москвы позволительно видеть ответ на вопрос, почему большевики продержались у власти так долго. В подсознании российских масс было готово место для единственно-правильной идеологии, которая спасет мир; к тому, что Москва — «столица всего прогрессивного человечества», столица мира. Тезис «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать» оказался для большевиков трамплином, а для миллионов «простых людей» — важнее христианства, важнее личного и народного благосостояния, важнее человеческого достоинства. Большевицкая Московия собиралась поглотить всё человечество. Большевизм держался на «вирусе Филофея», дремавшем в народном подсознании. Великороссы — единственный из подсоветских народов, воспринимавший советскую власть как свою, кровную.

Обыкновенно говорят, что самой родной советская власть была для евреев. Верно: она могла прийтись по душе только народу-богоносцу, народу-избраннику, и религиозные евреи себя таковым считают. Но трудность здесь вот какая: евреи-иудаисты отвергают миссионерство, не зовут все народы стать евреями, прозелита отговаривают, даже отталкивают: принимают в евреи с третьей попытки. Евреи-большевики на деле не были евреями. Если мы с вами — не прямые расисты, мы не можем не признать, что евреи-революционеры порвали с еврейством и что идея еврейского избранничества была им противна. «Великий человек, — учит нас товарищ Сталин, — принадлежит тому народу, которому служит...». Слово *великий* здесь — архитектурное излишество. Троцкий и ему подобные были *выходцами* из евреев, продуктом русского общества, таким же национальным продуктом, как советская власть. Их интернационализм, поначалу искренний, на деле оказался русско-советским патриотизмом. Они говорили по-русски (для Троцкого и большинства этот язык был родным), строили интернациональное государство на русской основе, русифицировали окраины. Если отождествлять Советский Союз с Россией (именно так поступают иные патриоты), то они служили России. Ни в каком смысле они не служили еврейству, еврейскому народу, иудаизму.

ОТСЕБЯТИНА: ТРЕТЬЕ ЗВЕНО, СЛАВА

Славы — России и русским не занимать. Русские, россияне, взятые во всем их генетическом богатстве, — один из своеобразнейших и самых знаменитых народов планеты. Однако место народа и страны в мире не стоит преувеличивать.

Какова она, русская слава? Во времена Пушкина на первом месте была слава военная. «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич...» Империализм был нормой, гибель на поле боя — первой честью. Рыцарство, которого Россия не знала, пришло из Франции в форме дворянской чести, в форме дуэли. Эти заимствования, незнакомые боярской Руси, продержались недолго — отчасти потому, что совпали с новейшими гуманистическими веяниями в Западной Европе. Мировой общеисторический вектор «от людоедства к братству»,

о котором писал Владимир Соловьев, очень ясно обозначился в Европе во второй половине XIX века (в значительной степени благодаря Толстому и Достоевскому). Убийство себе подобных, даже и в бою, — утратило былое очарование. Мир сделал еще один шаг в сторону цивилизации.

Лишь однажды в истории Россия казалась (и то не всем) самой мощной военной (сухопутной) державой мира: в период от 1812 года до начала Крымской войны. Соперницей ее была только Франция, доминировавшая на суше со времен Тридцатилетней войны. Стендаль в 1816 году фантазирует: в 1840-м «русские будут хозяевами Италии». Вместе с тем он убежден, что даже коалиция европейских держав «не в состоянии выдержать более одной кампании против Франции без английских денег». Герцен пишет о «страшном французском войске», но уже догадывается, что Францию вот-вот оттеснит Пруссия (что победит и растопчет, не предвидит).

Второй период великодержавия России приходится на сталинскую эпоху — но тут нельзя не признать, что империей, державшей в страхе мир, была всё же не Россия, а Советский Союз. Источником страха Запада были не русские штыки, а коммунистическая идеология. На Западе опасались, что эта идеология — в чем-то правильная, или что ей, по крайней мере, принадлежит будущее. Западные университеты и сегодня настроены в этом ключе: уж больно марксизм строен, уж больно соблазнителен как дисциплина. Сегодняшняя Россия перестала быть великой державой не потому, что отдала территории (Пруссия была великой державой при крохотной территории), а потому, что перестала руководствоваться «единственно-правильным учением», возбуждавшим массы. Пока большевизм был жив, подводные лодки не тонули, боеголовки не ржавели, исправные боевые корабли не продавались в Японию за наличные.

Память о советском великодержавии совершенно исказила картину мира в глазах современных россиян. На всем Западе сейчас нет ни одного человека, которому бы в голову могло прийти, что Россия хоть в каком-то смысле противостоит Соединенным Штатам. Нет критерия, по которому эти две страны могли бы оказаться в одном классе. Ядерное оружие, даже тот факт, что его у Москвы — много, — не в счет. Важно,

в чьих оно руках. Еще Шарль де Голль говорил: меня не беспокоит, что Советский Союз может десять раз уничтожить Францию; мне достаточно знать, что Франция может один раз уничтожить Советский Союз. Что же говорить о США? Для них, конечно, и СССР, если забыть об идеологии, серьезным противником и соперником не был. Чтобы понять это, вспомним космическую гонку. Как только самолюбие американцев было задето (в 1961 году, полетом Гагарина), они шутя, в один присест, обошли Советы. Уже в 1966 году Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. В последующие годы там побывало еще одиннадцать американцев. Экономическая мощь двух стран была несопоставима. Тем более она несопоставима сейчас. Идеологическое преимущество — даже оно перешло к американцам. Страна гордится тем, что несет миру свободу и демократию. Это она и делает, а российская печать, исходя из квасного патриотизма, умудрилась убедить россиян, что американцы прибирают мир к своим рукам.

Так что военную славу — отложим. В современном мире не в ней дело. Экономике тоже подробно обсуждать не станем. Тут слишком ясно, что потенциал России громаден и не полностью реализован в силу очень специальных историко-географических обстоятельств. Уже самые колебания ВВП об этом свидетельствуют. Был момент в середине 1990-х, когда Россия по этому критерию соперничала с Голландией и уступала Мексике, сейчас — она всего на треть отстает от идущих ноздря в ноздю Британии, Франции и Италии. Как и военная мощь, экономика — не абсолютное мерило. Важнее, устойчивее — культура. «Статуя — переживет народ», говорит нам Готье устами Гумилева.

В семью славных народов Европы русские вступили последними; сделать в культурном отношении успели меньше итальянцев, немцев, французов или британцев. Национальное отрочество затянулось отнюдь не из-за монгольского ига (в Испании Реконкиста длилась семь веков), а из-за освоения громадной территории, из-за неопределенности, размытости южной и восточной границ. Ключевский полагал, что Россия — жертва своей географии. Щербаков пишет: «москвичи жили вне географии и вне истории». Если бы, подобно Британии, Россия точно знала свои пределы, свою ограниченность, бед было бы меньше, простору — больше. «Взглянем на пространство

сей единственной державы: мысль цепенеет», — писал Карамзин. Действительно, цепенеет — и мешает думать, мешает понимать Россию умом. При Карамзине территория Российской империи покрывала одну девятую часть суши (с Аляской, Польшей и Финляндией, но без Средней Азии). С присоединением Средней Азии — до одной шестой дотянула. Только империя Чингисхана была больше. Тютчев упивался этой цифрой: «шестую часть земного круга» и т.д. Советский Союз тоже очень этим гордился, а другие страны ужасались. Рассказывают, что после поражения Третьего Рейха одной молодой неграмотной немке показали глобус, а на нем — Германию и Россию. «Что же, у фюрера не было глобуса?» — спросила бедняжка. Уподобляются ей и те из сегодняшних россиян, кто величие России выводит из ее необозримых пространств.

Сейчас Россия опять покрывает одну девятую часть суши, но никакого величия из этих просторов вывести не удастся. Не говорим о том, что больше половины России не заселено и (пока) даже непригодно для жизни. Достаточно сказать, что территория, земля — повсюду век от века значит всё меньше в жизни народов. Важнее человеческие ресурсы. По численности же россияне — народ не очень большой. Индонезийцев — более чем вдвое больше. Японцев в Японии — больше, чем великороссов в России. В сторону Китая с Индией и смотреть не станем.

Но и численность населения важна не сама по себе. Уровень просвещения и образованности — вот что определяет успех народа, особенно в современном мире, ставшем большой деревней. Здесь — Россия отставала и отстает. Отставала и в XIX веке, если говорить о народной массе. Возвысилась и стала на один уровень с Европой (на минуту, спасибо русским писателям, и христианской совестью Европы сделалась) — только достижениями своего просвещенного класса, класса эксплуататоров, совестливых и христоролюбивых. Этот класс и внес главный вклад русских в мировую цивилизацию. Ее пресловутый «народ» — не внес ничего. Русская литература XIX века — вот что поставило Россию в один ряд с большими европейскими странами. Не музыка (дивная), не живопись (замечательная), не философия или юриспруденция, не наука или гражданские свободы, а именно литература. Европейский

роман достиг своей вершины в России. И еще, хоть Европа не сознает этого: благодаря Пушкину. Благодаря ему и нескольким в университете драгоценным поэтам XIX века — русская поэзия, самая молодая в Европе, не уступает ни одной из европейских.

Почему литература XIX века, а не двадцатого? Вторая богаче именами и книгами. По очень простой причине: великая светская литература исторически никогда не обходилась без веры в Бога. Есть Бог или нет его, в контексте нашего разговора неважно: важно, что без веры — высокого искусства не создашь, а низкое искусство — противоречие в терминах. Без веры в надчеловеческие ценности всё — мнимо, всё мимо. Веры в человека недостаточно. Искусство безбожное вырождается в умственную игру, теряет нравственный заряд, опускается. Если сомневаетесь, «оглянитесь окрест». В поэтах в современной России ходит Пригов, в прозаиках — Сорокин. Чем будут потомки гордиться? Низость (опять — исторически, в предположении, что смысл искусства — прежний) никогда не питала подлинного искусства. Она могла и может быть предметом изображения, но не двигателем, не сущностью искусства.

И последнее. Вся мировая слава России, слава существенная, которая выветрится не завтра (включая, если угодно, и военную), — вся она целиком принадлежит петербургскому периоду русской истории. Разумеется, мы слышали: Петербург — город вымышленный, ему быть пусту, он — сплошная декорация. Слышали и не возражаем. Пусть так. Вынесем этот плохой город за скобки. Пусть он рассеется, как дым (по Достоевскому); пусть провалится под землю (как православная Антиохия). Не в нем дело. А дело в том, что и Москва, и Россия, каковы они сейчас, в большей мере восходят к петербургскому периоду русской истории, чем к истории допетровской. До появления Петербурга Москва ни на минуту не была городом мирового значения. К петербургскому периоду, пусть с оговорками, придется отнести и большевизм в его начальной стадии, до загнивания, до отказа от интернационализма. Марксизм пришел в Россию из Европы, Россия восприняла его, пусть и плохо, но как страна европейская, не по-китайски. Как европейская страна она вступает и во вторую мировую войну (в которой многие историки видят всего лишь продолжение первой мировой). Зато Россия хрущевская и брежневская опять, как при Батые, смотрит

в Азию. Гагарина вынес за пределы земной атмосферы космический корабль «Восток», названный так в пику Западу. Запад — враждебен России а priori, как во времена православного самоупоения в допетровской Московии. Еще при Сталине и особенно после него коммунистическая идеология на глазах выворачивается наизнанку, становится узко-национальной, шовинистической. Раковина закрывается.

Современная Россия по видимости открыта Западу. Свободный рынок, свободный выезд из страны, свободная (пусть даже и не вполне) печать. Чуть ли не впервые в истории эмиграция перестала считаться изменой родине. В одном отношении — открыта даже чрезмерно. Русский язык на глазах превращается в испорченный американский. Москва ненавидит Запад — и вместе с тем угодничает перед ним в главном, растрачивая драгоценнейшее из своих природных богатств: русский язык. Это ли не измена родине? При таких темпах саморазрушения — уже через 50 лет русских классиков в России придется переводить.

Но сегодняшняя открытость не возвышается до всемирной отзывчивости послепетровской России. Чуть копни, и видишь прежнее московитское самодовольство. По-прежнему «москвичи живут вне географии и вне истории». По-прежнему в подсознании россиянина сидит, что русские несут свет миру. Признать и принять простой факт: Россия — страна среди стран, русские — народ среди народов, — оказывается ему не под силу. Родину свою он готов любить только в сознании, что она — лучшая: не для него лучшая (что было бы естественно), а для всех на земле, включая и негра преклонных годов, должна быть лучшей. С чисто советским фетишизмом — самое слово *родина* он по-прежнему пишет с прописной буквы, — как было в те времена, когда имя Творца полагалось писать со строчной. Какой контраст с англоязычными странами! Там слово *родина* вообще под запретом. Политического деятеля, который его произнесет, не изберут. Оно считает недопустимой спекуляцией, популистским трюком в духе нацистов и неонацистов. Любовь к родине — подразумевается.

Триада славы могла на каком-то этапе помогать становлению того лучшего, что народы мира чтят в России и русских. Сейчас — она тормозит возвращение России в семью народов европейской цивилизации. Неважно, славяне русские или нет:

военную славу они приобрели не как славяне, а как россияне, как союз племен имперского государства. Никто не посягает на право верующих считать православие единственно истинным пониманием Бога — если только от верующего не требуют при этом быть непременно «великороссом по крови», если православие не вырождается в зоологическую ксенофобию, когда тех, кто «других кровей», за евангельское слово топором зарубают. Что до славы, то слава русских померкнет, если самодовольство не сменится самокритикой. Высокий уровень самокритики, постоянное, жесткое, даже с перегибами, недовольство собою как народом — отличительный признак цивилизованных народов и стран, свидетельство нравственного здоровья общества, лучшая гарантия его будущего.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОСТСКРИПТУМ

Читатель нашел в этом сочинении неточности, натяжки и передержки. Но иначе — не бывает. Ошибки неизбежны и в точных науках — что же говорить об истории? Отмечаем всякую мысль о том, чтобы причислить ее к наукам. Точность и полнота ей в принципе недоступны. Фукидид, фон Ранке — и те не сдюжили: не смогли освободиться от человеческого элемента (какая же история без человека!), а значит — от элемента нравственного. Но там, где присутствует хотя бы тень нравственности, там — не наука, там искусство, двуединство этики и эстетики. Точные науки от нравственности освобождены, наоборот, в истории — беспристрастие в принципе недостижимо. Оно может при иных обстоятельствах быть идеальной (недостижимой) целью; оно должно быть ею на академическом уровне. На уровне публицистическом — не стоит и пытаться затушевать главное: что речь идет о нас с вами, о том, куда нам плыть. Нужен ли вообще публицистический подход, всегда слегка спекулятивный? В государстве Платона — не нужен (там и история не нужна), в историческом времени — неизбежен. Самые ошибки публициста могут подтолкнуть мысль историка. Но публицист не об историке печется, он занят судьбами общества. Только публицистическая мысль выводит общество из застоя. Пока она жива, можно надеяться обойтись без революций и гражданских войн. Когда она умирает, на смену ей приходит лозунг — и кровопролитие.

ГРУЗИНСКИЙ ВОПРОС

Отчего мы никогда не задавались вопросом об ответственности грузин перед русскими? Немцы — не больше русских убили, чем грузины. На фронтах, может, и больше, но на то и война, а гражданских, штатских русских — меньше.

Прикинем. По официальным данным в ходе великой отечественной войны погибло 27 миллионов советских граждан. Из них 16 миллионов сражались. Стало быть, на мирное население приходится 11 миллионов погибших. А в сталинском ГУЛАГе, по осторожной оценке Британской энциклопедии, погибло от 15 до 30 миллионов. Роберт Конквест насчитывает 100 миллионов, но нам столько не нужно. Что потеряны миллионы, а не сотни тысяч (как утверждают апологеты большевизма), не позволяет сомневаться демографическая кривая народонаселения СССР. На годы репрессий приходится ее резкий (многомиллионный) надлом. Пусть, пусть немцы убили больше, но на совести грузин — тоже миллионы. Ведь в Кремле-то грузин сидит! Властью пользуется безграничной, какой и русский царь не знал, и ГУЛАГ — его детище.

Ни разу грузинский вопрос поставлен не был. Не странно ли? Не пора ли?

И ведь Джугашвили не один орудовал, а с целой бандой подручных-грузин: всякие Орджоникидзе, Фрунзе, Берию, а с ними и мелкота, имя которой — легион. Это заговор! Что все эти азиаты делали в Белокаменной, как там очутились? Мирное, заметьте, проникновение. Тихой сапой оттеснили коренных жителей страны, заняли ключевые посты — и принялись за расправу. Результаты — умопомрачительные. Монголы и татары убили русских не больше за три века, от Калки (1223) до захвата Казани (1552). Вообще за всю историю человечества ни один народ не убил столько представителей другого народа, сколько грузины русских убили.

Слышу возражение: это вздор! так и бомбу можно грузинкой обзывать! Она ведь не выбирала совершенно так же, как Джугашвили. Тоже — интернационалистка.

Слава Богу! Мы одумались. Сталин — не грузин. Из его слов можно даже заключить, что он себя русским считал. В самом деле: «великий человек принадлежит тому народу, которому служит». Советскому, говорите? «Новой человеческой общности»? Но ведь в советском-то народе, и как раз по его же, Сталина, словам, одни равнее других были, именно: «русские — первые среди равных», а Сталин во всем был первым, как же тут-то ему оказываться во вторых среди равных, в грузинах? Нет, Сталин — русский. Да и любовь всенародная, какой история не знала, пришла к нему не от вторых или третьих среди равных, не от осетин каких-нибудь (бывших скифов), а от первых, от русских, на их национальном языке, на языке Пушкина. Занятно было бы подсчитать, сколько всего умильно-раболепных песен и стихотворений написано по-русски в честь вождя. На целую национальную поэзию развивающейся страны хватило бы. А может, и развитой.

Переходим к латышскому вопросу.

Уж тут-то вина налицо. Тут не о единичных злодеях речь, а, можно сказать, о массовом милитаристском помешательстве «малого народа», о какой-то нечеловеческой жажде крови, охватившей латышей. Или жажды славы? Неважно. А важно вот что: сперва этот небольшой народ, сплотившись в латышских стрелков, выступил в 1915 году против Германии и Австро-Венгрии, с которыми Россия, Британия и Франция уже воевали, да справиться не могли. Помог Антанте. Затем латышский народ воспользовался смутным временем в России и обратил штыки против русской армии Деникина. Сыграл, говорят, немало-важную роль в победе большевиков над русскими. Сейчас самое время спросить с латышей за это злодеяние. Латвия вся-то величиной с ослиное ухо (кажется, так сейчас в Кремле говорят), а по населению — наполовину русская. Пусть ответят!

Что? Латышские стрелки были частью русской императорской армии, были набраны в нее в качестве рекрутов? Для противников, для немцев и австрияков — были русскими? Похоже на то. Но тогда придется признать, что они и вообще были русскими. Все граждане Российской империи считались русскими за границей и дома. Эстонский поэт Вальмар Адамс, как и многие, гордился этим: «Я русский, русский гражданин!». Латыши тоже были русскими до начала гражданской войны и остались ими в ходе этой войны. Почему латыши взяли

сторону злодеев? Так карта выпала. Прельстились. Обманулись. В 1940-м расплатились за свою ошибку — хотя и без нее, конечно, достались СССР по соглашению с Гитлером; большевистский Кремль намеревался вернуть все утраченные имперские территории, исключая Аляску. С Деникиным латыши воевали не как латыши с русскими, а как русские с русскими. В армии Деникина тоже были латыши и прочие венгры.

Венгры, латыши, татары, китайцы (и откуда только они выскочили?), немцы (поволжские и пленные), чехи, румыны и прочий «европейский сброд», а с ними еще и «лица кавказской национальности», калмыки, мордва, и все — против русских! Всем миром, можно сказать. Но есть сильные опасения, что румынский или китайский вопрос в России решатся совершенно так же, как латышский и грузинский.

Теперь самое время поставить русский вопрос.

Он распадается на два. Первым идет «вопрос Гостомысла». Или «вопрос А. К. Толстого», если угодно. Толстой в своем русофобстве до того дошел, что во всей русской истории порядку не видел. Страна, мол, богата, а порядку нет. Должно быть, германофилом был. Германофилы давно додумались, что прочные государства только там возникли, где немцы прошли (в ходе великого переселения народов). Британия, Франция, Испания, Италия, даже Киевская Русь — все сложились после слияния с германскими племенами, на нордической закваске. Где ее меньше, там и прочности меньше (это про Россию). Вздор, конечно, но мы послушаем. Утверждают, что славян было море разливанное, от Магдебурга до Пелопоннеса, весь Дунай обсели, талантливые всё люди, но государственной жилки лишённые. Порядка не любили. Даже болгары, — и те государство создали со славянским большинством, а сами были в этих краях малочисленны. Самые отвратительные злопыхатели утверждают даже: вся очень неблагоприятная русская история с ее самоедством — следствие неумения русских ладить друг с другом, неуважения друг к другу, нехватки братской любви. И княжеские междоусобицы; и жестокости ГУЛАГа, где не инородцы среди палачей преобладали; и кулачные потасовки между государственными думаками в наши дни, где не китаец у латыша в морду просит, всё — отсюда. Немцев не хватило. Туповатый народ немцы, но что-то в нем есть.

Вторая, главная составляющая русского вопроса вот какова. Говорят, что русские — имя собирательное; что ни на одном этапе своей истории русские не были племенем, всегда — союзом племен (не всегда добровольным). Рюрик, мол, пришел княжить над славянами (точнее было бы: над словенами; имя «славяне» новое, его до 1618 года никто не слыхивал), над чудью (эстонцами) и над весью (вепсами), а сам скандинав был. Из чего выводят даже, что эстонцы — прав Вальмар Адамс! — самые что ни на есть русские: одно из немногих племен, не вполне растворившихся в московском котле народов.

Рюрик легендарен, говорите? Его не было? Пусть так. Но Игорь и Ольга были — и были варягами. Святослав Игоревич описан в византийских хрониках как типичный варанг (норманн, варяг). Ярослава саги знают как конунга Яришлейва из окраинной Гардарики. Варяги очень заметны на ранних этапах истории Руси. Заметны и финно-угорские племена, покрывавшие огромные территории, оставившие тысячи топонимов (среди которых такие как Мурманск, Вырица, Муром и самая Москва).

То есть: единый этнос, забрезживший на Руси ко времени Чингисхана, был не совсем славянский. О степняках мы еще забыли. Утигуры и кутригуры всякие. Оногуры. Сабирь-сувары, они же чуваша, которые только потом на север откочевали и осели. Всех не перечислишь. О князе Игоре из Слова о полку Игореве уже сказано, однако ж повторим, дело важное: этот русский оперный патриот, на деле свирепый честолюбец, был не менее чем на половину половец, и такое родство было нормой, а не исключением, степь непрерывно пополняла генофонд Руси. Тут пришел Чингисхан, и вот в XIX веке Достоевский французскую поговорку приводит: «Поскоблите русского, найдете татарина». Преувеличение, конечно, но Карамзин-то сам, а с ним Державин и еще многие свое дворянство по татарской линии прослеживали. Эпоха Иоанна III: кто строит «святыни московского Кремля», включая Успенский собор? Итальянцы да греки. Фрязины. Предок Лермонтова, человек военный, оттуда пришел, недаром потомок в стихах называет Шотландию родиной. Петровская эпоха: тут уж в русских ходит кто угодно, вплоть до африканцев. Революцию всегда делают руками тех, кто в традиции не укоренен. У Петра преобладали немцы всех мастей — да так, что и на престоле в итоге немцы оказались.

Большевики называли себя интернационалистами, но интернационализм понимали (или подсознательно трактовали) как русификацию. Вот уж кто кожей и нутром чуял, что русские — имя собирательное! По закону РСФСР «русским по паспорту» мог стать любой ребенок, родившийся на территории республики от родителей «разной национальности»: скажем, от литовца и туркменки. А раз мог, значит и становился. В такого рода конформизме не упрекнешь, он нормален, навязан жизнью. Оттого-то и разговоры о «чистоте крови» в России — пустая трата времени.

Опять видим: не стоит великороссам ставить вопрос об ответственности перед ними какого бы тот ни было народа из числа народов, не вполне растворившихся в великорусском этносе. Это растворение идет постоянно, хоть и в разной мере затрагивает разные не великорусские племена. Русский в России тот, кто считает себя русским, — даже если он мусульманин. Карамзин не случайно историю государства пишет, а не народа. Граф Витте оставил слова: «Не говорите мне о России. Я знаю только Российскую империю».

Можно, собравшись с духом, и такое сказать: вообще не бывает народной вины, вины народа перед народом. Бывают обиды, в том числе и вековые; бывает стойкая нелюбовь, куда тут деваться! — но правды в этом нет. Над обидами и нелюбовью нужно уметь подняться. Пусть нацисты начали войну против СССР — всё равно: немцы как народ ни в чем не виноваты перед русскими, украинцами, татарами. Виноват — ход истории, в которой нет логики и справедливости, а есть взрывы жестокости и остервенения, есть убийцы и безумцы. Виноваты болезни. Народы болеют совершенно так же, как люди. И болезни дают рецидивы. Немцы как народ были буквально растоптаны в ходе Тридцатилетней войны в XVII веке. Без тогдашних ужасов — и нацизма могло не случиться (хотя унижительный Версальский мир 1919 года и большевизм в России много способствовали возникновению этого бешенства).

Что? Я евреев забыл? Нет, евреев лучше не трогать. Тут разговор слишком долгий и для многих мучительный. Придется с хазар начинать, со времен, когда о Рюрике и слуха не было. Придется признать или отвергнуть, что Киев еврейями основан и что первый письменный документ Руси написан на

иврите. Придется признать (отвергнуть это невозможно), что евреи — племя на Руси коренное, старше титульного этноса: то есть что еврей (как и эстонец) может быть не в меньше мере русским, чем великоросс из московского котла народов, — и что он ровно столько же прав имеет на Россию. Попутно еще несколько ходульных мифов рухнут — например, о еврейской трусости в годы войны. Окажется, что по числу героев Советского союза они — на втором месте после русских идут (соответственно 6,83% и 7,66% на сто тысяч населения), и это притом, что русские — имя собирательное, а евреям перестали давать геройское звание в 1943 году. (Для сравнения: на третьем месте украинцы — 5,88%, на четвертом — белорусы — 4,19%.) Так что вообще еврейский вопрос отложим.

Если же поставить еврейский вопрос так, как мы ставили грузинский, то есть: виноваты ли евреи в большевизме, — то и ответ на него будет совершенно тот же, даже прозвучит еще более веско. Потому что Сталин лишь косвенно подводит нас к мысли, что он — русский. От своего народа он прямо не отрекается. Троцкий же в 1921 году сказал в глаза раввину Якову Мазе: «Я — не еврей», — и даже самое существование еврейского народа отрицал до первых нацистских погромов. Не считали себя евреями и другие «выходцы из евреев», отличившиеся в ходе русской революции. Они представляли в этой революции русский народ, говорили и действовали от его имени, на его языке. Они были русскими.

Передают, что Яков Мазе в 1921 году ответил комиссару так: «Делают революцию Троцкие, а расплачиваются за нее Бронштейны...» Это — второе, что приходится иметь в виду, ставя в связи с русской революцией грузинский, латышский или еврейский вопрос: да, революция (всё равно, петровская или большевистская) выдвигает людей, порвавших с традицией своего народа, — жертвами же в годы революционной и послереволюционной реакции в первую очередь становятся инородцы, связь со своим народом сохранившие.

ПУСТЫННЫЕ ВОЛНЫ

Те, кто постарше, помнят, как много значили для подсоветской России радиостанции *Свобода*, Би-Би-Си и *Голос Америки*. Особенно — Би-Би-Си. Стоило произнести это имя — и перед нашим мысленным взором возникала величественная твердыня, бастион британского духа, нечто строгое, сдержанно-корректное, вызывающее безусловное доверие. В России это чувство многократно усиливалось традиционной англофилией. Вспомним Александра Полежаева (1804-1838): «Английский лорд свободой горд...» — сколько в этом слышится подлинного восхищения аристократизмом и свободолобием островного народа!

Британская широкоэвещательная корпорация (Би-Би-Си) начала передавать по-русски в марте 1946 года — и стала первой в своем роде. Это был глоток свежего воздуха, «луч света в темном царстве». Она внесла ощутимый вклад в дело разрушения империи зла. (Оставим в стороне вопрос о том, почему на смену несомненному злу явилось не столь несомненное добро.) Она способствовала зарождению движения нравственного сопротивления в бывшей одной шестой, а ныне одной девятой части суши; она сообщала факты, просвещала, рассказывала о том, о чем в подсоветских странах трудно было узнать. Иначе говоря, помогала людям оставаться людьми в нечеловеческих условиях. Сквозь глушилки, сквозь клевету, ложь и ненависть большевистского Кремля — в забитую и задавленную страну попадала достоверная, не перекошенная предвзятостью информация. Не перекошенная еще и в смысле правильной перспективы: Советскому Союзу отводилось в передачах на русском немногим больше места, чем и в англоязычной прессе. Американские станции говорили по-русски преимущественно об СССР — и у слушателя могло возникать (и возникало) лестное, но безосновательное чувство, что весь мир занят исключительно «страной Советов» и очень ее боится. Американские радиостанции, к тому же, были открыто антисоветскими, а Би-Би-Си — ничуть; тут только правильные акценты расставлялись; незачем говорить, что этот путь — всегда более убедительный.

Теперь вся эта роскошь – в прошлом. В последние десятилетия культурный уровень всей корпорации (не только Всемирной службы, куда входит и русская служба) резко упал. К моменту разрушения Берлинской стены неблагополучие Би-Би-Си стало наглядным. С 1990-х британские газеты всё чаще сравнивают руководство корпорации с КГБ. Пишут, что Би-Би-Си – тоталитарное государство в миниатюре, устроенное на советский образец по принципу бутерброда: сверху – зажавшаяся номенклатура (новый класс, fat cats), снизу – бесправные работники. Выяснилось, что демократия (принципы которой Би-Би-Си обязуется проповедовать) не заложена в уставе и структуре корпорации. В точности как в СССР, подняться в верхний класс корпорации мог и может, вообще говоря, каждый ее сотрудник, но всё устроено так, что всплывает то, что легче. Подниматься все чаще стали откровенные циники, карьеристы, властолюбцы и недоучки. На определенном административном уровне такой начальник становится полновластным князьком, богатым владельцем, свободно и с шиком тратящим лицензионные деньги подушной радиоподати, на которую Би-Би-Си существует. Простор для злоупотреблений деньгами и властью открывается перед ним необозримый, прямо-таки советский. А тех, кто худо-бедно что-то делает на Би-Би-Си, держат в черном теле, все более и более тесня в правах и возможностях.

У иностранных русскоязычных станций советской поры была еще одна важная миссия. Они не только сообщали то, о чем не писали *Правда* и *Известия*; не только показывали возможность другого взгляда и осмысления событий, – они боролись с казенным, выхолощенным языком советских газет, с пошлой и подлой советской речевой нормой, точнее, отрицали ее – живым, проникнутым мыслью языком культурных и думающих людей. Об этом тоже приходится теперь говорить в прошедшем времени.

Давно замечено, что победители перенимают болезни побежденных. Победители нацистов привезли из Берлина в Москву антисемитизм, дорого обошедшийся России. Развал Советского Союза – косвенное следствие этого трофейного продукта. Когда евреи проголосовали ногами, другие народы задумались. С эмиграцией начались утечка мозгов и упадок

российской науки. В наши дни некоторые отрасли этой науки просто сошли на нет — совершенно как в Германии после прихода к власти Гитлера.

Запустение наступило и в эфире. С 1991 года начинается упадок западных русских радиостанций. Сотрудников стали нанимать в России. Руководство исходило из того, что выбор там шире, чем среди эмигрантов, а страна теперь свободна. Как это нередко бывает, верная мысль привела к непредсказуемым и негодным результатам.

Сперва сработало правило сообщающихся сосудов: к середине 1990-х установился общий культурный уровень радиопередач внутренних и внешних. Из Лондона и Мюнхена (а затем из Праги) стали говорить тем же деревянным языком, что из Москвы, — языком советских передовиц. В нем слышались армейские нотки и скрип кирзовых сапог. Былой артистизм сменился мякиной. Из языка ушли жизнь и подлинность, а значит — и убедительность.

Появилось и нечто новое: прямая безграмотность.

Большинство идущих в эфир текстов — в том или ином смысле переводные. Переводят в основном с английского. Культурный переводчик знает, что дословный перевод делает фразу непрозрачной для русского уха, а то и вовсе смысл искажает. Он помнит, что порядок слов в английском и русском тексте обратный. По-английски скажут: «Бомба взорвалась в Багдаде вчера», что по-русски — почти бессмыслица. Но именно так и стали звучать на зарубежных волнах русские тексты, наскоро переведенные людьми, не дорожащими языком, не понимающими его природы. С распространением интернета эти тексты появились и в написанном виде.

К началу нового века вольные сыны и дочери эфира растеряли последние остатки культуры. Их продукция кишит такими перлами как «гвинейские свиньи» (guinea pigs, морские свинки, что в политическом контексте всегда означает *подопытные кролики*) или «награда свободы города» (the freedom of a city, почетное гражданство). Тут — не то что незнание русского, тут незнание английского: ведь владение языком предполагает умение находить в родном языке эквиваленты иноязычным словам и оборотам. Дикий смысл произносимых по-русски слов не тревожит помутненного сознания произносящих.

Им всё равно. И вот мы слышим, не веря своим ушам: «последний ужин» (вместо *тайная вечеря*), «популярный фронт» (вместо *народный фронт*) и даже — «популярный (то есть *народный*) гнев».

Тон в этом триумфальном шествии маразма опять задает Би-Би-Си. Примеры взяты из передач этой радиостанции. Некогда она стояла выше других — зато и упала ниже.

Особое место занимает в этой новой культуре интерпретация имен. *Свобода* по крайней мере один раз назвала папу римского Иоанна-Павла II — Жаном-Полем II (репортер был из Парижа). На Би-Би-Си вовсе забыли русскую традицию наименования королей: Яков у них непременно Джеймс, Иоанн Безземельный — Джон, Вильгельм Завоеватель — Уильям (спрашивается, почему не Гийом? сам-то он называл себя именно так). И страшно подумать, что будет с русским языком, когда умрет ныне царствующая британская королева: на престол, чего доброго, может взойти король Чарльз III — это после Карла I и Карла II. Так что — «Боже, храни королеву»!

На сайте русской службы Би-Би-Си читаем вещи просто позорные. Берем наугад первые попавшиеся заголовки или подписи к картинкам:

«Ну какое день рождение без торта!»

«В Багдаде убит судья, который будет судить Садама Хусейна...»

«Не все “подфлажные” экипажи имеют страховые полиса...»

«На протяжении прошлых веков большим понтификам либо становилось лучше, либо они довольно быстро умирали...»

«Неделю назад топ-модель обвинили в злоупотреблении наркотиков...»

Напрочь забыто, что составные иностранные названия (Нью-Йорк, Сан-Франциско) пишутся по-русски через дефис. Сплошь и рядом читаем: Куала Лумпур, Биг Бен, Франс пресс. Если не отклоняться от правил русского языка, то выходит, что люди могут, например, назначить встречу «под Бигом Беном» или прилететь из Лоса Анджелоса.

Особое место занимает калькирование с английского — вроде: «Мы глубоко шокированы серьезным инцидентом...» Конечно, этот ляпсус — московского происхождения. В Москве уже давно

к микрофонам сели люди, едва знакомые с английским и никогда толком не знавшие русского. Но в том-то и дело, что раньше на Би-Би-Си, где английский знали сносно, такое было бы невозможно. По-русски *шокировать* всегда означало ставить в неловкое или неприятное положение. Никто этого значения не отменял. А вот по-английски to shock — поражать. Оба значения прекрасно подходят для характеристики происходящего на Би-Би-Си: мы и поражены, и шокированы. Но инцидент (на самом деле там речь шла о несчастье) — не шокирует, а поражает, потрясает.

Другая рабская калька с английского — «успешный человек». Успех по-русски — событие, а не состояние; нечто одноразовое, без протяженности. Успешной бывает экспедиция, авантюра. Человек бывает преуспевающим, компания — процветающей.

Старшему поколению сотрудников Би-Би-Си этих азов объяснять не нужно было; новому — объяснять бесполезно.

А какая прелесть, скажем, слово *таргетированный*! Человек, его придумавший, хотел показать, что знает английское target (цель). Умница! К чему все эти русские словечки вроде *целенаправленный, целевой, целеустремленный*. Они устарели, примитивны, не отвечают запросу дня.

Те, кто помоложе, давно привыкли к уродливым калькам. Не все сознают, что, например, слово *имидж*, уже и в словари попавшее, теснит, обедняет и сужает русский язык, отменяет слова *облик* и *образ*, не говоря о давно вживленном заимствовании — слове *репутация*. Последнее много лучше *имиджа* хотя бы потому, что в русском написании не искажает латинской первоосновы. *Имидж* безобразен, если вспомнить, что он, собственно, image. Куда имажинистов девать будем? В *имиджемистов* переделаем? Это словечко — двойное заимствование, французское слово пропущено через темзинский диалект, оттого и уродливо.

Ну и еще многое. Меры у этих молодцов и молодых — *предпринимаются*, встреча двух футбольных команд (одиннадцать на одиннадцать) — *поединок*, власть — место, а не состояние («имярек рвется во власть»).

Совершенно забыто, что местоимение *вы* пишется с прописной буквы только в письмах: в официальном письме к одному лицу. Это — эпистолярная вежливость; вроде

обращения «милостивый государь. К двум и большему числу лиц — вообще всегда и всюду со строчной. Ну, да где там! Они слышали звон.

— Так говорят и пишут в Москве, — оправдываются лондонские москвичи. Что ж, гляди на слепого — коли себе глаз...

Верно и то, что не вся беда — в радиожурналистах. Бескультурье коснулось и академических кругов. В известном смысле оно даже исходит оттуда, ведь у всех эфирных недоучек есть хоть какие-то дипломы о высшем образовании (давно переставшем быть не то что высшим, а хоть высоким). В Москве, а не в Лондоне придумали писать «Би-би-си» вместо «Би-Би-Си». С чего бы вдруг? В этом нет ни логики, ни смысла. С таким же успехом название «Московский комсомолец» можно сокращать как «Мк», а не «МК». Ссылаются на Д.Э. Розеталю как на последний авторитет. Но здесь профессор грамматики недодумал. За новизной погнался. Норма, установленная в советское время, ближе к истине. Большая советская энциклопедия дает: Би-Би-Си. Эту форму не идеология людям подсказала, а здравый смысл и законы родного языка.

Повторим еще раз: не вся беда в радиожурналистах, но признаем и то, что они — в авангарде распространителей порчи языка. Тут пальму первенства никто у них не отнимет.

Скажут: язык меняется, процесс этот закономерен и неизбежен. Добавят, что старики всегда брюзжали по поводу порчи языка. Согласимся с этим в принципе, а возразим в частности.

В начале XIX века карамзинисты перестроили русский язык, вместо немецкого скрипичного ключа поставили перед ним французский. В ту пору казалось, что мировым языком вот-вот сделается французский. Возможно, сейчас стала неизбежна перестройка на английский лад. Но, во-первых, карамзинисты все сплошь были культурнейшими людьми своего времени, тогда как сегодняшние радиожурналисты — ... ну, мы видели, кто они такие; а во-вторых и в главных, русский язык уже давно вышел из того возраста, когда нуждался в жесткой опеке другого, пусть и более развитого, языка.

Да, вполне избежать влияний языка, грозящего стать планетарным, скорее всего, невозможно, но этому влиянию

можно и нужно противиться. Если будем потакать, останемся без великой русской литературы прошлого, без Пушкина и Толстого; при сегодняшних темпах языкового перерождения их уже через пятьдесят лет со словарем читать придется. То есть останемся, собственно говоря, почти ни с чем. Если мы не слепы, нам придется признать, что русская литература (преимущественно XIX века) есть главное достояние, главное природное богатство России, первое, что уравнивает эту страну с другими большими европейскими странами. В ее основе — дивный русский язык крамзинистов. Про него еще сравнительно недавно Ходасевич сказал с гордостью: «Он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен». Ахматова тоже верила, что у этого языка есть будущее: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Теперь под этими словами не подпишешься. Долгожданное народное словотворчество грозит разделаться с русским языком. А это значит — и с Россией. Ведь если вся Россия перейдет на испорченный английский (точнее: американский), в ней просто нужды не будет. Утратится главное, что держит вместе людей, и без того разобщенных и озлобленных друг на друга. Центробежные силы в стране и без того слишком сильны. Это только на первый взгляд кажется парадоксом, а на деле более чем правдоподобно: если язык уйдет, страна сама собою рассосется, исчезнет с географической карты без всякого военного или экономического вмешательства — за полной ненужностью. Так что защищая язык, мы защищаем родину. Вот только защитим ли? Пустынные волны омывают наше сознание днем и ночью. Прибой не умолкает.

III. ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

ЛОРД АКТОН: СВОБОДА И НРАВСТВЕННОСТЬ

«Всякая власть развращает; абсолютная власть развращает абсолютно», — писал в 1887 году британский историк и политический мыслитель лорд Актон. Устарели ли эти слова в XXI веке? Ничуть. Абсолютных монархий нет, но авторитарных режимов и диктатур предостаточно. Пусть, однако, таковых не станет; пусть государство вообще отомрет, как нам обещал это Уильям Годвин и анархисты, пусть не будет и семьи, — ничего в этой формуле не пошатнется. Властолюбие неискоренимо и всегда будет находить себе пищу. Перед нами универсальный закон.

Но эти слова — лишь эпиграф к Актону. Лейтмотивом Актона как мыслителя был вопрос о взаимоотношении политики и нравственности, а главной темой — история свободы. Из философов прошлого он выделил как своих противников Хрисиппа (280–206 д. н. э.) и Макиавелли (1469–1527). Первый, будучи основоположником предикативной логики, в этике отстаивал моральную автономию субъекта, держался дуализма, согласно которому «невозможно одновременно угодить и богам, и людям».

Актон надеялся снять это противоречие. Позиция Макиавелли известна: государство, во имя стабильности, может и должно быть безнравственным. (Додуматься до этого мог только человек, своими глазами видевший ужасы безвластия в средневековой Италии.) Актон не верит Хрисиппу и Макиавелли. Как и его современник Владимир Соловьев, он убежден, что человечество совершенствуется (по Соловьеву, идет «от людоедства к братству»).

Через призму нравственности Актон воспринимает и свободу, которая (поскольку властолюбие неискоренимо) достигается только в борьбе, в результате равновесия сил. На внешне-политической арене залогом свобод стало крушение империй, ограничение их власти. Во внутренней политике свобода равнозначна надежно установленным и защищенным *правам всевозможных меньшинств*. Национализм вредит делу свободы; наоборот, смешение племен и конфессий в одном государстве ведет к свободе. Швейцария свободна потому, что в ней живут различные и недолюбливающие друг друга этнические группы; Великобритания и Австро-Венгрия своими свободами обязаны национальной и религиозной пестроте. Актон, тем самым, отвергает учение своего старшего современника Джона-Стюарта Милля, согласно которому для создания свободного общества необходимо, чтобы границы государства совпадали с границами расселения этнически однородного племени.

В этом Актон опередил свое время и предсказал наше. Социологи и этнографы XX века рисуют общество будущего как двухъярусное: состоящее из общин со своими верованиями, ценностями и наречием — под общей крышей одного государства с общим для всех законодательством и языком. В значительной степени это будущее наступило. Дорогу ему проложили Великобритания и США, когда уравнили в правах негров.

Говоря о древних, Актон напоминает нам, что абсолютная демократия — явление на деле еще более страшное, чем абсолютная монархия. От подавляющего большинства укрыться некуда. Воля этого большинства, если она не сдержана представлением о высшей правде (конституцией), может быть и преступна, и самоубийственна. Афинская демократия времен первого морского союза была для внешнего мира, для покоренных и поработанных полисов, прямым отрицанием свободы — недаром все мыслители древности проклинают ее с таким поразительным единодушием. Именно она на многие столетия отвратила человечество от республиканского строя, ставшего в средние века символом произвола и самоуправства.

Джон-Эмерик-Эдвард Дальберг, первый барон Актон, родился в 1834 году в Италии, в Неаполитанском королевстве, где его дед по отцу, английский баронет, был сперва флотоводцем, а затем всевластным и жестоким премьер-министром. Мать будущего историка происходила из старинной немецкой

аристократической семьи, родоначальником которой, согласно легенде, был — странно вымолвить — кто-то из родни Иисуса Христа, а по тайным апокрифическим верованиям — даже и сам Спаситель. Учился Джон Актон сперва в Англии, затем в Германии; путешествовал по Европе и США. Вернувшись в Англию после окончания образования, он попробовал себя в политике: был избран в палату общин, где, говорят, не проронил ни слова. Почему он молчал? «Я не согласен ни с кем — и никто не согласится со мною», — вот его ответ. Но влияние на политику он все же имел — через вожда викторианских вигов, премьер-министра Уильяма Гладстона, прислушивавшегося к его советам.

Как и все в его семье, Актон был верующим католиком. В годы стагнации католицизма, когда Герцен предсказывал, что сутану вскоре можно будет увидеть лишь в музее, Актон выступил поборником либерализации институтов Ватикана, чем навлек на себя гнев знаменитого папы-реакционера Пия IX (того самого, что выдвинул доктрину непорочности пап и ввел догмат непорочного зачатия).

Приглашенный на коронацию Александра II, Актон побывал в России, откуда, среди прочих, вывез и такое наблюдение: «Коррупция в официальных кругах, которая разрушила бы республику, в страдающей от абсолютизма России предстает как благодная отдушина». Общий строй мыслей в России он нашел незрелым и заключил, что свобода в этой стране — дело неблизкого будущего. Актон недоумевает по поводу странной особеннности русского общества: в нем господствовала вера в то, что русское правительство меньше вмешивается в церковные дела, чем правительства многих западных протестантских стран. Для него очевидным было обратное.

Вполне понятно, как Актон оценил российское самодержавие. Приобрело известность его высказывание о том, что он предпочел бы судьбу швейцарца, лишённого малейшего влияния за пределами своего скромного кантона, — судьбе гражданина великолепной Российской империи со всеми ее европейскими и азиатскими владениями, — ибо первый, в отличие от второго, свободен. О Герцене, рассуждавшем и поступившем именно так, он не слышал, а вот маркиза де Кюстина, можно не сомневаться, читал; знал его слова: «Раб, стоящий на коленях, мечтает о мировой империи».

Историей Актон увлекся еще в юности и не переставал заниматься ею всю жизнь. Он непрерывно читал, много работал в архивах, а писал мало. Уже совсем немолодым человеком он сделался профессором новой истории в Кембридже — при том, что за всю свою жизнь не издал ни одной книги. С ученым-историком в нем всегда уживались (и боролись) моралист, публицист и проповедник. Актон выработал особую форму исторического труда: лекцию-эссе. Из таких текстов его ученики и последователи составили в начале XX века несколько книг, изданных посмертно.

Работы Актона несут в себе колоссальный заряд энергии и вдохновения. Он был сторонником школы немецкого ученого Леопольда фон Ранке (1795-1886): стоял за полное беспристрастие в истории. В историческом тексте историк должен отсутствовать. Следуя этим путем, мы, в конце концов, сможем достичь того состояния непредвзятости, при которой представители двух во всем противоположных точек зрения, образования и культурных основ полностью сойдутся в своем суждении об исторической личности: христианин и язычник в одних и тех же словах опишут вам Лютера, патриот французский и патриот немецкий — Наполеона. На деле Актон понимал недостижимость и противоречивость этого идеала. Живое пристрастно. Самое беспристрастие чаще всего заявляет о себе как страсть. Но идеал — потому и идеал, что высокие души влекутся к нему, помня о его неосуществимости.

Сознавая, что страсть соприродна творчеству, Актон нашел для нее своеобразный выход. Инструментом постижения истории становится у него литературный стиль: несколько тяжеловесное, но возвышающее над обыденностью красноречие, построенное на густой игре ассоциаций и многозначительных, красноречивых пропусках семантических связей. Эссе Актона напоминают стихи Осипа Мандельштама, где эпитет обшаривает мрак подобно лучу прожектора. Историю (как и человеческую душу) нельзя пересказать полностью. Любой эпизод при желании можно развернуть в эпопею, но тогда утрачивается целое. Поэтому текст должен быть сгустком, слитком — без пустот и каверн. Очерки Актона организованы так, что постоянно будоражат читателя, побуждают его к деятельности, к спору с автором — и к работе с первоисточниками. Это своего рода исторический импрессионизм, дающий чувству не меньше пищи, чем мысли.

Можно только пожалеть, что, Актон практически не известен в России. Единственное издание его работ вышло по-русски в 1992 году в Лондоне, в издательстве *Overseas Publications Interchange Ltd.*, под названием. *Очерки становления свободы*, и с тех пор не переиздавалось.

ДИССИДЕНТ ПО-БРИТАНСКИ

Стоит произнести: Грэм Грин, и мы оказываемся перед вопросом. Этот вопрос возник сразу, как только к Грину пришел успех, сопутствовал писателю всю жизнь, разрастаясь вместе с успехом, и по сей день остается первым, что приходит на ум в связи с Грином. Этот вопрос не только Грина касается, а вводит нас в сердцевину важнейшего литературоведческого спора современности. В самом упрощенном виде он звучит так: может ли в наше время высокая проза быть занимательной, а большой писатель — популярным, то есть коммерческим? Отчетливо помню, как после смерти Грина (он умер 3 апреля 1991 года, в городе Веве, швейцарском курорте на берегу Женевского озера) все опять кинулись спорить — и столько всего наговорили!

Если от упрощения отказаться и вопрос развернуть, то придется еще и вот что спросить: нужен ли (и возможен ли) реалистический психологический роман в эпоху психологии и психоанализа? Не исчерпал ли себя этот жанр с его пиком в XIX веке, после Толстого и Достоевского?

ГДЕ И КОГДА

Грэм Генри Грин родился третьего октября 1904 года в городке Баркемстэд, графство Хардфордшир, в семье директора местной школы. В этой школе он и учился. Приходилось ему несладко. Положение вынуждало его к двойной лояльности, к шпионажу и в пользу дирекции, и в пользу однокашников. (Потом он убедится, что писательство сопряжено предательству. И еще скажет: «В сердце писателя упрятан кусок льда».) Не удивительно, что из школы он в конце концов сбежал. Его отловили с признаками психического расстройства, с самоубийственными настроениями (позже он признавался, что играл в «русскую рулетку»: приставлял к виску револьвер, в барабане которого был один патрон) и отправили в Лондон — к психоаналитику, у которого будущий писатель жил во время лечения. Затем Грин учился на историка в Оксфорде,

в Бэллиольском колледже, курса не окончил, в 1925 году напечатал сборник стихов под названием «Лопочущий апрель», а в 1926 году перешел в католицизм — под влиянием Вивьен Дэйрел-Браунинг, на которой женился через год, то есть в возрасте 23-х лет.

С 1926 по 1930 год Грин работал помощником редактора лондонской газеты «Таймс». Первый роман «Внутренний человек» вышел в 1929 году и был отмечен знатоками. Грин уходит из «Таймса», в основном — на вольные журналистские хлеба. Какое-то время он работал литературным редактором журнала «Спектейтор», главным же образом писал рецензии, преимущественно — на кинофильмы, то есть занимался журнальной поденщиной. Следующие три десятилетия он развезжает по планете в качестве журналиста-внештатника.

Первый экранизированный роман — «Поезд идет в Стамбул» — появляется в 1932 году. Его и последующие три романа сам писатель определяет как вещи развлекательные — и этим словно бы отгораживается от большой литературы. Ставка на успех у читателя оправдалась: Грин делается популярен.

Дальше идут романы уже просто знаменитые: «Третий», «Брайтонский леденец» (поначалу переведенный в России как «Брайтонский утес»), «Власть и слава» (название тоже переведено на русский неверно — как «Сила и слава»; заметим, что знаменитая цитата из Фрэнсиса Бэкона, давшая название московскому журналу «Знание — сила», переведена с тем же характерным искажением; правильный перевод: «Знание — власть»), «Суть дела», «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Комедианты». Всего Грин написал 26 романов (десять из которых экранизированы), десять пьес, множество рассказов и очерков.

Жил Грин в последние годы на юге Франции, в Антибе, между Нищей и Каннами, — можно сказать, в добровольном изгнании, почти в эмиграции, ибо не ладил с британским истеблишментом. Но была и другая причина. Он рано расстался с женой — и, будучи католиком, не мог жениться вторично. В Антибе его удерживала многолетняя привязанность к Ивон Клоэта, во всем — если забыть о церковном благословении — подобная супружеству. «Только любовь, — говорил Грин, выворачивая наизнанку расхожую мудрость, — сообщает близости полноту...»

РОМАНЫ

Грина прочли во всем мире, и запомнился он именно романами. Действие первых происходит на родине, в Англии. Действие последующих Грин переносит в страны третьего мира, находящиеся на пороге политических катастроф. Возникает так называемая Гринландия — совокупность горячих, неблагополучных точек планеты, воссозданных писательским воображением. Особенность этих романов в том, что мировое зло присутствует в них как ясно осязаемая деятельная сила, а герои, сломленные жизнью люди, находятся в тяжелейших нравственных тупиках. Неизбывная греховность мира и человека, человек в непрекращающейся борьбе с самим собою, святость грешника, плут, умирающий как герой, — вот тема Грина. Его всегда и везде в первую очередь интересует «внутренний человек» в трагических пограничных ситуациях и — на авансцене истории. Недаром своей эпитафией Грин хотел видеть стихи из «Апологии епископа Блаугрэма» Роберта Браунинга:

Our interest's on the dangerous edge of things.
The honest thief, the tender murderer,
The superstitious atheist, demirep
That loves and saves her soul in new French books...

«Нас интересует все пограничное, опасное: честный вор, нежный убийца, суеверный атеист, женщина новых французских романов, которая любит — и всё-таки спасает свою душу...»

Гринландия сообщает человеческим трагедиям планетарный размах, превращает прозу Грина в своего рода золотое сечение эпохи, исследуемой художественными средствами.

Святость грешника в романе «Суть дела» (1948), который многие считают лучшим произведением Грина, навлекла на автора проскрипцию Ватикана (и гнев другого писателя-католика, Ивлиана Во). Позже отношение церкви к Грину смягчилось. Папа Павел IV (1963-1978) признал, что прочел книгу Грина с наслаждением, и добавил, что хоть она всегда будет оскорблять чувства некоторых католиков, автору не следует обращать на это внимания.

Любовь у Грина всегда греховна, мучительна, а грех — притягателен. «Вождление всё неимоверно упрощает» (читай: снимает все проблемы — и совести, и религии), — вот еще одно из его знаменитых и характерных высказываний. Его героимужчины, даже самые безнадежные, ведут себя очень по-мужски, женщины — очень по-женски. Герой и героиня не ищут мистического слияния друг с другом, как в иных романах русских классиков. Они взаимодействуют в жестком и очень западном противостоянии. Разрыв угадывается в контексте повествования как обещание свободы, как свет в конце туннеля...

Грин верил, что быть писателем предназначено ему свыше. Он задавался вопросом: «Как могут жить и помнить о смерти люди, которые не пишут?» Он говорил, что никогда не дожидался вдохновения — иначе просто не написал бы ни строки. Вдохновение приходит, когда начинаешь работать.

Разумеется, Грин — пессимист. Но пессимизм его — не кафкианский, он часто оставляет место надежде, согрет сознанием того, что мир велик, а будущее непредсказуемо. Как теплый живой сумрак на потемневших полотнах старых мастеров, он словно уводит нас в иное измерение.

ДИССИДЕНТ

Всю жизнь Грин был диссидентом — и на очень английский лад. Католик в Великобритании — всегда чуть-чуть другой, чуть-чуть отщепенец, подозреваемый в неблагонадежности. Со времен Генриха VIII не сходит с повестки дня вопрос: может ли католик быть истинным британским патриотом? Ответа нет и сегодня, зато вопрос уходит — уходит вместе с угасанием религиозности и патриотизма, по мере всё более осязаемого превращения цивилизованного мира в одну большую деревню. Британия с ее космополитизмом всегда была передовой в этом отношении страной.

В какой мере Грин был религиозен? В значительной, если судить по его романам и высказываниям. Верил в загробную жизнь, в чистилище. Не верил в ад и сатану. Сомневался во многом. Знал, нужно полагать, что *religio* переводится с латинского как сомнение. Понимал, что сомнение

плодотворно. Об Иоанне-Павле II говорил: «Не думаю, чтобы у него были сомнения. Не думаю, чтобы он сомневался в своей непогрешимости...» В 1926-м, при крещении в католичество Грин взял имя Томас — не в честь Фомы Аквинского, как можно было бы подумать, а — в память Фомы неверующего, первого диссидента в христианстве.

Диссидентство, бунтарство — было у него в крови, распространялось на всё установившееся, на всякий истеблишмент, а есть ли что-либо более установившееся, чем римская церковь? «Я — католический агностик», твердил он. С годами агностицизм чувствовался в нем всё сильнее, а католицизм — всё слабее. Он всё больше смущался неблагоприятными проявлениями Творца.

Был Грин диссидентом и в другом смысле: как многие европейские интеллектуалы, заигрывал с левыми, какое-то время даже состоял в коммунистической партии. В годы становления Гринландии коммунизм представляется ему этаким мистической воинствующей церковью будущего. «Коммунисты виновны в тягчайших преступлениях, — говорит герой романа “Комедианты”, — но они по крайней мере не стояли в стороне, как преуспевающие и ко всему равнодушные обыватели. Я предпочитаю видеть на своих руках кровь, а не воду, которой умыл руки Пилат...» Подход до боли знакомый, романтический и жестоко-наивный.

Та же политическая наивность подогрела антиамериканизм Грина, побуждала его брататься с Фиделем Кастро, с панамским диктатором Омаром Торрихос-Эррерой, с сандинистским правителем Никарагуа Даниэлем Ортегой.

С кремлевским большевизмом Грин тоже заигрывал — и его охотно переводили в советской России. Он дружил со знаменитым советским агентом в Британии Кимом Филби, закончившим свои дни в Москве. Сам Грин агентом Кремля не был, наоборот, в годы войны служил в британской разведке. О тайной деятельности Филби ничего не знал. Для него Филби был коллегой и приятелем. Зато Филби кое-что извлекал из этого приятельства. В военные годы он направлял деятельность Грина из Лондона, а Грин передавал ему секретную информацию, между делом раздобытую им в тогдашнем английском протекторате Сьерра-Леоне (где разворачивается действие «Сути дела»). Когда Филби стал перебежчиком,

Грин — под неодобрительные возгласы соотечественников — написал хвалебное предисловие к его мемуарам «Моя безмолвная война» и всегда впоследствии защищал Филби. «Он сражался за идею, в которую верил. Продажен не был. Что до лжи, то кто в политике не лжет? Возьмите хоть Рейгана...»

Лишь дело Даниэля и Синявского в 1966 году приоткрыло Грину глаза на природу советского режима. Западный человек, он не понимал, как можно посадить в тюрьму за книгу, просил советские издательства отчислять причитающиеся ему гонорары женам посаженных, натолкнулся на стену — и прекратил печататься в СССР.

РАЗНОГОЛОСИЦА

Что же говорили о Грине британцы в год его смерти? Оберон Во, друг Грина, сын писателя Ивлина Во, назвал Грина «последним из гигантов недавнего прошлого». Нобелевский лауреат Уильям Голдинг сказал, что романы Грина — одно из вершинных достижений литературы. Кингсли Эмис полагал, что Грин велик не только в своих романах, но и в рассказах, — сочетание не частое.

Джон Ле-Карре назвал себя учеником Грина.

Но и самые щедрые похвалы сопровождались оговорками. То и дело слышалось: Грин — всё-таки отчасти газетный борзописец, проданся голливудской Мамоне.

Анита Брукнер считала, что Грин — «британский Франсуа Мориак», что «он остался в своей эпохе, весь принадлежит 1930-40-м годам». Очень по-советски журила его за пессимизм. Автор «Механического апельсина» Энтони Берджесс упрекал Грина в отсутствии панорамного охвата современного мира. Подчеркивал: слишком уж он был популярен, слишком кинематографичен, прибегал к избитым приемам.

Среди русских (а в России Грина знали все, кто вообще читал) в хоре похвал и восторгов прозвучали слова о том, что Грин неисправимо старомоден, да и психологический роман устарел, не соответствует духу века, является пережитком.

АНТИ-НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Грин был так популярен, получил столько наград и премий, что в их списке просто бросалось в глаза отсутствие нобелевской. Как она могла обойти такого писателя? А вот как: шведский академик, поэт и романист Артур Лундквист заявил, что «этот детективный автор» (так он определял Грина) получит премию только через его, Лундквиста, труп. Трупа не случилось. Точнее, он случился через два месяца: Лундквист умер в декабре того же 1991 года, словно бы выполнив свое земное предназначение. Смерть его прошла незамеченной. Есть опасения, что в историю литературы этот лауреат международной *ленинской* премии (1958) войдет только в связи с Грином.

В Америке Грина ценил не только Голливуд. Непростые отношения с Вашингтоном (в 1954 государственный департамент не позволил Грину, противнику вьетнамской войны, арендовать участок земли в американском протекторате Пуэрто-Рико) не помешали в 1961 году Американскому институту искусств и словесности назвать британца своим почетным членом. Позже Грин слагает с себя это отличие, но дорожит другими международными наградами и почестями. Гамбург присуждает ему шекспировскую премию, университеты Эдинбурга, Оксфорда и Москвы — звание почетного доктора, Франция — орден почетного легиона, а Бэллиольский колледж Оксфорда (Грином не оконченный) — почетное членство.

ПОСИЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Итак: кто же перед нами? Велик ли Грэм Грин? Daily Telegraph в 1991 году писала, что до Толстого и Джойса он не дотягивает (не понимая, что эти два имени плохо стоят рядом, что они — очень разного масштаба).

Произнесем и мы свои посильные соображения. Дотягивает ли до Толстого, не знаем. Уж больно монументален яснополянский старец в нашем русском сознании. Что до Джойса, то тут мы опять возвращаемся к вопросу: чем должна быть художественная проза? Ответов два. Один в духе Лундквиста и университетских филологов, в духе эстетической левизны. Нас поучают с кафедры, что в основе добротной прозы

должен лежать филологический изыск, а не занимательность. Нужно что-то новенькое и душещипательное. Нужен прогресс. В других-то областях прогресс есть, значит, и в искусстве он должен быть. Так сказать, *excelsior*: всё выше и выше. Куда там до нас Шекспирам да Шиллерам! Они наивны.

Другой ответ — в духе, решусь вымолвить, здравого смысла. Изыск и новизна сами по себе никакой эстетической ценностью не обладают. Проза должна быть увлекательна, психологична, кинематографична. Даже детективный элемент — не беда. Первым детективным писателем был, как никак, Достоевский, «ясновидец духа». Подлинная и непреходящая новизна — в индивидуальности писателя, в том, что он не только увидел мир по-своему, но и создал, и нам показал это свое неевклидово пространство.

Прогресс в искусстве — вздор. Ему просто неоткуда взяться. В ходе столетий человек даже умнее не становится, не то что крупнее. Наоборот, мы мельчаем. Чем нас больше на этой планете, тем меньше неповторимого в каждом из нас, тем меньше отпущено нам земли, воздуха и души. Наш генофонд — слабый, разбавленный нуклеотидный бульон в сравнении с генофондом древних. Искусства сходят на нет, умирают (см. Хосе Ортегу-и-Гасета и Владимира Вейдле). Повзрослевшему человечеству они нужны всё меньше и меньше. Уже одно то, что мы ждем от искусства новизны, — свидетельство нашего душевного и духовного обнищания. В хорошие времена от него ждали истины, откровения.

Если мы примем это, мы тотчас увидим, что психологический роман не устарел. Устарела — психология. Никогда эта псевдонаука не откроет нам того знания о человеке, которое мы получаем от подлинного писателя. Давно отмечено, что все громкие открытия психоанализа преспокойно присутствуют в произведениях настоящих писателей и поэтов. Грин переживет Джойса, который — всего лишь дань моде. Джойс и сейчас уже скучен. Его не читают, им бряцают, его изучают. Еще немного — и его последним прибежищем станет университетская кунсткамера: печальный паноптикум несостоявшихся писателей. В России то же самое давно уже произошло с Хлебниковым и ему подобными.

Психология устарела потому, что она тоже всегда была данью моде — и ничем больше. Всю правду, которую сказали нам психологи и психоаналитики, они сказали нам как писатели и мыслители, не как ученые. Подлинная психология как отдел философии существует с древности. Едва она стала университетской дисциплиной, как начала линять. Такова же и судьба других новоизобретенных наук, в первую очередь истории. Великие историки прошлого — всегда были еще и великими писателями (вспомним: вторая по счету нобелевская премия *по литературе* была в 1902 году присуждена не писателю, а *историку* Теодору Моммзену). А где теперь Моммзены, не говоря уже о Фукидидах? Обмельчали под сенью кафедр и зарплат. Писатель и мыслитель — всегда авантюрист, всегда работает на свой страх и риск, всегда бросает вызов миру и Богу... Не говорим о других подобных же псевдонауках, среди которых по праву первенствует литературоведение, самая анекдотичная из университетских дисциплин. Афанасий Фет, помнится, проезжая мимо московского университета, всякий раз опускал стекло кареты и смачно плевал в сторону этой цитадели просвещения. Кучер уже знал, что нужно остановиться. А ведь Фет не дождал до сегодняшнего срама. Сегодня он с полным правом плюнул бы и в сторону Сорбонны, Оксфорда и Гарварда.

Грин представляется мне лучшим английским писателем двадцатого века. Лучшим — не в том смысле, что он выше всех, а в том смысле, что никто не выше его. Рядом с Толстым — карликом не кажется. Слияние автобиографичности с вымыслом у него — именно толстовское: идеальное. Он принадлежит своей эпохе не больше, чем Диккенс — своей, и эту эпоху нам возвращает, в чем и состоит одна из важных задач искусства. А тем, кто говорит, что приемы Грина избиты, придется рано или поздно признать, что *все приемы избиты*, что «это уже было под солнцем», и что прием, пусть и самый изысканный, всё-таки не более, чем прием. Например, находке Джойса — три тысячи лет: она прямо взята из Библии. Новизну в ней могли усмотреть только те, кто в этот источник не заглядывал. Джойс пройдет, как с белых яблонь дым. А Грин — останется. Не повредит ему и его политическая наивность. Ведь пережил же Толстой толстовство.

УОЛЛИС И КОРОЛЬ

— Привет, я — Уоллис! — так представлялась эта женщина. Проста была в обхождении донельзя — но, разумеется, только в своем кругу. В остальном — не очень проста. Или даже совсем непроста.

Роковая женщина — иначе про нее не скажешь. Ради нее король и император, над чьими владениями не заходило солнце, отрекся от престола. Случай нечастый, чтобы не сказать: первый и единственный. Вдобавок — нарушение, а значит и оскорбление, тысячелетней британской традиции, неписанной британской конституции. Где и когда случалось подобное? Всплывают в памяти Антоний и Клеопатра. Похоже, да не совсем.

УОЛЛИС

Казалось, всё о ней известно.

Бесси-Уоллис Уорфилд родилась в Пенсильвании, в июне 1896 года, в уважаемой, но небогатой семье; рано потеряла отца; в 1916 году, двадцати лет, вышла замуж за морского летчика, лейтенанта Уинфилда Спенсера, запойного пьяницу, в 1927 году развелась с ним; в 1928-м — вышла замуж за британца Эрнста Олдрича Симпсона и переехала в Лондон; в 1930-м познакомилась с наследным принцем Эдвардом, в 1934-м (не позже) стала его любовницей, в 1937-м (после его отречения) — женой; в третьем браке была счастлива, жила в основном во Франции; умерла в 1986 году герцогиней Виндзорской. В каких-либо интеллектуальных упражнениях или ином труде — не замечена. Дом держала в неправдоподобном порядке. Слыла самой модной женщиной планеты, но не у всех, а только в известных кругах. В других кругах на это место были свои претендентки.

Годами обсуждалась и по сей день обсуждается не канва ее жизни, а мотивы, ею руководившие. Что творилось у нее

в душе? В каком свете она видела, себя, мужа, окружающий мир?.. Об этом спорили и спорят. У герцогини, как у Наталии Николаевны Пушкиной, есть сторонники и противники.

Но вот недавно государственный архив Великобритании обнародовал новые пикантные подробности *жизни* этой американки.

ГЕОРГ, ЭДВАРДЫ, ЭДУАРДЫ

В год переезда Симпсонов в Лондон король Георг V занемог, и взгляды многих британцев обратились на принца Уэльского Эдварда. Тот не обманул ожиданий подданных, повел себя, как и подобает наследнику, включился в государственные и общественные дела. Год спустя разразилась Великая депрессия. В 1932 году безработица в стране достигла неслыханного уровня. Тут пробил звездный час принца. Он объехал рабочие клубы Великобритании, выступал, изучал проблему — и в итоге умудрился изыскать 200 тысяч рабочих мест. Его популярность в этот период была громадна. Еще раньше его заслуги отметил отец — подарил ему в 1930-м замок Форт-Бельведер в графстве Беркшир, что на запад от Лондона. 36-летний принц впервые обрел собственный дом, где стал собирать друзей. Там вскоре он и познакомился с Уоллис Симпсон. Начало их романа относят к 1934 году.

Георг V умер в январе 1936-го, так и не узнав, что сын не на шутку влюблен. Принц Эдвард стал королем Эдуардом VIII. По неписанной английской конституции женой наследника и королевой может стать только *высокородная девица из владетельной семьи*. Мог Эдуард нарушить конституцию? Как мы теперь знаем, мог. Теперешний наследник пошел на это. Вообще, границы, в которые поставлены британские венценосцы, подвижны. Возьмем деда Эдуарда VIII, короля Эдуарда VII. Он — фактический создатель Антанты. Когда король пожелал вмешаться во внешнюю политику и даже в известном смысле возглавить ее, никто ему в этом не воспрепятствовал. Какая-то свобода была и у внука. Замечательная особенность неписанной конституции та, что она *развивается*, живет, уточняясь за счет прецедентов. Американские отцы-основатели написали фантастический

документ, дивный по лаконичности, глубине, прозорливости, — но поправки к нему все-таки потребовались — и в будущем неизбежны. В других странах приходится *менять* конституции, ломать старые уклады. В Германии на дворе вторая республика, во Франции — пятая республика, а до этого обе страны были монархиями, а еще до этого Германия состояла из монархических лоскутков. В Англии — *первая* монархия.

Эдуард VIII мог нарушить конституцию в принципе, не на деле. Все члены королевской семьи, все политические лидеры Великобритании и Британского содружества (исключая только Уинстона Черчилля, по слухам — безупречного семьянина) настойчиво советовали королю отказаться даже от мorganaticкого брака. Король боролся, но уступил. Можно допустить, что другой человек на его месте добился бы своего. Но история не знает сослагательного наклонения.

Конечно, у короля была еще одна степень свободы, состоявшая в том, чтобы попросту разорвать отношения с Уоллис. Это первое, что всем приходит на ум; этого все посвященные и ждали от него. Чего *никто* не ждал, так это чтобы король женился на другой — и остался любовником Уоллис. Ход, повсюду столь обычный в исторически недавнее время, был совершенно немыслим в Великобритании 1936 года. Уже в XIX веке королевские дети находились в нравственных тисках. Когда в 1861 году двадцатилетний принц Эдвард (тот самый будущий Эдуард VII, создатель Антанты) позволил себе флирт с ирландской актрисой, королева Виктория *на тридцать лет* отстранила своего любимца от какого-либо участия в делах Букингемского дворца.

Эдуард VIII вступил на престол в январе, а отрекся в декабре 1936 года. Отречением он тоже, конечно, нарушил конституцию, неотрывную от традиции. От нового короля Георга VI, своего младшего брата, он получил титул принца Эдварда, герцога Виндзорского, но сопутствующее ему титулование «ваше королевское высочество» (по совету правительства) не было распространено на Уоллис, которая в 1937 году во Франции стала-таки женой Эдуарда, опять превратившегося в Эдварда.

ОПЯТЬ УОЛЛИС

Что же сообщил британской общественности британский архив? Что у Уоллис Симпсон было еще одно любовное приключение: с неким Гаем Трудлом, человеком женатым и вполне буржуазным, торговавшим автомобилями. Было это уже в Лондоне — и как раз тогда, когда принц Эдвард влюбился в нее и ухаживал за нею со всем пылом.

Пожалуй, это — очко в пользу тех, кто годами твердил, что она была двуличной нимфоманкой, эгоисткой, считавшей отречение Эдуарда величайшей глупостью. И в пользу тех, кто отказывался видеть в этом романе одну из красивейших любовных историй нового времени. Скептики опять спрашивают: да любила ли она вообще своего третьего мужа? Охотно ли шла за него? И еще: пожертвовал ли бы Эдуард королевской (и имперской) короной, знай он об этом романе? Вопросов множество. Среди них и такой: отчего король был так привязан к Уоллис? Неужто она в каком-то смысле была лучше всех на свете, притом в глазах человека, вращавшегося в обществе красивейших и умнейших женщин своего времени? Один из членов королевского дома, не пожелавший оглашения своего имени, характеризовал Уоллис как женщину холодную, расчетливую и с мертвой хваткой. И добавил(а), что она разбила множество сердец... А вместе с тем и другой ее образ жив: приветливая, милая, добрая, остроумная, дерзкая, простая в обращении. Элегантная до умопомрачения, с безупречным вкусом и чувством стиля. С обворожительной улыбкой повторявшая фразу: «Нельзя быть *слишком* богатым или *слишком* худощавым...». Кому верить?

Художник по интерьерам Ники Хаслэм хорошо знал ее — и восхищался ею. «Она не сознавала, что происходит, — говорит он. — Король был первым мужчиной на свете, лакомой добычей для любой женщины. При всем том она вовсе не собиралась лишать его короны, готова была к разрыву. Но он не был готов. Грозил покончить с собою!»

Крестник отрекшегося короля, Дэвид Метколф, говорит об этой странной паре так: «Он был по-настоящему красив, чего про нее не скажешь. Она была разве что хороша, скорее быстра, чем находчива, умна, но не очаровательна. У нее были слишком крупные руки, слишком громкий голос, и она болтала без умолку...»

Между прочим, Уоллис называла своего третьего мужа не Эдвардом, а *Дэвидом*, и с некоторым основанием: полное метрическое имя, полученное наследником при крещении, читается как Эдвард-Алберт-Кристиан-Джордж-Эндрю-Патрик-Дэвид. Не родился он наследником, имен было бы меньше. Младший брат, сменивший его на троне, получил только четыре имени: Джордж-Фредерик-Эрнст-Алберт. Он в Георги не предназначался.

ЕГО ПОРТРЕТ

Отрекся Эдуард 10 декабря 1936 года. Вечером 11 декабря он обратился по радио к британцам со словами: «Я нашел невозможным для себя нести далее тяжкое бремя ответственности и выполнять обязанности короля, которые при других обстоятельствах выполнял бы с радостью, без помощи и поддержки со стороны женщины, которую я люблю...» В тот же вечер он уехал в Австрию, где жил некоторое время в окружении друзей, дожидаясь, пока Уоллис получит документ о разводе. Поженились они 3 июня 1937 года во Франции.

И в качестве наследника, и в качестве короля, и будучи принцем в изгнании Эдвард-Эдуард симпатизировал нацистам, знал и любил немецкий язык, в 1937 году по приглашению главарей рейха побывал в Германии, встречался с Гитлером. Нацисты тоже любили бывшего короля. Опять возникает бесплодное искушение спросить: а что было бы, если...? Как повернулась бы история XX века, останься он на престоле? Вклад Великобритании в победу над нацизмом громаден. Британцы первыми остановили вермахт в октябре 1940 — в так называемой воздушной битве за Британию. Помог только что изобретенный радар, расшифровка секретных кодов, но в первую очередь, конечно, отвага британских летчиков; силы сторон были примерно равны. А спустя два года британцы разгромили нацистов под Эль-Аламейном, не пустив их к нефтяным полям Ближнего Востока.

Что до изгнания принца-короля, то оно не было ни полным, ни обусловленным. Российские энциклопедии почему-то утверждают, что Георг VI запретил ему возвращаться в Соединенное Королевство. В действительности Эдвард

и возвращался на родину, и служил ей. Сразу после начала второй мировой войны в 1939 году он был в Лондоне и вернулся на континент офицером по связи с Францией. Правда, его отношения с королевской семьей не наладились, — напряженность в этих отношениях и была причиной, по которой Эдвард предпочитал жить за границей. Простить его не могли очень долго.

22 июня 1940 года Франция капитулировала. Эдвард едет в Мадрид, оттуда — в Лиссабон. В Мадриде нацисты напомнили ему о некогда существовавшей между ними симпатии. Они вынашивали план сделать принца своим союзником в войне против Великобритании — и опять посадить его на трон! (Или, во всяком случае, *объявить* королем в изгнании, что могло бы, как им грезилось, расколоть британское общество и ослабить его.) Странная идея! Плебейская до мозга костей. Они забыли, что имеют дело с представителем древнего британского аристократического рода.

В Лиссабоне Эдвард принял предложенный Уинстоном Черчиллем пост губернатора Багамских островов, отправился на Багамы и оставался в должности до конца войны. В 1945 он и Уоллис вернулись в Париж. Короткие визиты на родину в последующие годы были для принца связаны, в основном, с похоронами. В 1952 году он хоронил своего младшего брата и преемника Георга VI, которого пережил на двадцать лет; в 1953 году — мать. Лишь в 1967 году Эдвард и Уоллис были официально приглашены на родину — на церемонию открытия мемориальной доски в честь его матери, королевы Марии.

КАК ОНИ ЖИЛИ

Говорят, их дом в Булонском лесу отличался не только роскошью, но и каким-то чрезмерным порядком, о чем неукоснительно заботилась герцогиня Уоллис. Она правила сильной рукой. Слуги в белых королевских ливреях должны были повиноваться немедленно, быть расторопнее, чем слуги Букингемского дворца. Всё было подчинено строжайшим правилам, неукоснительной форме. Форма вообще много значила в жизни этой праздной и тщеславной четы. Одежда — в первую очередь. Если они над чем-то *работали* в своей жизни, так это над своими гардеробами, требовавшими ежедневного

внимания. Герцогиня беспрерывно говорила о тряпках, думала о тряпках. Можно сказать, она жила ради своего *титула*, только не княжеского, а созданного молвой: ради репутации самой элегантно одетой женщины планеты.

Она не была красавицей, не любила фотографироваться, явно нервничала под наведенным объективом. Диана Фриланд, знаменитая редакторша журнала *Vogue* и приятельница герцогини, подозревала, что та сделала-таки пластическую операцию. Посылая к ней фотографа, она всякий раз просила его снимать Уоллис в профиль или полупрофиль — в надежде разглядеть, где прошелся нож хирурга.

Жесточайшей форме была подчинена и кухня. Готовили в доме изысканно, с выдумкой и новаторством. *Nouvelle cuisine*, новая французская кухня с пониженной калорийностью, может, и не была изобретена у Виндзоров, но ее блюда подавались у них прежде, чем появился этот термин. К обеду супруги всегда одевались с подчеркнутой тщательностью, причем модник Эдвард нередко выходил в шотландской юбке-кирте. Худющая Уоллис ела мало. В последние годы ее диета сводилась в основном к салату-латуку и водке. «Нельзя быть *слишком* богатым или *слишком* стройным!» — эту фразу придумала не она, но она сделала ее знаменитой. Юмор, прямо скажем, не ошеломляющий, а в содержательном смысле тут и вовсе ничего нового нет. Бедным следить за собою недосуг; голод подталкивает к обжорству. Что полнота указывает на бедность, а худоба — на богатство, Бомарше отмечал еще в 1784 году, в *Женитьбе Фигаро*...

Эдвард Виндзорский в течение всей жизни отличался скупостью, но жену осыпал драгоценностями, в которых та знала толк. Детей у них не было (зря, выходит, Эдуард VIII отрекался от престола за себя *и своих потомков!*). С этой оговоркой — все внешние признаки счастливой семьи были налицо. Но и тайна — тоже. Всякий брак — таинство, а тут — таинство в квадрате, в кубе. Каких только догадок не строили на их счет! Как наблюдали за каждым их шагом! Кое-кто из друзей четы еще жив. Всё это очень пожилые люди — и они хранят многозначительное молчание. Например, графиня Грэйс Дадли, хоронившая с Уоллис ее мужа.

— Я никогда не стану говорить о моем драгоценном друге. Это — другой мир, — вот и всё, что из нее вырвали любопытные.

Занятно, что особняком Виндзоров в Булонском лесу сегодня владеет не кто-нибудь, а Мухамед Файед, тот самый набоб, с которым связан второй по масштабам скандал XX века в британском королевском доме. Он — отец Доди Файеда, приятеля принцессы Дианы, вместе с которым она погибла в автомобильной катастрофе в 1997 году в Париже.

СМЕРТЬ В ЛАЗУРИ

Мы всегда знали: он умер как герой, погиб во время разведывательного полета над побережьем южной Франции, был сбит пулеметной очередью нацистского мессершмидта 31 июля 1944 года. Знали и другое: такие люди на самом деле не умирают, живыми попадают на небо — как Илья-пророк, король Артур и Маленький принц. Никто не был свидетелем смерти Сент-Экзюпери. Поэт-летчик просто растворился в лазури.

Так было до 2004 года.

ТЯТЯ, ТЯТЯ НАШИ СЕТИ...

Первое облачко набежало в 1998 году. У крохотного островка Риу, в виду южного побережья Франции, двое марсельских рыбаков извлекли из своей сети блестящий предмет. Одного рыбака звали Хабиб бен-Амор. Он протянул находку своему нанимателю, владельцу лодки Жан-Клод-Антуану Бьянко. Тот, потеряв железку, сперва увидел имя «Антуан» — и решил, что партнер его разыгрывает; ведь он откликнулся и на это имя. Потерев еще, он прочел: «Майор Антуан де Сент-Экзюпери». В его руках был военный опознавательный браслет.

Бьянко объявил о находке — и немедленно был объявлен фальсификатором. Ни журналисты в своей массе, ни семья писателя не допускали и мысли о том, что браслет — подлинный. Семья — так просто на дыбы встала. Но при этом повела себя странно: получив браслет на опознание, не пожелала вернуть его владельцу-фальсификатору. На заднем плане разразившегося скандала прошли незамеченными слова родственников жены писателя, уверенно признавших браслет собственностью Антуана де Сент-Экзюпери.

ЛИЦОМ К МОРЮ

В этих местах, в миле отсюда, начинал свою карьеру знаменитый подводник, изобретатель акваланга Жак Кусто — искал и находил обломки древнеримских кораблей. Подозреваем, что его влекла сюда не только история. Это один из красивейших участков южного побережья Франции. Природа, не испорченная присутствием человека, кристально-чистое море вдали от курортных берегов. Всё дышит поэзией.

Владелец марсельской школы подводного плавания Люк Ванрель тоже погружался в этих местах. Искал на дне обломки более поздней поры: обломки того самолета, в котором погиб Сент-Экзюпери (ибо не все поверили, что браслет — подделка). Всего нашел он около сорока самолетов, а 23 мая 2000 года — и тот самый американский локхид-лайтинг, модель Ф-5, конструкцию которого заранее изучил по чертежам, полученным от специалиста. Полагался он не только на интуицию. Локхид-лайтингов этой модели и вообще было во время войны на Средиземноморье немного, погибло же их всего три, и все — в местах, лежащих далеко от предполагаемого места гибели Сент-Экзюпери. Не один Ванрель был убежден, что в день своего последнего вылета Сент-Экзюпери намеренно отклонился от предписанного ему маршрута. А браслет был найден тут...

Погода в день погружения Ванреля стояла безоблачная и безветренная, подводные условия были идеальные, лучи полуденного солнца падали отвесно, не давая тени на дне, и Ванрель прекрасно разглядел свою находку: шасси и двигатель локхид-лайтинга.

По закону обломки кораблей и самолетов считаются могилами тех, кто погиб при их крушении. Без специального разрешения обследовать их нельзя. Зная об этом, Ванрель обратился в министерство культуры Франции. Можно было ожидать, что там заинтересуются и обрадуются — ведь речь шла о прояснении судьбы национального героя. Но вышло иначе. Хотя Ванрель не прикоснулся к обломкам, его обвинили в разграблении могилы. Богатое семейство Сент-Экзюпери (*теперь* богатое; писатель умер в долгах) пустило в ход свои связи в коридорах власти и добилось запрета не только на погружения, но и на рыбную ловлю в этих местах.

Более полутора лет потребовалось министерству культуры только на то, чтобы *зарегистрировать* заявление Ванреля. Между тем другие подводники почуяли сенсацию и, нарушая запрет, начали понемногу подбираться к обломкам. Когда же правительство с видимой неохотой всё же разрешило обследование, фрагменты погибшего самолета начали поднимать на поверхность. Осенью 2003 года была обнаружена алюминиевая панель с номером 2734 L — номером самолета Сент-Экзюпери. Догадка Ванреля окончательно подтвердилась: писатель-летчик погиб совсем не там, где думали. И погиб странно.

Официальное заявление министерства культуры Франции последовало 7 апреля 2004 года. Собравшимся на пресс-конференцию журналистам сказали, что самолет вошел в воду практически *вертикально* (sic!) со скоростью 804,5 километров в час и что «причина гибели никогда не будет доказательно установлена». Предполагаемая причина — отказ системы подачи кислорода. Почему? Потому что в корпусе самолета не найдено ни одного пулевого отверстия. Очереди нацистского мессершмидтга — не было. Майор де Сент-Экзюпери — не был сбит. Тут иным пришло в голову, что это — самоубийство..

Сколько времени он летел вертикально вниз, лицом к морю? Принимаем скорость вхождения в воду равной $v=804,5$ км/ч (то есть 223,5 м/с). Если пилот выключил мотор, то падал он ($t=v/g$) 22,8 секунды (с высоты в 2544 метра; $h=g*t^2/2$). Если не выключил, то при крейсерской скорости локхид-лайтинга в 483 километра в час ($u=134.08$ м/с) получаем ($t=(v-u)/g$) 9,1 секунды (с высоты в 1628 метров).

СЕМЬЯ И СТРАНА ОЗАБОЧЕНЫ

Благосостояние родственников писателя покоится на его посмертной славе, на изданиях и переизданиях его сочинений, в первую очередь — «Маленького принца», в популярности соперничающего с Библией.

Но наследие Сент-Экзюпери — не только семейный бизнес. Летчик-писатель — национальный герой Франции, одна из самых привлекательных физиономий этой страны, изрядно униженной в войнах с Германией. Французам, в массе своей загнавшим нелицеприятное прошлое в подсознание, нужна

патриотическая отдушина, и тут Сент-Экзюпери незаменим. Он лучше де Голля послужил восстановлению «национального величия Франции». (Это величие, к слову сказать, сейчас прочно забыто, но некогда было нешуточным. До возвышения Пруссии во второй половине XIX века французская армия столетиями считалась самой грозной силой на свете, а французский солдат, особенно кавалерист, — самым доблестным. Британия правила над волнами, Франция — над землями. Преобладание Франции на суше никем не оспаривалось до Крымской войны, даже до пирровой победы Наполеона III над Австрией при Сольферино (1859); оно рухнуло только в 1871 году. Герцен пишет об этом преобладании как о чем-то само собою разумеющемся. Стендаль был убежден, что даже коалиция европейских держав не в состоянии выдержать более одной кампании против Франции... без английских денег.)

Но если Сент-Экзюпери не был сбит мессершмидтом, а погиб в результате технической неисправности, то, согласимся, его героизм несколько бледнеет. Если же это было самоубийство (версия, тотчас высказанная историком Марком Бернардом (Mark Bernard)), то дела обстоят еще хуже. Писатель, может, и не проигрывает от такого конца; всё-таки он — богема, — а вот национальный герой-летчик оказывается не на высоте.

Теперь понятно, почему первые попытки обследования дна у острова Риу встретили противодействие и правительства, и семьи. Племянник писателя, едва прослышав про находку Ванреля, заявил: «Легенды типа Сент-Экзюпери не терпят подновления!»

Точнее не скажешь. Слишком многое поставлено на карту. Вспомним, с какой помпой Франция, во всем блеске своего отредактированного национального величия (чуть-чуть омраченного антисемитизмом), отметила перед лицом всего мира 60-летие гибели своего героя.

ПЕРЕД РОКОВЫМ ВЫЛЕТОМ

Можно ли вообразить Антуана Сент-Экзюпери несчастным человеком?

Аристократическое происхождение, безоблачное детство в замке Сент-Морис де Реман под Лионом, обожаемая и обожающая мать... А взрослость? Захватывающая профессия, даже две, — это ведь давно отмечено: два увлекательных занятия идут не в ущерб, а в помощь друг другу; одно подпитывает другое... Своевременная, почти моментальная писательская известность. Правда, в промежутке были горькие неудачи, о которых мы слышаны, но у какого же героя не было неудач? Труднее поверить, что годы признания и славы были для писателя мрачным, даже отчаянным временем.

Летом 1944-го на Корсику, покинутую нацистами, прибыла эскадрилья 2/33 французских ВВС. Расположилась она в портовом городе Бастии, смотрящем в сторону Италии (в хорошую погоду из Бастии видны острова Эльба и Монтекристо). Своего рода талисманом эскадрильи считался майор Антуан де Сент-Экзюпери, не самый замечательный пилот (ростом был высоковат, комплекцией в последние годы грузен, в движениях неуклюж; в жизни и за штурвалом отличался рассеянностью) и не слишком дисциплинированный офицер, но человек отважный до сумасбродства, любезный и галантный, остро слов, весельчак и всеобщий любимец — словом, из тех, что приносят счастье. Он к этому времени уже известный писатель, автор «Ночного полета» и «Земли людей». «Маленький принц» тоже написан (в 1943-м, в Америке) и напечатан, но финансового успеха пока не принес — и принесет не автору. Однако сам весельчак, как это нередко бывает, невесел — или, во всяком случае, не выглядит счастливым, и он основательно прикладывает к бутылке. Даже более того: он — глубочайший пессимист, прощающийся с жизнью.

Основания для этого были самые разные. Одно из двух любимых дел уходило из рук. Ранние авиаторы чувствовали себя птицами — теперь на смену их хрупким аппаратам, где всё зависело от пилота, приходили переусложненные, перегруженные приборами тяжелые машины, оставлявшие куда меньше простора воображению, мечте и поэзии. Сент-Экзюпери не любил их — и не берег военные машины, за что его, случалось,

удерживали на земле. Да если бы и любил — летать в сорок четыре года поздновато, особенно если здоровье подточено ранами (Сент-Экзюпери не раз чудом выходил живым из аварий и крушений). Начальство неохотно отпускало писателя в небо — возможно, не без давления со стороны начальства совсем уж высокого.

Странно вымолвить, но теперешний национальный герой в ту пору представлялся генералу де Голлю коллаборационистом и чуть ли не предателем — ведь книга «Полет в Аррас» вышла в вишистской Франции. Мало того: де Голль был убежден, что Сент-Экзюпери, лично знакомый с Эйзенхауэром, настраивает американцев против него, вождя Сопротивления. Быть может, тут и была доля истины. В частных разговорах Сент-Экзюпери осуждал де Голля за чрезмерные амбиции, утверждал, что тот ставит личные интересы выше интересов родины. А влияние де Голля росло час от часу, и генерал был мстителен, обид не прощал. Он поставил Сент-Экзюпери под негласный надзор. Почту писателя перлюстрировали, его книги были запрещены в освобожденной части Франции. Тут есть отчего запить.

Говорят, летчику даже мерещилось, что после войны его отдадут под суд и расстреляют как предателя. Было ли такое возможно? Не знаем. Маловероятно. Но примеры поспешных расправ и дикой несправедливости победителей известны. Взять хоть маршала Петена, героя первой мировой войны. Давно выяснено, что и во вторую мировую войну он не запятнал честь Франции (поголовно не хотевшей сражаться), а сделал всё мыслимое для ее спасения (ведь номинально Франция так и не капитулировала; вишистский режим существовал на условиях перемирия). Петен принял лично на себя весь позор, который должны были с ним разделить миллионы французов, — и был в возрасте 88 лет приговорен к смертной казни (замененной пожизненным заключением). Де Голль отказался даже принять его представителя, а ведь Петен был *законным* главой государства; генерал же действовал как узурпатор, по праву силы...

Были у Сент-Экзюпери и другие поводы для пессимизма. Первая юношеская влюбленность принесла ему лишь горькое разочарование. Мимолетные связи и жена-сальвадорка, Консуэло Гомес-Карильо, не отвечали запросам быстро

старевшего писателя. Брак этот был, что называется, открытый, взаимной верности не предполагавший (соглашение, которое Консуэло использовала, по слухам, на всю катушку), но артистическая разнузданность с годами надоедает, и мужчина, входящий в возраст, обыкновенно спрашивает себя словами Пушкина: «Нельзя ль найти подруги нежной, нельзя ль найти любви надежной?»

Верно: пошлая рутина обыденности (которой, как огня, боялся Сент-Экзюпери) мужу Консуэло не угрожала. Подвижная, артистичная, полностью отрешенная от реальности, она была забавна и соскучиться не давала — уже хотя бы потому, что скандалы между супругами были непрерывные. Посторонних она не стеснялась. Друзья наблюдали однажды, как Антуан едва успевал уворачиваться от тарелок, которые она в него швыряла. Ложь и мистификация были подлинной стихией Консуэло. Ложью, можно допустить, были и слухи об импотенции писателя, которые она упорно распространяла; но дыма без огня не бывает (другие женщины тоже не в превосходной степени отзывались о любовных доблестях Антуана), и почти очевидно, что обычных радостей, скрепляющих союз мужчины и женщины, не хватало и ей, и ему. Так что и эта составляющая бытия не слишком привязывала Сент-Экзюпери к жизни.

В мае 1944-го, после восьми месяцев просьб и закулисных интриг, Сент-Экзюпери добился разрешения вновь подниматься в воздух. Физически он был мало к этому подготовлен. Шея почти не поворачивалась, боли в спине отпускали редко. Летал он плохо, и друзья-соратники всеми правдами и неправдами старались удержать его на земле. Командир эскадрильи, Рене Гавуаль, припоминает, что пилот-писатель намекал ему: мол, пора, мой друг, пора; в один прекрасный день я исчезну, и лучше бы — при исполнении задания. Сент-Экзюпери передал командиру свои бумаги — с инструкцией, как ими распорядиться после его смерти. Друзьям он писал, что приближающаяся победа (теперь в ней уже невозможно было сомневаться) принесет миру не радость, а тошнотворную скуку: к душе человеческой вплотную подступает мир машин. И потребительский мир, в котором нет места поэзии. Незадолго до 31 июля он подарил сослуживцам пишущую машинку и любимые шахматы.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

В разведывательные полеты вылетали засветло. Будили летчиков ночью. Но его будить не пришлось. В последнюю ночь Сент-Экзюпери вообще не ложился. До сих пор неясно, не был ли его последний вылет *самовольным*. Допускают, что сесть за штурвал должен был другой летчик — и Сент-Экзюпери вызвался его заменить, не поставив в известность командира. Гавуаль прибыл на аэродром после взлета Сент-Экзюпери — и разразился проклятиями: «Какого черта вы позволили ему подняться в воздух?!»

По многим признакам Сент-Экзюпери мог чувствовать, что этот полет — последний в его военной карьере; что его больше не пустят — и что ему не следует возвращаться. Искал ли он смерти? Утверждать этого нельзя. Возможно, лишь призывал смерть; возможно, вылетел без определенного плана, а роковое решение повернуть самолет носом к другой лазури принял в самый последний момент, поддавшись внезапному порыву. Косвенно он сказал о возможности самоубийства за восемь дней до 31 июля: находясь в воздухе над Турином, он намеренно подпустил к себе германские истребители. Вооружения на его разведывательном локхид-лайтинге не было, немцы знали это, и поведение летчика показалось им таким странным, что они не стали нападать...

Полагают, что в 9:30 Сент-Экзюпери пересек береговую линию Франции. Больше от него и о нем никто ничего не слышал. Ванрель, не сомневающийся, что это было самоубийство, считает, что герой заранее выбрал дивное по красоте место для своей могилы.

ЗАВЕЩАНИЕ И НАСЛЕДИЕ

Что же сказал нам своей смертью Антуан Сент-Экзюпери? И что он сказал своей жизнью?

Завещанием писателя естественно считать не изданную посмертно (и незаконченную) «Цитадель», а «Маленького принца», вещь отнюдь не светлую и жизнеутверждающую, а глубоко пессимистическую, если же приглядеться, то и пустоватую, при всей ее заслуженной популярности.

Пессимистическую потому, что во всей вселенной писателя, не только на Земле, нет ни одного человека, кроме лирического Я рассказчика, от всех оторванного, ни с кем не связанного. Герой сказки, Маленький принц, всё же не человек, а сверхчеловек. Он и умирает, как Христос: тело его исчезло, вознеслось на небо (но мы-то знаем, что вознесение на небо — другое имя смерти).

А пустоватую — потому, что во вселенной Сен-Экзюпери не хватает Бога (в резком контрасте со сказками Андерсена или Гауфа). От этого чувства невозможно избавиться. Мир холоден и пуст. Герои в человеческом обличье карикатурны и плоски (что вовсе не обязательно для сказки). В лисе и змее больше человеческого, чем в короле, честолюбце или пьянице. Космогония скучная, раздражающая, без полета воображения. В этом и состоит евангелие от Сент-Экзюпери. Человек очень поверхностно образованный и, решусь вымолвить, неглубокий, он совсем не был мыслителем. Он был чувствователем, одним из первых ощутил наше мировое сиротство — его и выразил. Мы — больше не верим. Не можем верить после окопных боев на Сомме и иприта, после газовых камер и Хиросимы. Особенно — после Соммы и иприта. Не вторая, а первая мировая война перевернула европейское сознание (вторую многие не без оснований считают всего лишь продолжением первой). Не будь первой — не было бы ни большевизма, ни нацизма. Бог отступился от человечества, от его цивилизованной части. Остался он в своем прежнем статусе только у мусульман, да и то не у всех. Даже самые пламенно верующие среди нас — не более чем ханжи рядом с теми, кто не пережил, не осознал, не пропустил через свою душу катастроф XX века.

Еще — Сент-Экзюпери сказал нам (своей жизнью и своей смертью), что Бог — это традиция. Нельзя вырывать с корнем то, чем жили родители. Маленький принц — противник самодовлеющего разума, теснящего душу, апостол простых исконных ценностей, всего того, чего в жизни (включая жизнь семейную) писателю катастрофически не доставало. Маленький принц, разумеется, еще и второе Я автора, ведь поэты не взрослеют.

Говорят, до войны, в Тулузе, Сент-Экзюпери бросил одну из своих возлюбленных после того, как застал ее за штопаньем носков. Ушел, дескать, даже не простившись. Очень похоже!

А читается эта притча вот как: пуще смерти он боялся обыденности. Смерти, как мы видели, не боялся, хотя правы и те, кто в его отваге усматривает нечто от истерики и исступления. Но это ведь и всегда так. Романтическая парадигма – просиять и погаснуть – вот что было заложено в этом не повзрослевшем ребенке. Старость с ее болезнями и немощью, повседневность с ее носками, часто требующие от человека большего напряжения душевных сил, чем военные подвиги и мгновенная героическая смерть, оказались ему не по плечу.

«Зорко одно лишь сердце – самого главного глазами не увидишь»; «ты в ответе за тех, кого приручил»; «единственная на Земле роскошь – роскошь человеческого общения»... Куча цитат, ставших частью нашей жизни. Сама мудрость, не так ли? Ошеломляющая в своей простоте «мудрость чудака», мудрость поэта. Спасибо ему. Хотя и до него говорили в таком духе; и не афоризмами жива высокая литература. Мировая слава Сент-Экзюпери оправдана; талант его несомненен. Но мы бы услышали всё это иначе, а может – и вовсе не услышали, справься Сент-Экзюпери со своею депрессией и переживи 31 июля.

...Россия, часто поднимавшая на щит невесть кого, в отношении Сент-Экзюпери не промахнулась: воздала писателю по заслугам, хоть и с опозданием. Воздаст и по сей день. Есть тому не совсем обычное свидетельство: во-первых, в России писателя называют графом; во-вторых, его имя в русском интернете пишут латиницей самым непостижимым образом. Например, так: Antuan de Sent Exupery. И еще лучше: Antuan Sent-Ekziuperi и Antuan Sent-Ekzyuperi. Особенно умиляет это Antuan, миру за пределами России решительно не известное. (Правильное написание – Antoine; это французское искажение латинского императорского имени Antoninus, *Антонин*). Случается в имени до восьми ошибок. Это ли не свидетельство славы поистине всенародной – когда о тебе не только слышали, но и мечтают, и даже пишут люди вполне безграмотные и бессмысленные? Но можно допустить, что сам писатель, посмертно ставший французской мыльной оперой, хотел другой славы, других читателей и мечтателей.

БЕЗАЛАБЕРНАЯ ГЕРЦОГИНЯ

Она умерла 69-летней, но свое обещание сдержала: так и не повзрослела. «Я не понимаю ценностей взрослых людей — и никогда не пойму, не захочу понять...», говорила Франсуаза Саган. Умерла, можно сказать, девятнадцатилетней. Ей было девятнадцать, когда вышла ее главная и лучшая вещь: роман «Здравствуй, грусть». В нем героиня говорит, что когда состарится, будет готова платить за любовь. Писательнице — не пришлось. Этого добра ей хватило. Притом даже, что ее половая жажда была неутолимой, чудовищной, под стать таковой Эдит Пиаф. Бывший партнер свидетельствует: «Франсуаза попробовала решительно всё: и с двумя, и с четырьмя партнерами разом, и с женщиной. Она пьянствовала ежедневно...» Про наркотики и говорить нечего. Куда нынче без них? Ну, и другому наслаждению, азартным играм, Саган предавалась так же безудержно, как и играм постельным.

Хотя — в другом смысле, косвенно, — за любовь, за непосредственные половые ласки она именно платила. Разве она получила бы их в таком переизбытке, осталась бедна и неизвестна, не будь писательницей? Ведь не за красоту же или, там, за ее человеческие качества любили ее мужчины. Тут и вообще нужно правде в глаза посмотреть: за любовь мы платим всегда. Если не деньгами, то трудом, болью, кровью. И любовью, которая тоже — кровь, труд, деньги.

Саган, заметим, некоторым образом счастливо избежала гильотины. Правый популист Жан-Мари ле Пэн считал, что ее нужно именно гильотинировать.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Франсуаза Куарез родилась 21 июня 1935 года, в семье предпринимателя, в городке Каржак на юго-западе Франции. Места там тихие. Протекает река Лот, давшая имя сегодняшнему департаменту. Это — Гиень, бывшая Аквитания, в раннем средневековье принадлежавшая Англии. Неподдалеку, в теперешнем районе Лимузэн, у стен замка Шалю, сложил

свою голову рыцарь Ришар Кёр-де-Лион, он же — король Ричард Львиное Сердце (по-английски, кажется, не знавший). Городки в округе всё крохотные, меньше ста тысяч жителей. В пятидесяти километрах — ближайший сколько-то известный город, Кагор.

Франсуаза с детства отличалась излишней возбудимостью и неуправляемостью; не находила общего языка со своими степенными родителями; заикалась (не иначе как от эмоциональных перегрузок); от одиночества принялась сочинять исторические романы, что так естественно в этих местах. Она была еще подростком, когда семья перебралась в Париж. В закрытых католических школах ей никак было не ужиться — по ее собственным словам, «из-за отсутствия интереса к духовным вопросам». Едва она успевала поступить, как ее исключали. С пятнадцати лет она стала пить: и дома, где прятала бутылку виски, и в пивных подвалах на улице Сен-Мишель.

Каким-то чудом ей удалось поступить в Сорбонну на филологическое отделение, откуда она вылетела после первых же экзаменов. В 1953-м, катаясь на яхте, Франсуаза получила серьезную травму. На время потребовался постельный режим. Тут-то, в кровати, она и сочинила в течение двух недель роман «Здравствуй, грусть», который, как уверяла, потом ни разу не перечитывала. Ей было восемнадцать лет. Текст сразу приняли к печати. Узнав об этом, отец запретил Франсуазе Куарез пятнать родовое имя сочинительством, и она взяла себе псевдоним — стала Франсуазой Саган. Как мы знаем, в результате такого отцовского запрета возник и другой знаменитый псевдоним — Анны Ахматовой. Имя Саган — Франсуаза заимствовала у Пруста, из его «Поисков утраченного времени». Книга как раз была раскрыта на фразе: «Мимо проехал в карете герцог Саганский...» В России Саган основательно прочитана. Напоминать ее основную тему не нужно: там всё — об этом, о свободной любви, о любовной свободе. Об отказе от какой-либо личной ответственности за свои поступки; о жизни ради моды и броского жеста, ради вызова обществу, ради стиля (как раз тогда в советской России появилось слово *стиляга*), ради наслаждений. Это был Есенин в юбке на французский манер. И это была девчонка, школьница. Понятно, что Саган тотчас получила имя *enfant terrible* современной французской литературы. В ту пору (книга вышла

в 1954-м) еще удавалось кого-то возмущать и эпатировать. Счастливые времена! Сегодняшним скандалистам от искусства досталась выжженная земля. Как они ни выпендриваются, всем только скучно.

Успех книги был молниеносный и ошеломляющий. Осуждение Ватикана его подхлестнуло сильнее, чем Prix de critiques (премия критиков). Роман был просто обречен на успех. Сенсацией стало уже то, что автору — восемнадцать лет. Именно так, возрастом автора, этот успех объяснил тогда Илья Эренбург и еще многие. Франсуа Мориак приветствовал появление «очаровательного маленького чудовища», но в целом — знатоки над текстом не ахнули. В формальном отношении — а в 1950-е в прозе всё еще продолжались упорные и угрюмые формальные поиски, всяческие одевания штанов через голову, — книга была очень традиционной. Выделяло ее другое: устами автора заявила о себе расслабленная и разнузданная подростковая культура, которая лишь спустя двенадцать лет была узаконена парижской студенческой (сексуальной) революцией — и к нашим дням в значительной степени вытеснила собственно культуру. Саган оказалась в числе первых знаменосцев поп-арта. В Америке в том же направлении кривлялся ее ровесник, эстрадный певец Элвис Пресли. Тинэйджеры (если изъясняться на современном московском наречии) застолбили свое Эльдorado.

Книга тотчас была переведена на 22 языка. В течение пяти лет разошлось не менее чем в пяти миллионах экземпляров. Автор-подросток в одночасье стала миллионером — и, разумеется, профессиональным писателем.

В последующие сорок лет Саган написала более сорока романов и пьес, то есть выдавала более чем по одному сочинению в год. Но, набираясь возрасту, она не выросла в литературном отношении; богатели и старела, оставаясь подростком. Ее сочинения не становились глубже и значительнее — напротив, они становились только менее терпкими, год от году всё сильнее утрачивали магию новизны и юности. В глазах ценителей Саган сделалась сочинительницей развлекательных женских романов, которые в Британии презрительно характеризуют именем издательства Mills and Boon. Под конец ей даже перестали платить авансы.

Слава росла — и перерождалась. По романам Саган охотно ставили фильмы, она сама стала писать для экрана — и вот незадолго до ее смерти опрос показал, что сегодня в Саган больше видят кинематографиста, чем писателя. Даже — звезду экрана; ведь главным элементом ее славы сделались публичные скандалы, притягательные для телевидения: нескончаемый конвейер любовников, дикие ставки в казино, аварии и травмы в роскошных спортивных автомобилях. А увенчал всё это скандал с налоговым ведомством. Приятельница покойного президента Миттерана, Саган скрыла колоссальную взятку, доставшуюся ей от нефтяной фирмы Elf Akiten после того, как она, используя свои правительственные связи, содействовала заключению важного контракта.

Саган оказала заметное влияние на европейскую молодежь. Британская актриса Ванесса Редгрейв, известная троцкистка и защитница интересов Чечни, начала курить, прослышав, что завтрак Саган — сигарета галуаз и чашка кофе. В Париже — влияние Саган чувствовалось еще сильнее, чем за Ламаншем. Она воплотила в себе весь шик радикальной развязно-барственной джинсовой молодежи 1950-х. Она прятельствовала с Сартром, обедала с Генри Миллером и Хемингуэем. Она не вылезала из левобережных кафе и ночных клубов. Она проделывала такой кулбит: приходила в клуб с одним партнером, а уходила оттуда — с другим. Ее видели на студенческих баррикадах. Ей всё сходило с рук.

Разумеется, Саган была политически левой. Она ведь так и не повзрослела, не приняла ценностей взрослых. Осталась последовательной — и бездумной. По известному высказыванию сэра Уинстона Черчилля (кажется, заимствованному), если человек в двадцать лет не социалист, у него что-то не в порядке с сердцем, если он в сорок — не консерватор, у него не в порядке с головой.

Известно, что игра в левизну — модная забава богатых и очень богатых. Такие левые всегда встречаются с понятными трудностями. Не избежала неловкостей и Саган, которой никак нельзя было отставать от моды. В 60-е годы соратники по борьбе за правое дело, случалось, спрашивали писательницу, отчего это «товарищ Саган» разъезжает на феррари? Одному из любопытных она ответила: «Это не феррари, а мазерати!» Тот проглотил ехидную улыбку. Чем не самоограничение?

Мазерати — на целую четверть дешевле феррари, — не стоит (по сегодняшним расценкам) больше двухсот тысяч долларов. Сушие гроши! Подлинная аскеза!

Половая разнузданность не помешала Франсуазе дважды побывать замужем, оба раза, что называется, — мельком. В 1957-м, вскоре после тяжелой травмы в дорожном столкновении, она выходит за издателя Ги Шёллера, который был двадцатью годами ее старше. Брак промелькнул и погас. Вторым мужем фигурировал американский скульптор Роберт Вестхоф, от которого она даже сына родила, но ушла менее чем через год. Вот ее характеристика супружеской жизни: «Немыслимо есть спаржу с уксусом. Дело вкуса, конечно. А главное — дело-то пустяковое...»

Запомнились и другие ее высказывания, преимущественно гедонистическис.

«Разрыв любовных отношений — настоящий праздник. Его нужно отмечать весельем, песнями, танцами и обильными возлияниями...». (Тут, однако же, следовало бы посетовать на Бога, который не устроил так, чтобы партнеры теряли друг к другу интерес в одночасье; иначе высказывание выглядит жестоким.) И еще: «Платье лишено всякого смысла, если оно не возбуждает в мужчинах желания сорвать его с меня...» В семидесятые — она внезапно сделалась блондинкой. В эти же годы здоровье начало сдавать. Писательница его не берегла, не раз была на волосок от смерти в обломках своих феррари. Она несколько раз оказывалась под судом за употребление наркотиков (из-за этого-то ле Пэн и собирался ее гильотинировать). В 1978-м ей пришлось бросить пить. В ту же пору она обратилась в министерство внутренних дел Франции с просьбой указом закрыть перед нею доступ в игорные дома.

ПИСАТЕЛЬНИЦА

Но что же она думала о себе как писательнице? Тут нужно перед нею колено преклонить.

Французская академия оказалась настолько глупа, что предложила Саган одно из сорока кресел «бессмертных». Писательнице хватило ума или здравого смысла отклонить эту честь. Она прямо так и сказала: «Я прочла достаточно хороших

книг, чтобы понимать, где место моей вещи “Здравствуй, грусть!”...». Пожалуй, этот отказ — и есть ее главное литературное достижение. Вспомним, в какой компании она бы очутилась: в одном ряду с Кольбером, Расином, Корнелем, Вольтером, Гюго, Шатобрианом, Франсом, Ренаном, Бергсоном. Это было бы просто смешно.

Хотя... Эмиля Оливье читали? Он тоже был «бессмертным». Ста лет не прошло, как умер. И где он сейчас? Да и кинематографисты проложили себе путь к этим креслам. Кинематографисты! В обществе, разучившемся мыслить, они теперь идут за мыслителей. Этим и задано современное состояние знаменитой академии. Жалкое состояние.

Саган — писательница по стечению обстоятельств. В литературе она оказалась случайно. Таланта лишена не была, но таланта расхожего, дюжинного, читательского. Как мы видели, она догадывалась об этом — и не писательством больше всего дорожила в жизни и в себе. Молодец.

Случай попадания в литературу по стечению обстоятельств вообще совсем нередкий. Громадная слава случайных писателей — тоже не диковинка. Вот ближайшие примеры: Бабель, Ильф и Петров, Сэлинджер. Общая черта названных — ошеломление, испытанное ими от первого успеха, и последующие трудности с сочинительством: скудная плодovitость (а плодovitость, по Чехову, тоже свидетельство таланта), писание по инерции, с самоповторами, или полное молчание.

Один из героев Набокова говорит о писателе, изобретавшем сюжеты: будь я писателем, я обошелся бы памятью. Это случай Бабеля. Бабель не лукавил, когда признавался, что ничего выдумать не может. Воображение его было бедно, мысль незначительна. Оттого и написал мало. Рассказал всё, что знал, всё, что видел и прочувствовал; газетные очерки («Конармию») умудрился представить как художественную вещь. Его пресловутая метафоричность, среди прочего, делает еще вот что: скрывает авторскую беспомощность и растерянность. Ее художественность сомнительна. Литературное значение Бабеля бесконечно преувеличено.

Ильф и Петров были мальчишками, когда (по подсказке Катаева) начали свою эпопею про Остапа Бендера. Им нужен был временный заработок, а тут, при тогдашнем состоянии литературы, дело представлялось верным. Сочиняли они так,

как капустаники сочиняют: резвились, хохотали до упаду, себя развлекали. Скажи им в этот момент, что они советскую классику пишут, они бы перо выронили. Что и произошло в дальнейшем.

Сэлинджер тоже писателем не родился. Как в случае с Саган, молодой человек чувствовал острую потребность выговориться, выговорился как пришлось, навзрыд, монологом, — и замолчал. В этом его молчании — та же мудрость, что и в самооценке Саган: он понял, что не писательство для него главное. Не сказал, как Саган, что знает место своего главного шедевра, но, конечно, понял, где это место. Человек он умный.

Без Бабея, Ильфа и Петрова, Сэлинджера, а теперь и Саган — истории литературы не напишешь. Они — писатели, и даже не из самых плохих (потому что настали времена, когда только ленивый себя писателем не считает и книг не издает; и когда можно прослыть писателем, вообще ничего не написав). Но есть нечто важное, отличающее писателя подлинного от писателя случайного: определим это словом графомания, давно нуждающемуся в реабилитации. Пушкин и Толстой были графоманами: писали всегда, понять что-то в жизни и в себе могли только одним способом: написав.

Писатель истинный не может не писать — и в значительной степени приносит этой мании в жертву другие радости жизни. Он — именно графоман, он одержим этим таинственным зудом: видеть мир через слово; он в писательстве не отличает поражения от победы; он живет писательством (не заработками от своих писаний). В его ревнивом отношении к слову есть нечто болезненное — и нечто пророческое.

Вот этому-то (расплывчатому, но вместе с тем и ясному) критерию Саган не удовлетворяет. И результат — налицо: мы ее прочли, и даже не без интереса прочли, спасибо. Но могли бы и не прочесть. Мы можем жить без ее сочинений.

УДАЧЛИВЫЙ БЕДНЯГА ПЕТЕН

С историей шутки плохи. Злая тётка. Сама она — насмешница, а вместе с тем никогда не шутит; или, если угодно, шутит всегда зло. Всегда, по слову поэта, выбирает «из многих — наихудший вариант». Для нее он — единственно возможный. Это для нас остается вопрос: «А что, если б...», она же свое слово сказала. Прошлого — не переиграть, не переадресовать. В сущности, она высмеивает каждого, включая и тех, кого не замечает. И мало над кем она насмеялась злее, чем над Анри-Филиппом Петеном.

Этого человека судили за измену родине и приговорили к смертной казни в возрасте 89 лет. Ему повезло: он дожил до 95-и. Казнен не был. Заменили приговор, помиловали от высочайших щедрот. И еще раз повезло: он вошел в историю Франции, Европы, человечества, хоть поначалу и не помышлял об этом. Родился в крестьянской семье. В 58 лет дослужился до генерала, чин получил в виду предстоящей пенсии. Но ему помешали: родина-мать позвала. И он не уклонился от грозного зова. Стал сперва героем, а затем злодеем. Спросите себя: хотите ли вы войти в историю — хотя бы и как злодей? Если по совести, окажется, что — хотите. С тех пор, как Бог умер, это — самая лакомая морковка. Тем более, что злодей и герой часто сливаются в одном лице. Кем был Наполеон, угробивший больше французов, чем немцы в ходе второй мировой войны? А ведь он — гордость Франции, одна из вершин человечества. «Мы все глядим в Наполеоны...» (ровнехонько с тех пор, как атеистами стали; люди действительно верующие — не глядели и не глядят). Будем помнить его всегда, всегда. До тех пор, пока мы — люди.

Тут, кстати, и другой вопрос возникает: что такое родина? Кто вправе говорить и судить от ее имени? Кто ее воплощает? Наполеон — точно воплощал Францию. Петен, если приглядеться, тоже.

Он родился 24 апреля 1856 года в захолустном Коши-а-ля-Туре на севере Франции. Посещал деревенскую начальную школу, религиозную среднюю школу. Окончил знаменитую

военную академию Сен-Сир, младшим офицером начал службу в Альпийском полку, делил с солдатами все тяготы их походной жизни. Его громадная популярность среди солдат в последующие годы берет свое начало здесь: в умении спать, завернувшись в шинель; в понимании нужд рядового.

К началу первой мировой войны Петену 58 лет. Он не воевал, был теоретиком, профессором военной школы. Плохим теоретиком в глазах генерального штаба и командования: отстаивал преимущества войны осмотрительной, даже оборонительной, в то время как наверху господствовал лозунг «только вперед»: наступление — любой ценой. Петен же говорил: наступать стоит лишь при несомненном перевесе в огневой мощи.

На фронте Петен успешно командовал бригадой, корпусом, армией. В 1916 году именно ему поручили остановить немецкое наступление под Верденом. Ситуация, в сущности, была безнадежной (а прорыв под Верденом означал бы падение Парижа), но Петен справился: искусно и быстро реорганизовал фронт и тыл, наладил коммуникации, главное же — воодушевил солдат. Принял на себя главный удар — и выдержал. Славу победителя частично разделил с Робером-Жоржем Нивелем. Славу героя и популярность среди солдат — не делил ни с кем. Десять месяцев «верденской мясорубки» (самой страшной битвы Великой войны) принято считать победой французов. К декабрю они вернулись на февральские позиции, принудив обороняться немцев. С обеих сторон полегло около миллиона человек.

В мае 1917 года, после провала затеянного Нивелем наступления французов и бунтов на фронтах, Петен был назначен главнокомандующим французской армии. Он без жестокости восстановил порядок, в 1918 году возглавлял армию в общем наступлении союзников под началом генералиссимуса Фердинанда Фоша (француза), а в ноябре 1918 года становится маршалом Франции, вице-президентом верховного совета обороны и генеральным инспектором армии. Дивная карьера! Особенно потому, что на дворе победа. Герою 62 года. Пора на покой. Теперь-то уж наверняка. Или нет?

Нет. Началась вторая мировая война (ее иные называют в наши дни продолжением первой), и Франции вновь потребовались мудрость и мужество Петена. В 1940-м, в возрасте 84 лет (!), он становится сперва заместителем главы пра-

вительства, а затем и премьер-министром Франции. Но Франция уже не та, и положение на фронте опять безнадежное — как под Верденом в 1916-м, только еще хуже. Война проиграна в одночасье. Не помог и Петен.

Отвлечемся на минуту. Прибегнем к запретному приему. Была ли Франция уж настолько слабее нацистской Германии, как об этом свидетельствует ее моментальное поражение? В этом позволительно усомниться. Окажись у нее такой козырь, как Ламанш у британцев, или «необъятные просторы родины», как у большевиков, она, пожалуй, могла бы собраться с духом и бороться — даже против нацистов, а ведь нацисты, назовем вещи своими именами, дали лучшего солдата за всю историю европейских войн.

Да, пожалуй, и могла бы, но на деле — в реальном историческом пространстве — не смогла. История преподносит нам на блюде другое: позор Франции, разгромленной одним ударом, воевать — не хотевшей. Франции, армия которой не знала себе равной на континенте в течение двухсот с лишним лет, с окончания Тридцатилетней войны по 1871 год. Кто и когда сомневался в мужестве французов? А тут — пожалуйста! Стране точно сухожилие подрезали.

Петен, «герой Вердена», законный глава правительства, вынужден заключить с нацистами перемирие. Палата депутатов и сенат, собравшиеся в Виши, ратифицируют сделку, а Петену передают полномочия почти диктаторские (что — обычное дело во время войны; она ведь не кончена, перемирие — еще не капитуляция).

Вот тут и начинается самое интересное.

После заключения перемирия Франция воевать не хотела, это очевидно. Вся Франция? Почти вся. Подавляющее большинство французов. Фашизм, взятый в широком смысле, пустил корни повсюду в Европе, исключая Британию. Французам он не претил. Немцы были всё-таки не гунны; чужие — но не совсем чужие (вспомним: во время Великой французской революции был курьезный момент, когда французы надумали провозгласить себя германцами). Не скифы с их «азиатской рожей», не большевики с их экспроприацией. Страна, на две трети захваченная, номинально оставалась независимой — и даже воюющей. Не воевала же — не только потому, что не могла, а потому что воевать было не за что.

Естественнее было сотрудничать с победителями, которые вот-вот должны были стать хозяевами всей Европы. В 1940-м не верилось, что нацизму можно противостоять. Соппротивление казалось безумием.

Французское Соппротивление возникло как движение безнадежное и отчаянное. Смотришь на имена и видишь: в маки уходили преимущественно иностранцы. Очень заметны евреи и русские. Французы составляли зыбкое большинство — да и то лишь потому, что дело происходило всё же во Франции. Безумцем, одержимым — казался поначалу и де Голль. Интересов Франции, ее обывательского большинства, он не выражал. Эти интересы выражал законный глава правительства, маршал Петен. По сей день живы люди, благодарные ему, считающие, что обязаны ему жизнью. Если угодно, он взял на себя позор французов: их минутное (говоря исторически) малодушие. Взял на себя грехи сограждан — чтобы в итоге сделаться козлом отпущения, игрушкой в руках узурпатора. Ибо де Голль — это невозможно отрицать — был стопроцентным самозванцем, а затем узурпатором. Крупномасштабный герой — в отличие от героя в законе — всегда немножко узурпатор. Взять хоть того же Наполеона...

Петен был героем в законе. До расправы над ним, до самого 1945 года и даже после — в глазах многих французских патриотов он, странно вымолвить, тоже был представителем сопротивления, а не соперником де Голля: делал другое дело, удерживал остаток Франции от разорения, готовил ее к национальному подъему, добивался освобождения военнопленных. По отношению к нацистам — двурушничал: открыто поддакивал на словах, уступал на деле (на него возлагают ответственность за вывоз в концлагеря французских евреев), скрытно — помогал сражающейся стороне. В 1942 году тайно распорядился слить оставшиеся в Северной Африке французские войска с войсками высадившихся союзников. Попытался установить контакты с Лондоном, оставался в прекрасных отношениях с американским послом в Виши (к моменту победы Петен был для американцев более удобным партнером, чем де Голль). Советовал Франко не пропускать через территорию Испании нацистские войска — и Франко принял совет. В 1942 году Петен практически устранился от власти, передав все полномочия своему заместителю Пьеру

Лавалю, навязанному нацистами. Почему он вовсе не ушел в отставку? Потому что верил, что помогает Франции. Только его авторитет (так думал не он один) удерживал нацистов от того, чтобы захватить оставшуюся треть страны. Серьезного сопротивления они бы не встретили.

Верно, Петен был, что называется, реакционером по натуре и воспитанию. На вишистской территории евреи оказались гражданами второго сорта, для них были закрыты многие профессии (что всё же — не концлагеря и газовые камеры). Петен запретил масонские ложи; в нескончаемых речах, прямо брежневских по продолжительности, проповедовал «труд, семью и отечество» — притом, что сам женился в 62 года, а в женщине, не исключая и жены, умел видеть только случайную любовницу. В нравственном отношении физиономия вырисовывается не симпатичная, но это было лицо тогдашней Франции. Де Голль же — Францией не был.

Лозунг де Голля был куда более выигрышным: «восстановление целостности и национального величия Франции». Величия! В начале 1940-х это казалось бредом сумасшедшего. Но одержимый — удачлив. Самозванный вождь Сопротивления сумел добиться от британцев и американцев, чтобы его отряды в 1945 году первыми вошли в Париж — и сегодня любой молодой француз скажет вам, что Франция сама себя освободила; это записано в учебниках. Франция — в числе держав-победительниц, в Совете безопасности. Не Петену ли она этим обязана, хотя бы отчасти? Будь она захвачена вся; будь вместо перемирия — капитуляция, — что пришлось бы сегодня писать и читать по-французски в школьных учебниках истории?

Всякий узурпатор первым делом расправляется с носителем законной власти, если тот уцелел. Де Голль не был исключением. Суд на Петеном нельзя квалифицировать иначе как расправу. За что старика судили? Окажись в начале войны на его месте де Голль (ученик Петена по Сен-Сиру), он — если бы только сумел — сделал бы в точности то же самое; выбора не было. Петен был прав перед французами, а неправ — перед историей, перед тёткой Клио, которая сама всегда неправа. За эту неправоту Петена и судили.

Продедаем еще раз запрещенную операцию, спросим: «а что, если б...». Примем схему Шимона Визентала, основателя Еврейского документационного центра в Вене. Если бы нацисты

победили в европейском масштабе, полагал этот исследователь нацистских преступлений, историки в итоге оправдали бы это объединение Европы, назвали бы его прогрессивным. В самом деле, разве нацисты не несли с собою прогресс? Посмотрите, какую промышленность они создали! Какую науку! Какие дороги! (Немецкое слово автобан не случайно вошло в современный русский язык — при повальном и рабском заимствовании из языка английского.) Самая идея скоростного шоссе, сейчас столь обычного, возникла при Гитлере. Что до нравственных преступлений нацистов, то поначалу их бы, естественно, замазывали перед студентами, а затем, по мере неизбежного смягчения бесчеловечного победоносного режима, профессора стали бы именовать их перегибами — совершенно как иные понимают преступления большевиков при Сталине: «дело-то было правое, а в методах, да, были допущены отдельные ошибки».

Случись так, Петен был бы сейчас только героем, ничуть не злодеем (каковым он не был ни на минуту). Но место его в истории было бы меньше (для де Голля — места вообще не нашлось бы), а главное — мы бы не увидели еще раз на примере этого удачливого бедняги хищную ухмылку той самой тётки Клио, которая, может, не всегда наихудший вариант выбирает, но зато уж буквально из любого обывателя умеет, если ей вздумается, сделать и героя, и злодея.

АНТОН ГОРЬКИЙ: ТАРАРАБУМБИЯ

Чехов. Чем не повод для раздумий? Горьких, в сущности, раздумий. Вот уж кто был настоящий Горький, без псевдонимов. Тот, под псевдонимом, если приглядеться, был скорее Сладкий: сон золотой, etc. И сам сладкий, и подсластили его изрядно. Пересластили.

Впрочем, пересластили всех, кем завершался XIX век, да так основательно, что по сей день человеческих лиц не разглядеть. Всех, кого заметили. И вышла чепуха да бронзовые монументы. Младшим читателям — уже и вглядываться неинтересно; старшие — в большей или меньшей степени больны этим литературным диабетом.

Что можно понять в Чехове, если не видеть, что он — квинтэссенция русского провинциализма конца XIX века? Россия начинала XIX век как страна европейская, а кончила в какой-то Азиопе. Александр I — и Николай II; война против Наполеона — и русско-японская война; Пушкин — и Фофанов, — от таких сопоставлений дух захватывает. Дуэль — и та выродилась в фарс на глазах одного поколения (скажем, при жизни Петра Андреевича Вяземского, который до 1878 года дожил). Куда всё подевалось? Как корова языком слизала. А почему — нечего и спрашивать. Чтобы быть частью Европы и мира, не стоит поворачиваться к ним задом. Изоляционизм бесплоден. При нем Пушкины не родятся. А если родятся, то становятся Чеховыми...

Скука, словно патина, покрывает его бронзовый монумент: придает ему цену, облагораживает, даже — оживляет: прежде-то скуку никто не поэтизировал.

Вытащенный за шиворот в Европу (Сувориным), Чехов скучал в Италии, проехался по ней галопом, без интереса; европейцу Мережковскому за ним не поспеть было; в Венеции зевал: «на травке бы полежать»... Как ясновидец может скучать? Как он может изображать скуку, как сам может быть скучен?

Да очень просто. Достаточно родиться в русской провинции в 1860 году. До конца дней не отделаешься. Скука и в твоей крови шелестит, и твоим шедевре гнездо свивает.

Умер Чехов мальчишкой, если смотреть с наших теперешних достижений, с наших седин и залысин. «Врачу! Исцелися сам» — увы, пенициллина не дождался. До Флеминга четверть века оставалась.

На Западе — Чехова считают *драматургом*, автором пьес. Сперва смешно, а потом привыкаешь, да и видишь: не далеко от истины. «Зойны и мира» не написал; написал «Три года» (какое скучное, какое некоммерческое название! Вот если бы «Три мушкетера»; но нет, исторические романы он крепко презирал). Всю жизнь мечтал о настоящем, большом полотне, но чего-то не хватило. Может, любви. Или скука перевесила.

А начинал-то как?! Не смешно, скорее скучно. Карикатурист, сатирик, бытописатель.

Ну, и Лика Мизинова. Чтобы понять писателя (и человека вообще, исключая полных мыслителей), нужно его главную любовную историю проследить.

ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЕСЯ ЛИКОВАНИЕ

Красивая? No comments. О вкусах не спорят. На снимках выглядит, как бы это выразиться поделикатнее, напористой. Можно и так сказать: нет некрасивых женщин. Главного, что в ней было, не увидим и не услышим. Могила взяла.

Чехов — тот определенно был красив. И уже знаменит. Едва ли не самый читаемый автор в России (вместе с Потапенко). Уже напечатал «Степь», уже съездил на Сахалин. На дворе 1894-й. Ему тридцать четыре, ей — на десять лет меньше. Разница подходящая. Их любовной истории — пять лет, и эта история пришла, так сказать, к точке перегиба: нужно или венчаться, или прощаться. Лика хотела первого, Антоша выбрал второе. На женитьбу не решился. Предпочел постыльную свободу. Любил подругу меньше, чем она его. В ту силу любил, которая была ему отпущена; то есть слабо.

В отместку Лика завела роман с Игнатием Потапенко (1856-1929; в ту пору сказали бы: с Потапенком, что и правильнее), другом Чехова и тоже писателем (читали такого?),

поехала с ним в Париж и родила от него дочь Кристину (она умерла ребенком), но любовника не удержала: Потапенко был женат. Да и неизвестно, хотела ли удержать.

Вручить возлюбленную другу — в этом есть горький шарм. У кого нет такого опыта, тот жизни не знает. Или не вручить, а подсунуть? И — не возлюбленную, а бывшую возлюбленную?

С другой стороны, сюжет как сюжет. Старый, как мир; только что не гомеровский. Перед нами — его стомиллионная вариация. Хотя и то сказать: все сюжеты стары, их, очищенных от частностей, — кот наплакал как мало. Карло Гоцци 36 знал. Шиллер проверял его — и тридцати не насчитал. Поверим скорее ему; хоть и романтик, а немец; человек основательный. Новейшие ученые изыскания говорят, что агрегированных сюжетов всего 7. Но это уж очень агрегированных. И там, где любовь, их должно быть четное число. Одно ясно: сюжетов, подсказанных нашей человеческой жизнью, мало. Чаще всего только задник меняется. Ну, и важные мелочи. Запахи, например. У каждой эпохи они свои. И у каждого человека. Решимся сказать: искусство, движимое любовью (если угодно: полом; и Фрейд тут ни при чем, за тысячи лет до него знали; прав Розанов: Бог там, где пол) подстилают в качестве фона успехи гигиены. Мыло, шампунь, дезодоранты всякие. Гвиневра бы нам не понравилась, не говоря уж о Елене Прекрасной. Мы бы к ним приблизиться затруднились.

Авантюристка Лика не поссорила Чехова с Потапенком. У Чехова был выход. В какой мере он страдал (вполне спокоен, понятно, остаться не мог), мы не узнаем, даже перечитав «Чайку». Скрытен был. На то и писатель. Но, написав, выговорив наболевшее, — облегчение, нужно думать, испытал громадное. Слово — сильное болеутоляющее. Душа певца, согласно излитая, разрешена от всех его скорбей.

Лидия Стахиевна Мизинова была педагогом и певицей-любительницей. И вообще всем понемножку. Отчество, не подумайте дурного, греческое, даже евангельское, апостольское. В 1889-м ей было девятнадцать, одна преподавала в той же школе, что и Маша Чехова, и подружилась с сестрой драматурга.

Свое художественное *открытие* в прозе Чехов сделал как раз в это время: отказался от героя, внутренне копирующего автора. Так его стиль был понят критикой. Точнее, впрочем, было

бы сказать другое: автор у Чехова растворен во всех героях сразу. Авторские мысли высказывают герои, от которых хорошего не ждешь. Самые отрицательные, вроде доктора Громова из «Палаты номер 6». Речевая бытописательная характеристика, привычная для тех, кто ходил в народ, в главных вещах сведена к минимуму. Чехову — не до народа. Он небу вызов бросает. Если у тебя все (ну, почти все) герои говорят на один голос, значит, ты мучаешься неразрешимыми вопросами и Бога ими искушаешь...

Критика заметила необычное: Григорович, Короленко, Плещеев. Молодой человек стоял на пороге всероссийской славы.

Лица была сероглазая темная блондинка. Волосы пепельные, густые и пышные. Формы — тоже пышные, не по теперешним вкусам. Худоба в ту пору считалась почти уродством (Лаптев из повести «Три года», герой почти положительный, прямо извиняется перед другом за худобу своей возлюбленной). Подобно девушке Маргарите Александровне, другой героине Чехова («Володя большой и Володя маленький»), Лица «курила папиросы без передышки, даже на сильном морозе», что в ту пору было дерзостью и бросалось в глаза, но вместе с тем отвечало парижской моде.

Сохранились письма, 67 штук — от Чехова к ней, 98 — от нее к нему. Тон в них лишен патетики: оба корреспондента — в игривых полумасках, о любви говорится полусуто, скорее прикровенно, чем откровенно, но вместе с тем и достаточно внятно. Эрос тут, но за кадром. Слышен плеск его крыльев.

В 1890-м (год поездки на Сахалин) Чехов в первый раз собрался жениться на Лице, да передумал. Что его остановило? Странно вымолвить: ее привлекательность! Она была слишком хороша, слишком женственна, слишком многим нравилась.

Тут сразу два соображения возникают. Во-первых, что Чехов не был тщеславен. Именно тщеславные люди хотят жениться непременно на красивых (лучший например — Пушкин; лучший антипример — Боратынский). А второе и главное — тут присутствует страх перед непременно изменами и муками ревности. Невозможно сомневаться: не двоеженец Панауров чеховский, а сам Чехов убежден, что «нет женщины, которая бы не изменяла». Чехов осторожничает, не хочет этой боли. Знает, что ревность — худшее из нравственных мучений.

И не только мук ревности боится, а — насмешки. И не насмешки вообще (хотя «насмешка недостойных над достойным» в монологе Гамлета выставлена как самое страшное в этой жизни), а насмешки над обманутым супругом. Эта насмешка, в самом деле, особенная; страшнее нет. Снимается только кровью. (Над Медеей не посмеешься. Над Пушкиным тоже. А повернись дело иначе, смеялись бы.) Ну, а поскольку капелька тщеславия непременно есть в каждом из нас, то про Чехова так нужно сказать: тщеславие не перевесило в нем страха.

Но не занятно ли? Привлекательность — главный недостаток женщины! Нет, не занятно. И очень неново. «Сердце красавицы склонно к измене». Только совсем юные влюбленные думают, что их случай — особый, что их любовь заслоняет собою весь опыт человечества. А Чехов немолод (34!), женщин у него был вагон и маленькая тележка, и он убежден, что измена в браке — норма, а не аномалия. Лучше уж вообще без семьи, думает Чехов. Боли меньше. С Ликой — вся голова уйдет в ревность. Не до работы будет. Ведь она — магнит: даже на улице все мужчины провожают ее взглядом.

Итак, в 1990-м Чехов поматросил и бросил. А Лике — нужно жить, она женщина. Об этом почему-то забывают, когда говорят, что роман с пейзажистом-передвижником Левитаном она завела только в отместку — и чтобы подразнить Чехова. Нет, тут сложнее и проще. Иные чеховские герои (тот же Громов) словно бы и вообще с вожделением не знакомы, годами его не испытывают, живут себе поживают, горя не знают. Лика была не из них. Сильно ли была влюблена в Левитана или слабо, другой вопрос. Но была.

Подразнить как будто бы не удалось. Внешне Чехов и бровью не повел. Как всегда, отшутился. Но задет был. «Попрыгунья» — не самая удачная вещь Чехова, если не просто провал. Это лубок, карикатура, библейская притча. Всё слишком в лоб. Верно: литература всегда — сведение счетов (с людьми и Богом), но, пожалуй, не только оно, не к нему сводится; и — не по горячим следам, не в порыве обиды. Уж больно жалок и противен в «Попрыгунье» художник Рябовский со своим томным «я устал» и «ах, не мучайте меня!», да и попрыгунья Ольга Ивановна слишком смехотворна, а Дымов (чуть ли не единственный всерьез положительный герой Чехова) — голая схема, декорация, подпорка декорации.

Все живые узнали себя в карикатуре. Левитан не разговаривал с Чеховым три года. Лица отношений не разорвала. Она выжидала, все еще надеялась.

Между тем Чехов времени даром не терял. Поклонник хватало, выбор был широк. Предпочитал он скрытных, тех, кто готов довольствоваться малым, кто сознавал, что претендовать на него целиком — безумие; тех, кто будет хранить тайну. Скандалов не искал, «победами» не гордился — в отличие от Лики, связь с которой то и дело возобновлялась — то у него в Мелихове, то в ее московской квартире.

Связь с Потапенком начинается у Лики в 1893 году. Лица уже не ставит больше на Чехова, он же — попросту пристраивает ее: благословляет новый союз (в котором видит для себя освобождение), даже — в каком-то смысле сводит ее со своим другом. Медовый месяц Лики и Потапенка проходит у Чехова в Мелихове, где Лица и забеременела. Но при всем том Чехов и тут не вполне отпускает Лику, ему всё еще по временам нужны ее ласки, он явно намерен и дальше держать ее на длинном поводке. Тогда-то она и отправляется с Потапенком в Париж.

А переписка? Она продолжается и через границы — и всё в том же игривом ключе. Явственный сдвиг в отношениях приносят только роды. Лица рождает в Швейцарии, возвращается в Москву без копейки денег — и оказывается совсем одна. Потапенко вернулся к семье, Чехов (по-видимому) утратил к ней интерес.

Конец? Ничуть не бывало. В 1896 году Лица появляется в Мелихове как гостя Маши Чеховой, ее роман с писателем возобновляется, да так, что последующие месяцы были, пожалуй, лучшими в их странной совместности. Но — «к чему мне рай, которым грезят все?» Женитьба по-прежнему отталкивает Чехова. Постоянное присутствие женщины его тяготит. И, как всегда, ему мало одной женщины. Нет, лучше писательство и свобода. В Москве вот-вот будет поставлена «Чайка», в которой выведены Лица, Потапенко и его жена.

Как известно, в Александринском театре премьера «Чайки» провалилась с треском прямо-таки небывалым, а возродилась позже, в Художественном. Лица была на премьере. Пьеса не поссорила любовников и даже вопрос о женитьбе не сняла. Чехов всё еще обещал, Лица всё еще верила. Но — уже из последних сил. Очень скоро верить перестала — и сама

разорвала безнадежные отношения, теперь уже навсегда. Одно из писем подписывает: «дважды отвергнутая». Связь длилась восемь лет.

Ли́ка уезжает в Париж в надежде стать оперной певицей. Эта затея не удастся. Вообще эта женщина перепробовала многое, начинала как учительница, подвизалась актрисой и модисткой, работала секретаршей, но профессионалкой ни в чем не стала. Жизнь сердца перевесила. Любовников было слишком много. Это ведь не секрет, что профессионал всегда любит вполсердца (в лучшем случае).

Была замужем за постановщиком Александром Шёнбергом-Саниным. Чехова, кажется, всегда предпочитала всем и не разлюбила до конца дней. Пережила его на 33 года. Умерла в Париже в сталинском 1937 году. (Ольга Книппер, вдова Чехова, стала в 1937 году народной артисткой СССР.)

АНТОН-ГОРЕМЫКА

Могло ли дело обернуться иначе? Можно ли вообразить Чехова, женившегося по любви? Книппер — не в счет. В 1901-м Чехову нужна была уже не любовница, а сиделка.

Прошлое не терпит сослагательного наклонения. Но отчего не пофантазировать? Кроме привлекательности, у Ли́ки был еще один важный недостаток: она была слишком деятельна, слишком самостоятельна. В одном из писем Чехов говорит ей (разумеется, полушутя; но в каждой шутке есть доля шутки), что в ней живет громадный крокодил. Чехов мог уступить женщине менее привлекательной, менее деятельной, готовой пожертвовать своею индивидуальностью ради него, прощать ему много, включая и неверность. Мог уступить такой, которая не помешала бы ему быть писателем... Впрочем, это — уже полная фантазия. Невозможно вообразить себе брака, да еще счастливого, который не нанес бы урона музе. Гречанка ревнива. На непонимании этого повредились умнейшие, включая Пушкина. А кто сознательно предпочтет семейное счастье — ласкам музы? О таких мы еще не слышали.

Есть три типа любовников: Филемон, белый шейх и оппортунист. Филемон обожествляет свою Бавкиду, идеализирует ее — и опирается в ней на встречную идеализацию

его, Филемона. Он всем своим существом знает, что все прочие женщины — не вполне настоящие. Он верит, что по части интимных ласк получает больше всех на свете, и Бавкида никогда не может ему наскучить. Он никогда не прислушивается к сплетням, не хочет знать, что Бавкида говорит про него за глаза. Он умирает с Бавкидой в один день. (Кажется, ближайшим примером может служить художник Александр Бенуа.) Феллиниевский белый шейх пасет свой гарем, не требуя от наложниц абсолютной верности. Так ему легче. Верность женская, как и мужская, кажется ему суеверием. Соперники выносятся за скобки. Дело не в них, а в наслаждениях, и тут он готов делиться. Филемон ему совершенно непонятен. Шейх никогда не удовлетворится одной женщиной, пусть самой прекрасной, самой любящей. (Стендаль говорил, что итальянец предпочтет смерть обязательству навсегда связать себя с одной-единственной женщиной.) Он хороший любовник — этим и держит нескольких женщин на длинном поводке. Знает цену наслаждениям не только грубым и непосредственным. Завтрак с возлюбленной дает ему часто не меньше, чем ночь любви. (В качестве примера подойдут многие — ну, хоть Пастернак.)

Оппортуниста отличает короткое дыхание. «Любить? Но кого же? На время — не стоит труда...». Белый шейх для него — почти то же, что верный супруг-рогоносец. Острое, подлинное наслаждение дают ему только недолгие, мимолетные связи, тут же и кончающиеся. Так называемое «обладание», так называемые «победы». Брюсовские «припадания на ложе». На смену чувственному взрыву у него быстро приходит скука. Как у Набокова: «Киприда пришла и ушла». Он быстро устает в обществе женщины (как Рябовский-Левитан в «Попрыгунье»), в том числе и в постели. Он коллекционер наслаждений, как оба Володи в «Володе большом и Володе маленьком», где любовь выражается у героя словом *тарарабумбия*. Тарарабумбия — вот всё, что оппортунист может сказать влюбленной в него женщине сразу после «победы» — в ответ на ее униженную просьбу: «Скажите хоть слово!». (Тип оппортуниста хорошо представлен французским романом.)

Ни один тип любовника в жизни не осуществляется в чистом, беспримесном виде. Не осуществился и в Чехове. Но, кажется, Чехов вообще ближе всего к оппортунисту и лишь с Ликой — чуть-чуть становится шейхом. Половое влечение у него

вызывали новизна, приключение, авантюра, и держалось оно недолго. Нужны были специальные обстоятельства, чтобы подогреть его чувственность, чтобы она воскресала по отношению к прежней подруге; нужна была Лика, притом непременно с ее любовниками.

Но про оппортуниста и то нужно сказать, что он, при всех его «победах», сильно недобирает на этой ниве. Не добирает — и знает об этом, чувствует свою ущербность. Грэм Грин острил, что только любовь сообщает половой близости полноту. А Чехов — любить по-настоящему не может, от стандартного не-разумного эгоизма отказаться не в силах. Не понимает счастья жертвенного, с самоотречением и трудом не ради себя. Не готов поступиться своими интересами (особенно возвышенными, творческими). К чему? Наслаждение мимолетно — и тотчас плавно переходит в скуку. Любовная жажда легко и быстро удовлетворяется, как обычная жажда стаканом воды. Воды вокруг — сколько угодно, колодец не иссякнет, если здоровье не подведет (а подведет — не до того будет). Назовем это прямо: оппортунист так и не понимает главного в интимной близости, не вполне способен к ней, неполноценен.

Эта близость (то, что на современном русском языке называют сексом) так и осталась для Чехова тарарабумбией, обманом, горькой иллюзией, злой шуткой Бога над человеком. Тарарабумбия — главная тема *большого* Чехова. Он занят только ею, он непрерывно сетует на несовершенство мира по этому главному пункту: на то, что любовь — обман, чреватый скукой. До толстовского решения (Левин) — не возвышается, не слышит его (а мог бы услышать; «Анна Каренина» закончена, когда ему было семнадцать лет). И приходится допустить, что прославленный таганрогский москвич так и остался провинциальным, несостоятельным, скучным любовником.

ЗАБОЛОЦКИЙ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Он считал себя «вторым поэтом XX века» (после Пастернака — и без оглядки на то, что век еще не закончен), — с этим мало кто сейчас согласится. Он считал лучшей похвалой себе слова Самуила Галкина, назвавшего его стихи «таинственными», — в этом с Заболоцким не поспоришь. В стихах — он не похож ни на кого, включая себя самого (поздний не похож на раннего). В жизни — он был отрицанием стереотипа поэта. И там, и тут присутствуют загадка и тайна, к пониманию которых можно разве что приблизиться...

Николай Алексеевич Заболотский (sic!) родился 24 апреля 1903 года в селе Сернур Уржумского уезда; по его собственным словам, «семилетним ребенком выбрал себе профессию», и ради этого, закончив школу, приехал в Петроград, тогдашнюю культурную столицу, по стечению обстоятельств — в самый год и месяц гибели Блока и Гумилева: в августе 1921-го.

Эпоха в эстетике стояла вот такая: Виктор Шкловский утверждал, что не-странное лежит за пределами художественного восприятия; композитор Сергей Прокофьев не понимал, «как можно любить Моцарта с его простыми гармониями»; поздний Пастернак о себе тогдашнем скажет: «Слух у меня был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими вокруг. Все нормально сказанное отскакивало от меня...» Мог ли начинающий поэт, не слишком образованный деревенский юноша, противиться поветрию, не воспринять императива эпохи? Не мог — или, во всяком случае, не смог.

И грянул на весь оглушительный зал:

— Покойник из царского дома бежал!

Покойник по улицам гордо идет,

его постояльцы ведут под уздцы;

он голосом трубным молитву поет

и руки ломает назерх.

Он — в медных очках, перепончатых рамах,

переполнен до горла подземной водой,

над ним деревянные птицы со стуком
смыкают на створках крыла.
А кругом — громобой, цилиндров бряцанье
и курчавое небо, а тут —
городская коробка с расстегнутой дверью
и за стеклышком — розмарин.

Сейчас эти стихи вызывают лишь оторопь, и не свою неожиданностью (какое там!), а только беспомощностью, неумелостью, растерянностью их даровитого автора.

Столбцы вышли в 1929 году. К этому времени Заболоцкий окончил ленинградский педагогический институт и прошел армию (служил около года, на Выборгской стороне). Обэриу (объединение *едиственно* реального искусства; берем это имя в написании и расшифровке Хармса) тоже было позади. Входили в него, кроме Заболоцкого, Даниил Хармс, Александр Введенский и Игорь Бахтерев (Николай Олейников только *примыкал*, Константин Вагинов скорее числился, чем участвовал). Заболоцкий формально вышел из Обэриу в конце 1928 года. Почему? Потому что добился признания. (Объединения, группы, *-измы*, всегда — лишь трамплин, лишь средство обратить на себя внимание.) Он был талантливее других участников и пробился быстрее. Борис Эйхенбаум называет его многообещающим явлением в русской поэзии. Юрий Тынянов дарит ему экземпляр *Архаистов и новаторов* с надписью: «Первому поэту наших дней» (!). Но Пастернак — на посланные ему *Столбцы* никак не откликается. Тут и видны границы завоеванного Заболоцким признания: оно — в узком кругу знатоков, одном из нескольких кругов тогдашней литературной жизни.

С Обэриу Заболоцкий расходится еще и потому, что посерезвел.

Когда минует день, и освещенье
Природа выбирает не сама,
Осенних рощ большие помещенья
Стоят на воздухе как чистые дома.
В них ястребы живут, вороны в них ночуют,
И облака вверху, как призраки, кочуют...

Эти органные звуки прозвучали в 1932 году. Не то чтобы раньше поэт не был серьезен. Наоборот, серьезность была, притом несколько даже каменная. Всего за три года до этого он писал:

Один старик, сидя в овраге,
объясняет философию собаке;
другой, также царь и бог
земледельческих орудий,
у коровы щупал груди
и худые кости ног...

В 1929 году Заболоцкий предстает визионером, торопящим преобразование мира в утопию. Он серьезен в своем отношении к миру, но в фактуре стиха преобладает озорное, задиристос, игровое начало. В 1932-м — он уже ничего не торопит, он прямо преобразует мир средствами, отпущенными поэту.

Эпоха всеобщего ниспровергательства к 1932 году изжила себя, о революции (особенно в искусстве) говорят всё реже, в другом ключе, — и Заболоцкому оказывается не по пути с Хармсом и Введенским. Он повзрослел.

Кроме того, на дворе — сталинизм, крепчающий день ото дня.

* * *

Чтобы понять поэта, приходится вглядываться в его личную жизнь. До эпохи романтизма это было не обязательно. Можно читать Франсуа Вийона, не зная, что он был убийцей. Жизнь и творчество шли параллельно. Но вот является Байрон со своим Дон-Жуаном, а за ним Пушкин с Натальей Николаевной, и мы видим другую параллель: судьба строится как художественное произведение. У иных (например, у Максимилиана Волошина) — как главное произведение всей их жизни.

О любовных приключениях Заболоцкого почти ничего не известно. Мальчишкой (в Москве, где он начинал учиться) он был безответно влюблен в какую-то Иру — и «плакал» по ней (по его словам) еще в Питере. В 1921 году он пишет приятелю из Питера в Москву: в институте «бабья нет, да и не надо». Затем — лагуна на целых девять лет, возникающая

не без помощи тех, кто распоряжался и распоряжается наследием поэта. Не исключено, что в этот период Заболоцкий относился к женщинам — в духе времени и его круга — чисто потребительски. Обэриуты были шалуны и циники. Хармс не пропускал ни одной юбки; Олейников говорил: «женщина что курица; если однажды тебе принадлежала, то уж и дальше никогда не откажет». Он и Заболоцкий «ругали женщин яростно» (вспоминает Евгений Шварц; присутствовавший Хармс соглашался, но без ярости). Стало быть, опыт у Заболоцкого был — и, нужно полагать, сплошь негативный. Однако в 1930 году, к удивлению друзей, Заболоцкий женится — на выпускнице того же педагогического института Екатерине Васильевне Клыковой, тремя годами его моложе. Так началось его возвращение к основам. «Вера и упорство, труд и честность» — вот жизненное кредо вчерашнего озорника-обэриута из письма к невесте (1928). На этих принципах и закладывается его семья, да еще — на основе чисто крестьянского домостроя. Пылкой влюбленности не видим. Это был осмотрительный, хорошо рассчитанный шаг разумного эгоиста, согретый, конечно, каким-то взаимным влечением, но всё же в первую очередь — именно рассчитанный, расчетливый. Брак по своей природе — сделка, он всегда хоть чуть-чуть да по расчету совершается (даже когда главный элемент расчета — любовь). Заболоцкий знает это. Душу, главный свой капитал, он вкладывает в предприятие надежное. Семья должна была стать щитом от внешнего мира, всегда чуть-чуть враждебного художнику, да и человеку вообще, иногда же — и просто кровожадного. И Заболоцкий не промахнулся. В 1932 году он пишет тому же приятелю: «Я женат, и женат удачно».

Чудесный портрет Екатерины Васильевны сохранился в дневниках Евгения Шварца. «Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни» — такое не про каждую написано, да и Шварц — не каждый.

Характернейшие, между прочим, слова. Как они выражают эпоху! О женщине говорили не так, как о мужчине. Да и сейчас — можно ли сказать: «один из лучших мужчин»? Что это будет означать в устах мужчины или женщины? Екатерина Васильевна была стройна, застенчива, темноглаза, немногословна. Прямой красавицей ее не назвать (красоты ведь не душа ищет, а другое начало в человеке; вспомним, как по-разному женились Пушкин

и Боратынский). Будь Екатерина Васильевна красавицей, Шварц сказал бы: «одна из красивейших женщин»; будь она необычайно умна, отметил бы ум. Нет, она была женщина в своем традиционном предназначении: жена, мать, хозяйка. На ранних снимках она привлекательна и женственна. В ней угадывалась восточная, хочется сказать, половецкая примесь. С мужем держалась она едва ли не с робостью — и не вмешивалась в разговоры его шумных и веселых гостей-мужчин.

В жизни каждого человека есть, по меньшей мере, два события. В жизни Заболоцкого было еще два — *всего два* сверх минимума. Всем своим душевным строем он любил события отстранял, судьбы не искал, поглощен был исключительно жизнью. Оба добавочных события предстали перед ним как дикое недоразумения, как вырвавшийся наружу первозданный хаос, отрицающий космос, переворачивающий жизнь, лежащий за пределами постижимого. Оба раза он мог воскликнуть вслед за Гамлетом: «Это голос моей судьбы!»

Событием — первым из двух добавочных — могла стать для Заболоцкого, как и для всех в 1941 году, война, а стала неволя. Его забрали в 1938 году. Незачем говорить, что он был плотью от плоти и костью от кости советской власти, в народ и революцию верил всем сердцем, сам на свой лад делал революцию в литературе, а литературе принадлежал всецело. Даже его философские (натурфилософские) поиски, упорные, доморощенные, очень самостоятельные, целиком лежали в литературном русле. В стихах (!) он пишет о том, что животные тоже должны сподобиться свободы и равенства, — и очеловечиться. «В хлеву свободно пел осел, достигнув полного ума...» (Здесь он вторит Хлебникову: «Я вижу конские свободы и равноправие коров...») Волк-вегетарианец у него «печет хлеба». Тут и космогония: Циолковский с его светочеловечеством, и Николай Федоров с его «общим делом» и «воскрешением отцов», бессмертием и земным раем. Смерти нет — вот к чему приходит Заболоцкий, всю жизнь называвший себя «материалистом и монистом»; молекулы, составляющие тело, понесут душу дальше — в растениях, в животных... С такими-то мыслями он угодит сперва в тюрьму, а затем в лагеря вблизи Комсомольска-на-Амуре. Во время следствия его мучили. Он упирался, даже сопротивлялся, причем с таким бешенством, что в тюремную психушку был посажен, а этого у новых хозяев и бывалые большевики-подпольщики не часто достаивались...

В лагерях произошло неожиданное.

«Как это ни странно, но после того, как мы расстались, я почти не встречал людей, серьезно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир — это только маленький островок в океане равнодушных к искусству людей», — пишет он жене из ГУЛАГа в 1944 году.

Мы видели, что он уже сделал в своих стихах решительный поворот в сторону традиции. Новое открытие закрепило отход от ребяческих упражнений в слове, от «вешних дней лаборатории». Теперь он — всецело в русле традиции. Словесный изыск, которым он жил в молодости, потерял смысл. На «островке» поэту стало тесно. Стихи как таковые не могли уйти, в них была вся жизнь Заболоцкого, но его муза требовала разговора с человечеством, не довольствовалась обращением к горстке эстетов. И поэт предпочел поступиться игровым началом своей индивидуальности, решил довольствоваться малым, *сосредоточиться на несомненном*, — лишь бы не расставаться со стихами. Поэзию он любил больше славы, больше литературной игры.

Повороту к традиции способствовал и патриотический подъем военных лет. Ранний большевистский интернационализм слинял начисто. Нацисты оказываются в первую очередь немцами, советские люди — в первую очередь русскими. Заболоцкий, еще з/к, переосмысляет себя в русле этих настроений. Тут последовал еще один мощный толчок. В Западной Сибири, уже расконвоированный, поэт шел как-то через кладбище, и пожилая крестьянка, похоронившая последнего сына, следуя вековому обычаю, попросила его, прохожего каторжника (их в Сибири издавна называли *несчастными*), разделить с нею ее поминальный хлеб.

И как громом ударило
В душу его, и тотчас
Сотни труб закричали
И звезды посыпались с неба...

Хлебников с его будетлянством, Маркс, Циолковский, Николай Федоров — всё, чему верил поэт, — разом померкло перед незамысловатой, но *несомненной* правдой этой несчастной женщины.

Освободился Заболоцкий только в 1946 году, пересидев три года. Полному его освобождению помог перевод *Слова о полку Игореве*, начатый еще до посадки, а законченный (с разрешения начальства; до этого была специальная инструкция: следить, чтобы стихов он не писал) на поселениях в Западной Сибири, в Кулундинской степи, где поэт работал чертежником. Лагерное строительное управление *командирует* его в Москву — показывать свой труд. В Москве перевод одобрен. Бесправного, не реабилитированного, без прописки живущего у знакомых в Переделкине Заболоцкого навещает сам Фадеев — и находит его человеком «твердым и ясным». После этого судьба Заболоцкого идет только в гору. Сперва — переводы и свой огород (иначе не прокормиться), потом публикации, известность, восстановление в союзе писателей, реабилитация, почти слава, достаток, отдельная квартира в Москве, орден трудового красного знамени...

Прошлое было отмечено разом и молча, без деклараций: всё прошлое, а не только лагеря. Закрепляя разрыв с прошлым, поэт не сделал ни малейшей попытки вернуться в Ленинград, где уже не было ни Хармса (1905-42), ни Введенского (1904-41). Без них этот город словно бы перестал для него существовать.

В творческом отношении послелагерные годы были лучшими в жизни Заболоцкого. Прошлое было болезнью, чумой, случайно пощадившей жертву. Выздоровливающие — счастливейшие и добрейшие на свете люди (как отметил Аркадий Аверченко), их переполняет гораццианское довольство малым, они с жадностью вглядываются во всё окружающее, радуются солнцу и листве. Заболоцкий словно бы родился заново.

Петух запеваёт, светает, пора!
В лесу под ногами гора серебра.
Там черных деревьев стоят батальоны,
Там елки — как пики, как выстрелы — клены,
Их корни — как шкворни, сучки — как стропила,
Их ветры ласкают, им светят светила.

Эти стихи — переключка с тютчевскими *Листьями* («Мы, легкое племя, цветом и блестящим...») и страшным стихотворением Багрицкого «От черного хлеба и верной жены...». Романтизм предчувствующий (у первого) и романтизм разочарованный

(у второго) преодолены, на смену им у Заболоцкого является горацианство, восхищение миром божьим в его данности, в первую очередь — чудом традиционной русской просодии. Заболоцкий уяснил себе место поэзии в мире (для него она по-прежнему — всё, но в мире, теперь он знает это, есть и другое). Добавьте сюда общий для всех душевный подъем первых послевоенных лет, надежды на лучшее, и перерождение Заболоцкого станет понятнее.

Отметим одну деталь, на которую редко обращают внимание: во всех поздних стихах строка у Заболоцкого начинается с прописной, а не со строчной, как в ранних. Начальная прописная — поднимает, возвышает поэтическое слово, сообщает ему вескость, препятствует словоблудию. Прекрасное должно быть величаво. В этом важном пустячке — как и в обращении к подчеркнуто правильным метрам — поэт еще раз закрепляет свой разрыв с прошлым.

Являются стихи, дивные по своей прелести.

В этой роше березовой,
В стороне от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, —
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.

Пролетев над поляною
И людей увидав с высоты,
Избрала деревянную
Неприметную лудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человечье жильё,
Целомудренно-бедной заутреней
Встретить утро мое.

Скрупулезный, по-бухгалтерски педантичный (его облик и называют бухгалтерским), осмотрительный, преданный ремеслу не меньше, чем вдохновению, Заболоцкий говаривал, что во всей русской поэзии нет стихотворения с такой ритмической организацией, как это. Но тут он гордился

пустяком. Важнее другое: тут и в некоторых других поздних вещах Заболоцкий поднимается в первый ряд русских поэтов. Ни об одной из ранних вещей этого сказать нельзя. Талант в них виден несомненный, но широты и, главное, высоты — не хватает. Высоте и взятыя было неоткуда при установке на шкловское остранение. Оно подразумевает третий штиль.

Сам Заболоцкий от своих ранних стихов не отказался — не мог отказаться, ибо он-то их прожил, они был частью его жизни, на них покоилась его ранняя известность. Отказаться — значило уж точно сердце пополам разорвать. Лучшей своей вещью он иногда называл футурологическую поэму *Безумный волк* (1931), безумную и пустую по мысли, слабую по исполнению и — поддающуюся пересказу (вернейший признак того, что это — не стихи). В ней — всё та же мысль: животные должны очеловечиться, «достигнув полного ума»; волк, вошедший в разум, печет хлебы.

Такие вещи не жизнеспособны не потому, что нарисованная Заболоцким картина вздорна. Любой вздор может стать чудесной поэзией. Ошибка в другом: поэт вообще не должен и не может быть мыслителем (а оригинальный мыслитель — поэтом). Сфера мысли как таковой — философия и наука. (То, что мы в быту называем мыслью, с настоящей мыслью — в троюродном родстве.) Поэтическая мысль неотделима от звука и ритма, без них она не живет. Вот этой-то мыслью бедна поэма — и беден весь ранний Заболоцкий.

* * *

К 1953 году все проклятья жизни Заболоцкого (как могло казаться) преодолены. Он реабилитирован, признан, окружен вниманием, впервые в жизни не стеснен в деньгах (за переводы хорошо платят). У него — отдельная квартира в Москве, с холодильником, сервизом, картинами. Он очень по-крестьянски любит и ценит вещи. К нему возвращается отмеченный многими «талант важности», умение держать себя с невозмутимым достоинством (Шварц называет это «пароксизмом самоуважения»). Но судьба напоминает о себе: в 1955 году у Заболоцкого случается первый инфаркт. И если бы только инфаркт!

«Николай Александрович еще полеживал, но решил встать к обеду. Екатерина Васильевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа. Опустилась на колени и обула его. И с какой легкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражен красотой, мягкостью и женственностью движения...», — пишет Евгений Шварц.

Заболоцкий сознавал, что рядом с ним — «одна из лучших женщин»:

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Он и другое понимал: что обходится с нею жестко, деспотично, чуть ли не как с прислугой. Стихотворение Жена написано в 1948 году.

Откинув со лба шевелюру,
Он хмуро сидит у окна.
В зеленую рюмку микстуру
Ему наливает жена.

Как робко, как пристально-нежно
Болезненный светится взгляд,
Как эти кудряшки потешно
На тощей головке висят!

С утра он все пишет да пишет,
В неведомый труд погружен.
Она еле ходит, чуть дышит,
Лишь только бы здравствовал он.

А скрипнет под ней половица,
Он брови взметнет, — и тотчас
Готова она провалиться
От взгляда пронзительных глаз.

Так кто же ты, гений вселенной?
Подумай: ни Гете, ни Дант
Не знали любви столь смиренной,
Столь трепетной веры в талант.

О чем ты скребешь на бумаге?
Зачем ты так вечно сердит?
Что ищешь, копаясь во мраке
Своих неудач и обид?

Но коль ты хлопчешь на деле
О благе, о счастье людей,
Как мог ты не видеть доселе
Сокровища жизни своей?

Это — хотя бы отчасти о себе сказано и о Екатерине Васильевне.

Другие тоже чуяли неладное. Давид Самойлов писал о Заболоцком: «И то, что он мучает близких, / А нежность дарует стихам...» Потом, правда, отказался от этих строк, поменял их на: «Что это сокрыто от близких / И редко открыто стихам...» — чуть ли не специально для сборника воспоминаний о Заболоцком, потому что внутренняя цензура — семья — этих строк никогда бы не пропустила. Наталья Роскина, о которой речь дальше, так прокомментировала первый вариант: «Ужасная чепуха, что поэт может что-то даровать стихам. Банально напоминать, что именно в стихах личность поэта предстает в том виде, который мы обязаны считать истинным. Прочее — не то, что ложно или несущественно — просто есть прочее...».

Образчик новейшего российского остроумия — «когда в семье один муж, он вырастает эгоистом» — вполне приложим к Заболоцкому. Точнее, он подходил бы к Заболоцкому, не кончись дело трагедией.

Не станем и упрощать ситуацию. В следующем отрывке — гораздо больше личного, чем в стихотворении *Жена*:

Но когда серебристые пряди
Над твоим засверкают виском,
Разорву пополам я тетради
И с последним расстанусь стихом.

На минуту — жена, друг, с которым прошла жизнь, оказывается важнее поэзии. Не станем выяснять, какое место в иерархии высказываний поэта принадлежит этому порыву. Достаточно того, что он был. Много ли в мировой поэзии подобных примеров?

Екатерина Васильевна без всякого преувеличения была ангелом-хранителем поэта. Без мысли о ней он бы в лагерях просто не выжил. Но что за жизнь ей выпала! После ареста мужа она зарабатывала вязаньем; в блокадном 1942 году в квартиру Шварца, где она жила, попал снаряд, она и дети уцелели только чудом; в эвакуации ей тоже досталось сполна. Но едва только мужа отпустили на поселения в Кулундинской степи, как она, бросив все (и вопреки его совету), кинулась к нему с детьми, Никитой и Наташей. Вот уж, действительно, есть женщины в русских селеньях... «Всегда ровная, в горе и в радости...». Не жаловалась, добавим, никогда. Так — в воспоминаниях Шварца. Но сохранилось письмо Заболоцкого к ней из Кулунды, помеченное 24 мая 1944 года: «Ты пишешь: “Жизнь прошла мимо...”. Нет, это неверно. Когда ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах, ты поймешь, что даром прошли эти годы...»

И она «очнулась, отдохнула», — чтобы сделаться уже окончательной вестницей судьбы Заболоцкого. Второе из непредусмотренных событий в жизни поэта оказалось пострашнее лагерей. В 1956 году, в возрасте 48 лет, когда дети были выращены, Екатерина Васильевна ушла от Заболоцкого к Василию Гроссману... Та самая Екатерина Васильевна, которая была тише воды ниже травы. Даже при покупке простыней у нее был совещательный голос. Даже подросток Никита, подражая отцу, «разговаривал с матерью по-мужски», как хозяин.

Как реагировал Заболоцкий? «Если бы она проглотила автобус, — пишет Николай Чуковский, — он удивился бы меньше...»

За удивлением последовал ужас. Семья была для Заболоцкого религией, столпом мироздания. Он вообще всегда и всюду вел себя как очень религиозный человек, даром что имени божьего знать не хотел. Гумилев рядом с ним — ханжа, Ахматова — язычница, если не более того («Все мы бражники здесь, блудницы...»). И когда гром грянул, он не просто удивился сверх меры, он утратил стержень, вокруг которого строилась его жизнь и вращалась вселенная.

В известной мере это была расплата — за те годы, когда он делил этические ценности с обэриутами и «яростно поносил женщин». (Утверждал, среди прочего, что «Женщина не может

любить цветы!» Слышали такое?) По словам литературоведа Лидии Гинзбург, обыватели, выведенные в стихах и прозе Обэриу, подменяют ценность мерзостью, — но мы добавим: нельзя не видеть, что в этих героях-обывателях было очень много автобиографического. Женя, Заболоцкий выстроил для себя схему: все женщины — плохи, зато одна — более чем хороша, идеальна. Все яйца были положены в одну корзину.

Но что же случилось с Екатериной Васильевной? Уйти от мужа, едва оправившегося от инфаркта? От человека, которому вся жизнь была посвящена? Что же, она в одночасье перестала быть «лучшей из женщин», «ангелом-хранителем»? Нет, конечно. Просто в сердечных делах она была еще большим младенцем, чем Заболоцкий, и попала в первую же ловушку. Не ведала, что творила.

Как Заболоцкий был сокрушен, беспомощен и жалок, понять можно из блистательных воспоминаний Наталии Роскиной. Точнее, без них вообще *нельзя* понять Заболоцкого. Несчастье прибило его к этой одинокой, молодой (28 лет) и очень умной женщине. О любви не было и речи. Заболоцкий хранил телефон *какой-то* женщины, ценившей его стихи, — вот всё, что он о ней знал; она же с юности знала и твердила на память его *Столбцы*, читала их дочери. Ошарашенный несчастьем, Заболоцкий позвонил Роскиной. Ухаживать он не умел до смешного: повез в ресторан, усиленно потчевал и почти ничего не мог сказать. Назавтра — то же. И прямо здесь, в ресторане — на второй день знакомства — он сделал ей предложение. Как? Написал на клочке бумаги: «Я п. В. б. м. ж.»! Вымолвить не решился. Роскина, всё сразу понявшая (и тоже, конечно, не влюбленная), сперва отказывалась, но потом уступила — из уважения к поэту, из жалости к раздавленному человеку, находившемуся между жизнью и смертью.

Роскина обладала литературным даром, была умна, наблюдательна и честна. Ни малейшего оппортунизма в ее поступке усмотреть нельзя. Здесь поразительно вот что: Гроссман приходился ей чем-то вроде приемного отца, опекал ее, еще девчонку, когда отец Роскиной (друг Гроссмана) погиб на фронте. Этим определилось ее отношение к Клыковой. «Екатерина Васильевна заочно стала мне симпатична — это чувство сохранилось навсегда», — пишет она.

Ничего у Заболоцкого с Роскиной не вышло и не могло выйти. Вышел дивный цикл лирических стихов, *Последняя любовь*, единственный в творчестве Заболоцкого любовный цикл, один из самых шемящих и мучительных в русской поэзии. И вышел второй инфаркт, который и свел поэта в могилу. Чрезвычайно характерно, что героиня цикла едина в двух лицах: одни стихотворения посвящены Роскиной, другие — Клыковой, и ей — большая часть. Он именно полюбил ее с новой силой после ее ухода; переживал за нее; понял, что и на него ложится доля ответственности за постигшую его катастрофу. Точнее, за катастрофу, постигшую их обоих. Ибо она — *вернулась*. Тот же Николай Чуковский, близко наблюдавший весь этот обыкновенный ужас, пишет: «Он пережил уход Катерины Васильевны. Но пережить ее возвращения он не мог... Сердце его не выдержало, и его свалил инфаркт...».

Когда вглядываешься во всё это, за Екатерину Васильевну становится страшно не меньше, чем за поэта. Винить ее не в чем. Гроссман, опытный серцеед, не мог не понимать, что делает. Для Роскиной эта история была пусть и мучительным, но всё же приключением. Для Клыковой, как и для Заболоцкого, произошло землетрясение, разлом тектонической плиты. Екатерина Васильевна прожила еще долгие годы — и, надо полагать, до конца пребывала в оцепенении от случившегося.

После второго инфаркта Заболоцкий протянул еще около полутора месяцев. Прежде он всю жизнь твердил, что «смерти нет, есть только превращения метаморфозы», что «если человек — часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен» (Николай Чуковский). Теперь он знал, что умирает — и умирает навсегда. И принялся составлять свое поэтическое завещание, безжалостно отметая целые пласты написанного. Получилось 170 стихотворений и три поэмы.

Он умер 14 октября 1958 года. Но злоключения его не кончились. Раньше замалчивались его лагеря; теперь — усилиями вдовы и сына — еще и семейная катастрофа. Никита Николаевич и Екатерина Васильевна взялись управлять наследием поэта: на долгие десятилетия монополизировали дело переиздания и комментирования его сочинений. Результат оказался опустошительным. Настоящего, полного

и выверенного Заболоцкого нет и поныне. Стихи его ни разу не были выстроены правильно. Примечания к ним — анекдотичны.

Довершили несчастье доценты от литературоведения. Еще в юности Заболоцкий подружился с Николаем Леонидовичем Степановым, который и стал его первым *исследователем*: добросовестно и плоско, чудовишным языком, пересказывал содержание стихов поэта. Над этими сочинениями просто оторопь берет — так они беспомощны и никудышны. На Западе тоже не отставали. Там, по обыкновению, было написано много благоглупостей. Особенно отличился в 1965 году парижанин Эммануэл Рейс. Рядом с этим рекордсменом глупости и безвкусицы даже Степанов выглядит светилом мысли.

* * *

По сей день о Заболоцком спорят; решают, какой из двух лучше: поздний или ранний. Всегда будут те, кому в стихах всего дороже мальчишеская прыть и ветер перемен, и те, кто кратчайший (и кротчайший) путь к сердцу — и от сердца — видит в следовании традиции. В пользу первых можно сказать, что жестокость (непременная спутница революций) — сестра красоты. В пользу вторых есть два довода. В середине XX века философы произнесли, наконец, то, что в древности само собою разумелось: традиция умнее разума. (Аристотель вообще утверждал, что основа искусства — подражание.) И второе, тоже самоочевидное: отказ от традиции снимает вопрос о мастерстве, устраняет критерий; а что такое искусство без мастерства? Чем восхищаться будем? Удивление, на которое делают ставку теперешние стяжатели славы, — низшее из чувств, принимающих участие в восприятии искусства. На нем далеко не уедешь.

Спор о Заболоцком продолжается, но одно всё-таки ясно: рядом с «большой четверкой» ему (как и Ходасевичу) не стоять. Его столетие не стало национальным торжеством, не сопровождалось пышными игрищами, вакханалией славословия, как дни Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой. И это — к лучшему. Тех, возведенных на пьедестал, в юбилейные годы просто жалко было — так густо шла вместе с чествованием профанация. Заболоцкого в значительной степени забыли — и тем пощадили. К счастью для него и тех, кто любит его стихи.

ТРОЦКИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Двадцатый век немыслим без имени Троцкого совершенно так же, как XVII век — без имени Петра I. Сын зажиточного крестьянина с украинского хутора Яновка стал одной из эмблем столетия тоталитаризма, эпохи идеологий, эры неслыханного умственного и нравственного порабощения человека. Жестокий вождь и трагический герой, демагог и идеалист в одном лице, Троцкий, как застарелая рана, всё еще напоминает о себе, всё еще ноет к плохой погоде. Свидетельство тому — мировое троцкистское движение, пусть маргинальное, но по сей день тлеющее и не желающее умирать. В одном только Лондоне — целых шестнадцать троцкистских партий. Трудно поверить, что все они всерьез грезят диктатурой пролетариата и мировой революцией. Личность вождя — вот что является ключевым моментом движения.

Страстный, самоотверженный борец за кривду, имевшую неотразимо-пленительное обличье последней сияющей правды, — в этом, согласимся, есть нечто, останавливающее мысль. А какие личные качества! Какая захватывающая судьба! Победоносный стратег, выигравший безнадежную войну, — и неприкаянный изгнанник, не находящий себе места под солнцем, пугало левых правительств Европы, скиталец, знающий, что по пятам идут убийцы-фанатики. Апостол нового мира, переживший крушение своей истинной веры — и не заметивший этого крушения.

В сущности, загадочного в Троцком не больше, чем в других сложных и противоречивых фигурах прошлого и настоящего. Белых пятен в его биографии почти нет. О нем написаны тысячи книг (больше, чем о Сталине, но много меньше, чем о Черчилле). Каждый его шаг истолкован. Есть, конечно, и вопросы. Например, такой: почему, обладая всеми правами и безусловным преимуществом, он практически без борьбы уступил Сталину освободившийся после смерти Ленина пост вождя?

Чуть-чуть загадочно и происхождение псевдонима, ставшего фамилией. По-немецки *der Trotz* — вызов, неповиновение.

С вызова отцу начинается революционная деятельность юного Льва Бронштейна: он не мог видеть, как отец заставляет батрачку ждать, словно подаяния, заработанных ею денег. Есть и другая легенда: о том, что молодому революционеру, угодившему в одесскую тюрьму, крепко запомнился надзиратель тюрьмы по фамилии Троцкий.

Разумеется, интерес к Троцкому подогревается еще и национальным вопросом. В наши дни два национализма — русский и еврейский — энергично пытаются всучить Троцкого один другому, — и оба не могут преуспеть в этом. Русский национализм в тупике, потому что Троцкий вышел не из Бунда, а из русского рабочего движения, из самых недр русской революции. Родным языком считал русский, родиной — Россию, детей (Седовых) воспитывал как русских, сионизм обличал не хуже советской черной сотни — и даже самое существование еврейского народа согласился, скрепя сердце, признать только после прихода к власти нацистов в Германии. Троцкий собирался осчастливить всё человечество — и только к нему, к человечеству в целом, себя и относил, — на деле же оказался готовой исторической иллюстрацией к известному афоризму Сталина: «Великий человек принадлежит тому народу, которому служит». От еврейства Троцкий отрекся демонстративно и публично, сказав еврейской делегации в Кремле: «Я не еврей, я интернационалист».

Но и еврейский национализм — тоже в тупике. Русским Троцкого не сделаешь, что-то мешает. Верно: первым в истории народом, пусть спяну и из-под палки, но всё же провозгласившим интернационализм своей идеологией, были русские. (Как это у Евтушенки? «О, русский мой народ! Я знаю — ты по существу интернационален».) Ранние большевики убеждали себя, что этнос и раса для них не существенны. Теоретически, так сказать, верили в это. И других убедили. Других теоретиков. На короткое время, до начала войны с нацистской Германией, слова *русский* и *интернационалист* стали синонимами в глазах левых интеллектуалов Европы. В 1930-е годы в самом сердце России русских людей сажали в тюрьму «за русопятство». За слово *жид* сажали. Совершенно, кстати сказать, безобидное слово; в большинстве языков *еврей* производят от этого корня — и беды в том не видят. Это — как договориться. В позднесоветский период слово *еврей* стало совершенно таким же ругательством, как слово *жид*.

Но теоретическая схема не прижилась, живая жизнь ее опровергла. Потребовалась диалектическая поправка. Тут опять помог Сталин: объяснил, что «русские — первые среди равных» в семье народов СССР. Под русскими он имел в виду, собственно, великороссов, московитов — безусловно самый молодой народ в этой семье. С 1940-х годов московский интернационализм становился фиговым листком великорусского шовинизма. Правда, Троцкий до этого не дожил, но тенденции наметились еще при нем. Ни разу в жизни Троцкий не назвал себя русским, более того: противореча себе, уклонялся от предложенного Лениным повышения под тем предлогом, что *еврею* не стоит занимать ключевые правительственные посты, — иначе говоря, помнил, что *родился* евреем. Верил, судя по всему, что евреи перестали быть народом как раз в годы его возмужания.

Наконец, сионизм готов видеть в Троцком *русского еврея*, то есть признать, что в деятельности этого *русского* революционера и вождя *русской* революции сказались какие-то черты еврейского характера и даже отразились элементы еврейской культуры. О последней Троцкий, разумеется, лишь смутно слышал из своего русского далека, но слышал как раз потому, что помнил о своем происхождении.

Однако по большому счету национальный момент в оценке Троцкого совершенно неважен. Важно и интересно другое: как умственная игра вызвала к жизни этот протуберанец жертвенного и беззаветного служения кривде, — как Троцкий и ему подобные (говоря словами Заболоцкого) «таких могил нагородили, каких не видел человек». Важно взглянуть в этот спектакль, в ходе которого история высмеяла горделивую человеческую мысль, нашу историософию, нашу страсть к исторической режиссуре. И еще: как крохотный логический просчет кабинетного ученого обернулся миллионами жертв и неслыханной жестокостью.

Речь — странно вымолвить — идет о безобидной, казалось бы, формуле ценообразования в политэкономии.

Нам говорят, что в цену изделия непременно входит стоимость материала и затраченный на изготовление труд. В самом деле, разве можно в этом усомниться? Дерево нужно спилить, металл — выплавить, ткань вы ткать, — а истраченную на это мускульную энергию рабочего компенсировать едой и отдыхом.

Но если так, — спросил себя первый на свете социалист, — то справедливо ли, что создатели ценностей живут впроголодь, а бездельники купаются в роскоши? Не ясно ли, с кем правда? кто — избранный народ, а кто — отбросы человечества? — «На баррикады буржуйам нет пошады!»

А вот что первый социалист проглядел. Во-первых, материал может обесцениться полностью, до нуля, и даже стать отрицательной ценностью. Чтобы избавиться, скажем, от старого дивана (отвезти его на свалку), вы должны затратить труд, время и деньги; но старый холодильник на свалку не отвезешь, в развитых странах это запрещено, — чтобы избавиться от него приходится платить почти половину стоимости нового. Во-вторых и в главных, человек может трудиться в поте лица своего — и не создавать ничего полезного, более того: создавать нечто безусловно вредное для него и всех других людей. Не только человеческая, любая жизнь — избыточна: это характернейшая особенность всего живого. И не всякая деятельность вознаграждается, какая-то пропадает втуне. Вознаграждается другое. Какая-нибудь гениальная догадка, в том числе и случайная, может в одночасье сделать человека богачом и осчастливить миллионы людей, — в частности, освободить их от тяжелого физического труда. Творческая мысль — вот что забыто в формуле ценообразования. И не просто забыто, а в принципе не может быть в ней учтено, разве что вероятностным образом, резко снижающим ценность формулы. Мысль, вдохновение, талант, удача, спрос, мода — да мало ли еще что из вещей существенно нематериальных, — вот главное в ценообразовании. Оказалось, что сам по себе, без этих пустячков, ручной физический труд — не стоит *ничего*. А если сегодняшние разработки физиков (по управляемой термоядерной реакции) увенчаются успехом, он вообще отойдет в прошлое.

Разумеется, сто лет назад нельзя было и вообразить, что многомиллионную армию голодных и обездоленных пролетариев так быстро сменит и вытеснит армия белых воротничков. Даже не творческая мысль, а расхожее знание, едва причесанная информация, — вот основной продукт и товар нашего времени, который ценится выше мускульных усилий. Народная мудрость высмеивает «перенос порток с гвозда на гвоздок», но именно

за это, за простые манипуляции со сведениями, за перераспределение информации, мы сегодня платим больше, чем за хлеб насущный. А сколько людей кормятся этим!

Невозможно отрицать, что Троцкий был наблюдательным человеком. За границей он оказался в 1929 году — в самый год начала Великой депрессии. Пролетариат еще оставался реальностью — и какой! Безработные тысячами стояли в очередях за тарелкой супа по обе стороны Атлантики. Но перерождение общества под влиянием науки уже угадывалось. Незаметное обывателю, оно должно было попасть в поле зрения мыслителя. Что пролетариат может уйти и вскоре уйдет с исторической сцены, — эта мысль даже не посещает Троцкого. Марксистская догма полностью застилает ему взор.

Заметим, к слову, чья ошибка эту догму подпирает. Прочно забытый факт состоит в том, что овеществленный труд в формуле ценообразования — ошибка не Маркса, а Адама Смита. Мы давно не перечитывали автора *Богатства народов*. Именно хваленый провозвестник свободного предпринимательства был тем кабинетным ученым, к которому — через эту злосчастную формулу — восходит научный социализм. А значит, косвенно, и большевизм с Гулагом, и национал-социализм с Освенцимом.

Вторая ошибка Троцкого — второй пример его слепоты — непонимание природы созданного им и Лениным государства. Он не увидел, как на другой день после революции правое стало левым, а левое правым, не заметил исчезновения свобод — и исчезновения самого народа, не то что гипотетического (теоретического) сознательного пролетариата, которого в природе вообще никогда не наблюдалось, если не приравнивать зависть к сознательности. За считанные месяцы до своего убийства, в апреле 1940 года, Троцкий пишет из Мексики открытое *Письмо советским рабочим* (!) — с призывами: «Долой Каина Сталина и его камарилью! Долой хищную бюрократию! Да здравствует мировая социалистическая революция!» Не правда ли, дух захватывает? В сороковом году — когда в СССР сажали за обмолвку, за опечатку, за опоздание на работу. Когда отец доносил на сына, сын — на отца. Когда человеческий материал был раздавлен до атомарного состояния. А терминология какова? Зачем большевику библейский Каин? Имя, кстати, работает

плохо, для лозунга не годится, отклика в сердцах не находит. Каин — фигура невнятная (не то, что Иуда). Братоубийца — вот всё что про него известно. Выходит, что Сталин — всё-таки брат Троцкому, только ослепленный эгоизмом. Но народ, которого нет, со страху и по темноте своей даже этой ассоциации не услышал бы, дойди до него *Письмо*. Не до кого письму было доходить. Что оно не дошло, и говорить нечего.

Что же осталось от этого поразительного человека — и осталось ли что-либо? Конечно, тотчас напрашивается вывод, что остался урок: не обожествляй человеческую мысль, не сотвори себе кумира, — урок, кстати, вполне библейский. Самое стройное творение нашего разума хоть в чем-нибудь да неполно, поддаётся улучшению и уточнению, нуждается в пересмотре. Уточнением управляет культурная *эволюция*, а ее русло образуется традицией. У процесса уточнения нет и не может быть конца, ибо совершенство недостижимо. Совершенство — умственная фигура, эволюционный рычаг вида homo sapiens, побуждающий нас действовать, дразнящий видением следующей, более высокой — сверхчеловеческой — ступени бытия. (Ту же догадку можно сформулировать и в религиозных терминах.) Но человечество (пока оно человечество) не может избавиться от конфликтов, горя и несправедливостей. Панацея отсутствует. Единственно правильного учения нет.

Второй урок: не торопи будущего — и не решай завтрашних проблем сегодня. Именно идея светлого будущего порождает кошмарное настоящее. Прилагая этот урок к нашим дням, можно допустить, что наибольшую опасность для человечества представляют сегодня даже не фундаменталисты (они, слава Богу, смотрят в прошлое), а радетели чистоты окружающей среды, зеленые, во главе с Greenpeace'ом и защитниками животных. Именно они — сегодняшние футуристы в прямом (и страшном) смысле этого слова. Подобно социалистам былых идиллических времен, они спекулируют на нашем прекраснодушии, на идее, по видимости самой благородной, простой, как лозунг, и обращенной к сердцу каждого, на деле же — бесчеловечной. Те спрашивали: разве не следует облегчить жизнь труженику, который нас кормит? Эти спрашивают: разве не следует сохранить природу для наших внуков? — Кто тут возразит, кто не расчувствуется! Но, во-первых, недобросовестно

превращать борьбу за светлое будущее в профессию и статью дохода, во-вторых, будущее лучше оставить тем, *кто будет*. Общество постоянно перерождается. У наших внуков окажутся средства, которые нам и не снились. Будут у них и непостижимые для нас проблемы. Что бы сказали Троцкий и другие защитники трудящихся, узнав, что самая шумная баррикада в конце XX и в начале XXI столетий будет разделять не богатых и бедных, а гомосексуалистов и гетеросексуалистов?

Осталась, конечно, и знаменитая формула Ленина: «иудушка Троцкий», в сущности, решившая судьбу Троцкого. Про Иудушку Головлева и роман Щедрина рабочие и крестьяне не слышали, но намек поняли сразу. Это понимание немедленно вскрыло сущность нового режима, его страшную народность, — ведь и Сталин признавал, что «антисемитизм — международный язык фашизма». Ни одна из мыслей Троцкого, ни одно из его дел не показали такой живучести, как этот образчик находчивости Ленина. Советской России нет, а *иудушка* — тут как тут.

Осталась легенда о поразительном ораторе, способном заморозить толпу — и превратить скопище дезертиров в боеспособную армию.

Еще — осталась память о паническом страхе, который внушало имя Троцкого в сталинские годы. Лучший пример — эпизод с переименованием центрального универмага в Ленинграде. В проекте он назывался ЛДТ, Ленинградский дом торговли, но был спешно, чуть ли не за день до открытия, переименован в ДЛТ, в нелепый Дом *ленинградской* торговли, потому что в сокращении кому-то почудился акроним страшного имени Льва Давидовича Троцкого.

Еще остался — ернический плод интеллигентского черного юмора, шуточка: «Жора, поддержи мой ледоруб...» И всё.

Но нет, пожалуй, есть и еще кое-что.

«На Принкипо хорошо работать с пером в руках, особенно осенью и зимою, когда остров совсем пустеет, и в парке появляются вальдшнепы. Здесь нет не только театров, но и кинематографов. Езда на автомобиле запрещена. Много ли таких мест на свете? У нас в доме нет телефона. Ослиный крик успокоительно действует на нервы. Что Принкипо есть остров, этого нельзя забыть ни на минуту, ибо море под окном,

и от моря нельзя скрыться ни в одной точке острова. В десяти метрах от каменного забора мы ловим рыбу, в пятидесяти метрах — омаров. Целыми неделями море спокойно, как озеро...»

Это не Паустовский, это Троцкий: дневниковая запись, сделанная 15 июля 1933 года, за два дня до отъезда из Турции во Францию.

«Не надо, однако, думать, что мы ограничивались сетями. Нет, мы прибегали ко всем приемам ловли, которые обещали добычу. На крючки мы ловили больших рыб, до 10 кило весу. Когда я тянул из воды невидимого зверя, который то покорно следовал, то неистово упирался, Хараламбос глядел на меня, не спуская глаз, в которых не оставалось и оттенка почтительности: не без основания опасался он, что я дам драгоценной добыче сорваться... При каждом моем неловком движении он рычал на меня свирепо и угрожающе. Когда рыба становилась, наконец, видна в прекрасной своей прозрачности в воде, Хараламбос шептал мне предостерегающе: «Буюк, мусье» (большой). На что я отвечал задыхаясь: «Буюк, Хараламбос». У борта лодки мы подхватывали добычу небольшой сеткою. И вот уже великолепное чудовище, отливающее всеми красками радуги, потрясает лодку ударами сопротивления и отчаяния. На радости мы съедали по апельсину, и на языке, которого никто не понимает, кроме нас, и который мы сами понимаем только наполовину, мы делимся пережитыми впечатлениями...»

Чем не Хемингуэй?.. Описание острова Принкипо в Мраморном море, где турецкое правительство разрешило Троцкому поселиться после его высылки из СССР, — чудесный по языку и картинам очерк, живой человеческий документ, в контексте русской культуры ничуть не устаревший за истекшие десятилетия. Сравнивая его с политическими записями Троцкого той поры, мы чувствуем оторопь. Они — как из потустороннего мира. Кто такие все эти Радзутаки, Межлауки, Чубари, Фландены, Ракоши, Кашен-Блюмы, Болдвины, чьи слова и поступки Троцкий глубокомысленно разбирает в своем дневнике? Не стоит и память напрягать. Их — как не было. Но Троцкий был. Помимо большой кривды, казавшейся ослепительной правдой; помимо ошибок и уроков; помимо легенды, — он оставил еще несколько таких вот

поэтических дневниковых записей, хранящих дух эпохи и портрет стареющего, печального, одинокого человека, продолжающего упорно сражаться с теньями.

«Из тьмы веков на мировом погосте звучат лишь письма...»

Добавим еще один штрих к биографии этого эссеиста. Троцкого угораздило родиться... 7-го ноября. В самый день переворота, еще до выхода Ленина из подполья, он фактически взял власть в Петрограде в свои руки (так что штурм Зимнего практически не требовался), — а вот о своем дне рождения не вспомнил. Не вспомнил и в последующие годы: не до того было. Заметил он это совпадение только тогда, когда революция начала кристаллизоваться в бюрократию, а день переворота стали отмечать демонстрациями. Заметили и другие — и испугались. В утопической стране, стране лозунгов и символов, этот пустяк мог разрастись до масштаба политического рычага в борьбе за власть. «День седьмого ноября — троцкий день календаря»! Понятно, что Сталину необходимо было разделаться с Троцким во что бы то ни стало.

У ИСТОКОВ РОССИЙСКОГО ДИССИДЕНТСТВА (Об Анатолии Максимовиче Гольдберге, 1910-1982)

Когда в 1853 году первые оттиски лондонской Вольной русской типографии Герцена попали в Россию, они произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Чиновники и читатели были потрясены в равной мере. Печатный текст, не прошедший цензуры, выразивший независимое частное мнение, написанный человеком, недостижимым для репрессий со стороны власти и потому действительно свободным, — такой текст был чудом. В затхлой николаевской России точно форточку распахнули.

Через сто лет, в марте 1946 года, еще большее чудо разыгралось в радиоэфире. В большевистском Кремле и коммунальных трущобах российской интеллигенции люди совершенно одинаково обомлели, услышав русское слово на волнах Би-Би-Си. Чтобы понять, как много это значило, нужно вспомнить именно николаевскую Россию (и отдать себе отчет, что по сравнению со сталинским Советским Союзом она была страной либеральной и терпимой).

В течение многих лет, до самого появления русской печати на Западе, символом и воплощением живого русского слова из свободного мира был комментатор Би-Би-Си Анатолий Максимович Гольдберг. Внешняя канва его биографии укладывается в несколько строк. Он родился в 1910 году в Петербурге; гимназическое и университетское образование получил в Берлине (изучал языки и архитектуру); с 1939 года до дня своей смерти в 1982 году работал в Лондоне на Би-Би-Си (с марта 1946 года — на русской службе); до войны ездил в Китай (стажироваться в китайском языке) и в Москву (в качестве переводчика); после войны, в период оттепели, тоже несколько раз побывал в Москве. Был женат, детей не имел. Вот и всё.

Миллионы людей не сразу находят свое призвание; тысячи в первой половине века бежали сперва от большевиков, а затем от нацистов; многие из беженцев осели в Великобритании; десятки работали на Би-Би-Си, — но здесь кончается типичное и начинается особенное. Из всех сотрудников русской службы легендой стал только он, Анатолий Максимович.

Как и почему это произошло? Что отличало этого человека от прочих людей — талантливых, думающих, страстных? Прежде, чем попытаться предложить ответ, взгляды попристальнее в судьбу и наследие Гольдберга, набросаем его портрет. Сделать это непросто: главный труд жизни этого человека неосязаем и не документирован. Не осталось ни автографов, ни текстов его радиобесед. Архивные записи голоса, которому целых 36 лет с замиранием сердца внимали во всех уголках Советского Союза, можно пересчитать по пальцам. Объясняется это отчасти техническими трудностями. В конце сороковых записывать можно было только на пластинку, что делалось нечасто. До этого — и вовсе не записывали. Но и с появлением студийных магнитофонов мало что изменилось: Гольдберг не помышлял о посмертной славе. Памятник ему — в сердцах его слушателей, девять десятых которых — уже за Флегетоном.

Лондонский, а в прошлом израильский журналист Альфред Портер с 1950-х годов слушал Гольдберга в Литве, где он вырос, а в 1970-е годы сам оказался коллегой Гольдберга на Би-Би-Си. Вот как он описывает свою первую встречу с Гольдбергом:

«Через несколько дней, когда меня сделали *презентером*, то есть тем, кто ведет передачу и объявляет: “а сейчас у нашего микрофона...”, в студию вошел пожилой, очень интеллигентного вида господин, в сером в рябинку пиджаке и ленинской жилетке. На шее у него был галстук бабочкой. У человека были маленькие янтарно-карие глаза, смотревшие благожелательно и внимательно, большеватый еврейский нос и крутой высоченный лоб, плавно переходивший в лысину. Всем своим видом он напоминал доброго гнома. Если может быть на свете человек, служащий антиподом спортивно-мускулистым суперменам, это был именно он.

Пока шла какая-то пленка, человек сел напротив меня за стол. Черный дырчатый двусторонний микрофон, по форме похожий на голову змеи, висел между нами на трюсиках

и проводах, спускавшихся с потолка. Человек развязал свою бабочку, не спеша расстегнул ремень и верхние пуговицы ширинки своих штанов, положил перед собой на зеленое сукно стола секундомер и стал глубоко дышать и издавать некие (гм... гм...) звуки, сдержанно прочищая горло. Пленка кончилась, и мне дали зеленый свет — загорелась стоявшая на столе лампочка в толстом стеклянном колпачке.

— А сейчас, — взволнованно сказал я, — у микрофона наш обозреватель Анатолий Максимович Гольдберг.

И у меня мурашки поползли по спине.

Анатолий Максимович почему-то досадливо нахмурился, потом неспешным движением нажал на кнопку секундомера, и я услышал, но уже без воя и рева глушилок, этот знакомый до боли баритончик, с некой не то чтобы гнусавинкой, а скорее с каким-то теплым оттенком, как если бы голос этот исходил из инструмента, сработанного из дерева дорогой диковинной породы...

Кончив свое выступление последним назиданием, слова которого он произносил с дружелюбным, но неодобрительным нажимом, Анатолий Максимович остановил свой секундомер, тикавший, мне казалось, очень громко и слышно в ходе всей его беседы, и опять посмотрел на меня.

— Вы прослушали беседу нашего обозревателя Анатолия Максимовича Гольдберга, — сказал я. — А сейчас...

Гном опять слегка поморщился. Когда пошла пленка и можно было говорить в студии, он сказал:

— Альфред! Вас ведь, кажется, зовут Альфред?.. Я не обозреватель.

Я слегка опешил. Анатолий Максимович назидательно поднял палец и сказал:

— Я — *наблюдатель...*»

(Альфред Портер. Анатолий Максимович. Газета *Вести*, Тель-Авив, 1998)

Этот фрагмент — быть может, лучшая опубликованная зарисовка Гольдберга. Немногие из его коллег взялись за перо, большинство из них писать не умело, но рассказы о нем передаются из уст в уста и давно вышли за пределы русской службы Би-Би-Си. Из них можно заключить, что ни с кем на службе Гольдберг не был по-настоящему близок. Объяснялось

это, вероятно, его природной сдержанностью, а если говорить о последних двух десятилетиях его жизни, то и возрастом (он был заметно старше большинства), главным же образом — отсутствием общей культурной базы с новыми эмигрантами. Увезенный из Петрограда в возрасте восьми лет, Гольдберг никогда не жил в Советском Союзе и не умел с полуслова понимать людей, вырвавшихся оттуда в 1970-е годы. Его принципы и политические убеждения были неблизки и непонятны тем, кто вырос в СССР. Весь тон и стиль его жизни был другой: серьезный и вдумчивый, чуждый ёрничеству и цинизму, (естественный для человека западного, не надломленного советской действительностью. Но доброжелателен, открыт и отзывчив Гольдберг был со всеми.

В целом из откликов сослуживцев встает облик привлекательнейшего, чистосердечного и чуть-чуть наивного человека. Бывший директор русской службы Питер Юделл, например, рассказывал, что Гольдберг любил общаться с коллегами, ненавязчиво и деликатно помогал им, не жалея для этого своего времени. Британцы мало знали тогда о Советском Союзе, не чувствовали насквозь фальшивой международной политики Кремля. Тут Гольдберг был для них первым наставником.

На службе Гольдберга любили, но над ним и подшучивали, к чему располагали его внешность и его простодушие. Внешность была очень выразительна: невысокого роста, лысый, в очках, с большим горбатым носом, он вел и держал себя, по воспоминаниям британцев, как типичный средневропейский еврей. С чувством юмора у него было всё в порядке, против добродушных шуток он не возражал. Британцы, например, обыгрывая звучание фамилии Гольдберга и намекая на его лысину, называли его *goldilocks*, златокудрым. А выходцы из СССР любили провоцировать его на споры политическими выпадами. Вот что вспоминает коллега Гольдберга, Леонид Владимиров:

«Я рассказал старый советский анекдот о том, что из трех качеств — ума, честности и партийности — Господь Бог разрешает человеку иметь только любые два. Если ты честный и умный, то беспартийный, если умный и партийный — значит, нечестный, а если честный и партийный — то дурак.

Гольдберг промолчал. Потом, когда коллеги ушли, он вежливо сказал мне:

— Это заняло бы много времени, Леонид Владимирович, но я мог бы доказать, что можно быть и честным, и умным, и коммунистом...»

(Леонид Владимиров. *Жизнь номер два.* (Журнал *Время и мы*, 144,1999.)

Прежде, чем обсудить политические убеждения Гольдберга, добавим еще штрих к его портрету. Рассказывают, что в письменном столе у Анатолия Максимовича был ящик, где всегда валялось фунтов этак 250 наличных денег, часто скомканных и не разобранных в пачку. По тем временам это были значительные деньги, а держал он их затем, чтобы давать в долг молодым сотрудникам, часто нуждавшимся. Жалованье в ту пору на Би-Би-Си было джентльменское (и отношения между коллегами тоже джентльменские). Гольдберг не просто давал в долг: он давал — без отдачи, исходил из того, что назад своих денег не получит. Кажется, впрочем, что ему всегда возвращали, а он — возвращал эти деньги в тот же ящик, в ту же кассу, из которой снова выдавал другим. Все знали, что в трудную минуту к Анатолию Максимовичу можно обратиться, он не откажет. Ящик этот был вскрыт после смерти Гольдберга, — сумма в нем оказалась всё та же, неизменная...

Помимо человеческой щедрости во всём этом сказались принципы и убеждения: социальная справедливость была важным моментом в мировоззрении Гольдберга. Был он *социалистом* — в точном (и теперь забытом) смысле этого слова, то есть поборником сглаживания общественного неравенства в распределении благ. Для Гольдберга это не была вера в уравниловку, — нет, это был социализм в духе Чернышевского и других сентиментальных мыслителей второй половины XIX века. Гольдберг чувствовал себя словно бы в долгу перед слабыми, был готов поступиться своим достоянием в пользу тех, кому приходится хуже, а для себя не требовать ни льгот, ни преимуществ, которые могли бы причитаться ему как человеку образованному, талантливому или хотя бы просто пожилому.

Со всею наглядностью это проступило в дни его предсмертной болезни. Человек, проживший всю свою жизнь на Западе, известный в Великобритании радижурналист и полиглот,

профессионал, кавалер британского ордена, врученного ему самой королевой, он был (или, во всяком случае, мог быть) не беден, и совершенно точно мог себе позволить частную медицинскую страховку, дающую право на место в хорошей клинике. Но привилегии шли вразрез с его принципами, — и коллеги, навещавшие Гольдберга в 1982 году, после его второго инфаркта, с изумлением находили его в общей палате обычной государственной больницы. То же самое — и с жильем: собственности он не приобретал, жил с женой в квартире, полученной в порядке общей очереди и на общих основаниях, — говорят, на *девятнадцатом* этаже. В Великобритании в многоэтажных домах — да еще так высоко — живут только самые бедные. Хотя сведений об этом не сохранилось, но можно допустить, что он и благотворительностью занимался, — весь стиль его жизни, весь его облик с неизбежностью подводят к этой мысли.

Социалистом-либералом был он и в своей работе. Советский социальный эксперимент *в принципе* казался ему делом положительным, а сопутствующие эксперименту репрессии и культурное помрачение — случайными накладками, досадными побочными явлениями, не соприсродными строю. Идея была хороша, плохи — исполнители. Такой подход вызывал недоумение у его коллег, бежавших из СССР в 1970-е годы. Что до слушателей в СССР, то позиция Гольдберга была созвучна многим из них вплоть до первых заморозков после антисталинской оттепели, но стала встречать всё меньше понимания после 1960 года. Среди набиравших силу диссидентов копилось сперва неудовольствие, а затем и прямое раздражение против Гольдберга, которое по временам начинало переходить в бешенство. К середине 1970-х терпение в Советском Союзе истощилось у самых терпеливых. Жить под гнетом провалившейся утопии никто больше не хотел и не мог, — а из Лондона по-прежнему мягко журили Брежнева, призывали его остановить лагерные зверства, да сверх того приветствовали, хоть и с некоторыми оговорками, «мирные инициативы Кремля». Так под конец жизни Гольдберг оказался между двух лагерей: советское начальство, разумеется, поносило его как матерого шпиона, диссиденты же накупились на него как на человека, не понимающего ни природы режима, ни намерений советской верхушки, ни нужд России.

Когда высланный из СССР Солженицын добрался до Лондона, он захотел встретиться с тогдашним директором русской службы Би-Би-Си Джерри Манселлом, с руководителем европейской службы Александром Петровичем Ливеном и с редактором религиозной программы. Ни с кем из сотрудников Русской службы он встречаться не пожелал, включая и Гольдберга. В беседах с руководителями Всемирной службы Солженицын настойчиво повторял, что в радиовещании на Советский Союз следует проводить более жесткую линию по отношению к советской власти. Всем было ясно, что наступление ведется против Гольдберга.

Любопытно, что такое отношение вызывало у Гольдберга разве что горечь, но не озлобление. Мария Розанова, редактор парижского журнала *Синтаксис* и вдова писателя Андрея Синявского, рассказывает, что в мае 1981 года Гольдберг приехал в качестве корреспондента на президентские выборы в Париж и в один из вечеров пришел в гости к Синявскому. У того шла распря с Виктором Максимовым, редактором парижского журнала *Континент*. Синявский резко отозвался о Максимове. Гольдберг в ответ назвал Максимова «очень хорошим человеком». Максимов, по его словам, всего лишь учил его, Гольдберга, как делать радиопередачи, про что говорить, а про что — не говорить, тогда как Солженицын прямо потребовал, чтобы его с Би-Би-Си уволили.

Но диссиденты были неправы не только по форме. Именно либерализм Гольдберга, замешанный на принципиальном сочувствии идее социализма, позволил ему в 1950-е годы найти путь к сердцам потерянных, не понимавших себя и происходившего вокруг советских людей. Прямые, грубые антисоветские нападки, в которых, кстати, и недостатка не было, не встречали тогда поддержки почти ни у кого, даже у тридцатипятилетнего Солженицына. Вспомним, какое отношение царило в ту пору в СССР к советским средствам массовой информации. Прожеженное и обезличенное слово газетных передовиц и Юрия Левитана не только многим совсем не глупым людям казалось последней правдой — оно держало в состоянии гипноза даже и тех, кто понимал, что советский эксперимент провалился. Это слово было выразителем бесчеловечной, но явно побеждающей идеологии. Оно, сверх

того, было результатом *коллективного* труда, что еще усиливало его магию. А тут вдруг: «с одной стороны — и с другой стороны...». Простой и явно независимый человек, настроенный совсем не враждебно, размышлял вслух на волнах британской радиостанции — и пытался поставить себя на место советских вождей, как если бы и они были живыми людьми, а не идеологическими мертвяками. Он говорил от себя, от первого лица: «Я считаю неправильным... мне кажется...» — а не «от советского Информбюро». В его тоне — драгоценном тоне беседы, допускающем возражения, — уже содержалась бомба, способная подорвать изнутри мир лозунгов и догм. Так это в итоге и случилось. В сущности, Гольдберг проложил дорогу Солженицыну и Буковскому, вынырнул и выпестовал их, они же этого своего родства не признали, долга благодарности Гольдбергу не заплатили — и поспешили от него откреститься.

Да, Гольдберг не понимал природы советского режима — и, что особенно было обидно, не понимал, каково жить по ту сторону железного занавеса, не вкусил особенного, советского отчаяния и советской безысходности. Он не был мыслителем, как Герцен: не создал своей собственной картины мира, а принял чужую, уже готовую, притом явно устаревавшую. Не был он и пророком: в 1968 году — за несколько дней до вторжения в Чехословакию — уверял, что Москва на оккупацию не пойдет. Может быть, он лучше других чувствовал пульс современной ему политической жизни, умел заглядывать в души воротил мировой политики? Позволительно и в этом усомниться. Вот слова из его радиобеседы 1967 года:

«Некоторые на Западе скажут: допустимо ли обменивать шпионов, осужденных за дело, на людей, которые по западным понятиям не совершили никаких преступлений? На мой взгляд: да, вполне допустимо. От шпионов — всё равно никакого проку. Знаю, что не все со мной согласятся, но я всегда был убежден, что хотя разведка и играет роль в отношениях между малыми странами, которые, увы, не привыкли воздерживаться от войн, — заниматься шпионской деятельностью в пользу той или иной сверхмощной державы в наш ядерный век совершенно бессмысленно. Так что обменивать шпионов на диссидентов — весьма гуманная практика...»

Или (1978):

«...можно ли было считать Сталина умным человеком? Я лично никогда не мог заставить себя считать умным человека, который не понимает самых простых вещей, а одна из самых простых истин заключается в том, что нельзя убивать или сажать в тюрьму ни в чем не повинных людей. Да, Сталин умел создавать подобие логической мысли в своих рассуждениях, хотя много из того, что он писал, было элементарно, а кое-что было абсурдом. Но это еще не ум. А вот практическая хитрость ему действительно не была чужда. Он использовал ее в полной мере...»

Что же: разве ядерные секреты не были украдены в США и не помогли созданию советской атомной бомбы? Разве шпионаж не привел к развязыванию холодной войны? И умный ли человек уверяет нас что Навуходносор неумен, раз он убивает невинных? Может, и умный, но наивный до последней крайности. А если так, если даже профессионализм Гольдберга как радиокomentатора — и тот под вопросом, то кем же, собственно говоря, был Гольдберг? Неужто всё сводилось к тембру голоса?

Наш ответ такой: он был человеком большой души и — очень самостоятельным человеком. Он был *совестью*. Совестью и честью. Самостоятельность, право на свое собственное частное мнение, даже на чудачество и ошибку — вот квинтэссенция британских свобод, а пожалуй, и свободы вообще. Эта самостоятельность добывается душевной работой, она немислима без деятельного нравственного начала в человеке.

Типичный восточноевропейский еврей в глазах своих британских коллег, Гольдберг совсем не случайно был британцем в глазах российской интеллигенции. Он воспринял главное в британском свободомыслии: готовность отвечать за каждое свое слово. Свобода была для него ответственностью (или, если угодно, осознанной необходимостью). До Андрея Сахарова и Карла Маркса эту же мысль веками высказывали другие мыслители, среди них и Аристотель. Ее же находим и в Библии.

Но в российской *рабской* среде Гольдберг воспринимался не как британец. Леонид Владимиров пишет:

«... Это был худой, подтянутый человек, в ловко сидящей серой паре и ослепительной сорочке с галстуком-бабочкой. Отвечая на мое рукопожатие, он сказал:

— Гольдберг.

Я потрясенно уставился на него.

— А...А...Анатолий Максимович?

— Да. Приятно, что вы помните мое имя-отчество.

— Как это помните! Вас вся страна знает и каждый день слушает!

Гольдберг скромно улыбнулся и потупился. Ему явно понравились мои слова. Я рвался сказать что-нибудь еще поприятнее, но не говорить же в глаза: вы, мол, самый популярный голос в России. И придумал.

— Хотите, расскажу, как вас слушает рабочий класс?

Гольдберг прямо засветился.

— Конечно, расскажите, я об этом ничего не знаю.

И я правдиво рассказал, что когда работал мастером на заводе малолитражных автомобилей, ко мне почти каждый день подходил кто-нибудь из моих молодых рабочих и спрашивал: — Мастер, ты вчера Би-Би-Си слушал? — Я неукоснительно отвечал: нет (из перестраховки) — и в ответ слышал что-нибудь вроде: — Ну и зря! Во там один еврей дает!..

Гольдберг нахмурился и сухо спросил:

— А почему еврей?

Вот те раз! Ну как, говорю, почему? Вы же Гольдберг, это еврейская фамилия. Вы замечательно говорите по-русски, но произношение у вас еврейское. Рабочие знали, что я еврей, и хотели сделать мне приятное...

— Вы думаете, у меня еврейский акцент? — уже совсем злобно спросил Гольдберг.

Я мямлил, что нет, не акцент, но так, общее звучание, интонация, в России это очень чутко воспринимают... Гольдберг замолчал и уткнулся в тарелку. Больше за весь обед он не произнес ни слова...».

Что так огорчило Гольдберга: замечание о его будто бы еврейском выговоре или слова о том, что советские рабочие видят в нем еврея? Едва ли первое. Еврейского выговора

у Гольдберга не отмечает больше никто. Говорил он, скорее, как говорили петербургские интеллигенты первой волны эмиграции, и не мог не знать этого. В старых магнитофонных записях очень похожим образом, с такими же интонациями, звучат голоса Георгия Иванова, Георгия Адамовича или Владимира Вейдле. На выговоре Гольдберга могли сказаться разве лишь языки западноевропейские и дальневосточные. Французским, немецким и английским он владел совершенно так же, как русским; дома, с женой Эльзой, говорил по-немецки. Он знал китайский и японский языки (учился этим языкам в знаменитом Восточном институте в Берлине, практиковался в Китае).

Остается второе: ему было неприятно, что советская Россия в лице ее сознательных рабочих-интернационалистов, составляющих пусть несколько одураченный, но всё же авангард мирового пролетариата, взяла в его беседах в первую очередь не проповедь социальной справедливости, мира и взаимного уважения стран и народов, а его еврейство. Он к этому времени уже тридцать лет жил в Англии — и мог совершенно искренне не понимать даже самого хода мысли советских рабочих: не знал, как фамилия Гольдберг звучит для русского уха.

Проглядывает здесь и еще нечто. Россию Гольдберг покинул ребенком, но мог считать ее родиной, а себя — русским, в расширительном, досоветском значении этого слова, издавна подразумевающим, что Русь — имя собирательное. Особое, небезразличное отношение к России видим и в его словах, обращенных к писателю Анатолию Кузнецову (автору *Бабьего Яра*): «Не становитесь эмигрантом!»

Но если так, то *был* ли Гольдберг евреем? Этот вопрос не вздорный. Да, Анатолий Максимович родился от еврейских родителей и бежал от нацистов как еврей. Но определение еврейства, приемлемое для большинства и не отдающее расизмом, издавна сводится к тому, что быть евреем — *призвание*, самоидентификация. Призвание может осенить человека (при рождении или по наитию), а может и покинуть его, как иных покидает талант или вера. Не всякий человек, родившийся евреем, евреем и умирает. Одни дорожат своею причастностью к этой необычной общности, другие стараются отмежеваться от нее, третьи загораются ею к концу жизни, четвертые мечутся между юдофильством и юдофобством. Если этот удивительный

человек, оказавший на Россию не меньшее влияние, чем Герцен или Солженицын, сам вовсе не считал себя евреем, то следует ли нам настаивать, что он — еврей?

Этот вопрос и не праздный. Историческое место принадлежит Гольдбергу в культурной истории русского, а не еврейского народа. Евреев обвиняют в том, что они затеяли и осуществили большевистскую революцию, — стоит ли становиться на одну доску с обвинителями и утверждать, что евреи же первыми восстали против сталинизма, то есть опять «сунулись не в свое дело»? А такое искушение велико. Судите сами.

Гольдберг обращался к *советским* радиослушателям, но едва ли не очевидно, что самыми благодарными его слушателями оказались евреи. Русское диссидентство пустило первые ростки в эпоху, когда отец доносил на сына, а сын — на отца. Давно высказана догадка, что это диссидентство возникло только благодаря стихийной, подсознательной солидарности евреев — часто вполне обрусевших, отвыкших видеть в себе представителей еврейского народа, а всё же инстинктивно тянувшихся друг к другу. В сталинские времена в Москве и в Ленинграде между евреями было чуть больше взаимного доверия, чем между представителями других народов, — и этих представителей, в первую очередь, конечно, русских, составлявших большинство, евреи не отталкивали, а с готовностью приобщали к едва намечавшейся общественной жизни. (Потому-то чернь и приравнивала интеллигента к еврею.) Так в интернациональном советском обществе антисемитизм сослужил хорошую службу русскому национальному делу.

И вот, кажется более чем вероятным, что катализатором этой еврейской солидарности на рубеже 1950-х годов, этого первого, зачаточного доверия, породившего в России и в русских движение нравственного сопротивления режиму, — мог быть именно он, социал-демократ и интернационалист, *выходец* из евреев, Анатолий Максимович Гольдберг.

ДАНО МНЕ ТЕЛО. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С НИМ? или СВЯТОЙ ИЗ ДЖЕНКИНТАУНА

Он благотворитель. Дело не новое. В иудео-христианской традиции издавна укорененное. Он отдал практически всё, что имел; из богача стал бедняком. Тоже бывало. Задолго до Христа случалось: киник Крат Фиванский, вдохновитель Зенона, поступил так в IV веке до н.э.

Чем же удивил Америку Зел Кравинский, американец, родившийся в СССР? Раньше человеколюбцы отдавали обездоленным свои деньги, труд и время. Кравинский пошел дальше: решил раздавать по частям свое тело. «Если у тебя две почки, а у другого — ни одной, и он умирает, то разве это не убийство: остаться при своих двух?!» Лег в больницу в родном Дженкинтауне (пригороде Филадельфии) — и отдал свою почку молодой негритянке, которую в глаза не видел. Жена, Эмили, узнала об этом из газет.

Руководствуясь той же логикой, он собирался отдать кому-то легочную долю, часть печени и костного мозга. Едва отговорили. Внушили, что он этим кое-что и у жены отнимает. Бывший миллионер уступил со вздохом. Будь он один, его бы ничто не остановило.

МИЛЛИОНЕРЫ

В Америке практически весь средний класс — миллионеры (хоть миллион да контролируют; одно жилье чего стоит). В богачах они не числятся. Обычно на этот миллион (или два-три миллиона) требуется одно-два два поколения. Потомственный дантист или стряпчий — всегда миллионер (как известно, акулы их не едят из профессиональной этики). Тут база нужна; образование в приличном университете. Редко, когда 45 миллионов удается сколотить на голом месте за десять лет. Но Кравинскому удалось.

Что он делал? Как в том анекдоте о богаче-недоучке, не принятом в школу по тупости: покупал и продавал. И тут уж не база, а талант нужен. Рынок в Америке жесткий; денег все хотят; многие умеют их делать.

Зел — из советских евреев; он 1955 года рождения. Скорее всего, уехал старшекласником. В начале 1970-х люди выезжали обобранными. Миллионов не везли. Приехав, кидались зарабатывать, становиться на ноги. Большинство преуспело. Многие вошли в нижний слой среднего класса. Экономили. Выгадывали на копейках. Жили с памятью о советской нищете. В благотворительности никто особенно не замечен. И вдруг — благотворитель, и какой! За всю историю человечества такого не бывало.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

В христианском мире до самого XIX века монополию на благотворительность держала церковь. Государство не вмешивалось. Идея пришла из иудаизма, где благотворительность — кодифицированный закон. Там ближним отдается предпочтение перед дальними. Сначала помогают родственникам, затем членам общины, затем — евреям, и лишь затем — иноверцам. Больше 20% от доходов жертвовать не рекомендуется (чтобы самому не оказаться в бедняках).

Иудео-христианская традиция вскормила социализм. В нем довольно рано обозначился любопытный перекося — в сторону (как сказал бы Осип Манделштам) чужелюбства. Уже на заре туманной юности этого движения видим людей, возлюбивших малых сих во всей их совокупности, но так, что дальние оказывались милее ближних. Когда любовь прохладна, когда она — отвлеченная, абстрактная, дальних каким-то образом любить легче. Меньше сердца требуется. (Эту особенность в числе первых подмечает в своих героях Диккенс.) Человечество любить проще, чем конкретного человека. Проще и — почетнее. У человека-то, особенно если он рядом, недостатки выпирают. Совершенен только Бог. А в обществе, где вера поверяется только рассудком, совершенно человечество, подменившее и заслонившее Бога.

Спустя десятилетия эта на первый взгляд безобидная нравственная асимметрия обернулась страшными последствиями.

У евреев благотворитель одалживает Богу, у христиан — жертвует во имя личного спасения. Для того, кто человечество любит, это мелко. Нет простора воображению, полету абстрактной мысли. Эти цели меркнут перед благородной жадной всеобщей справедливости, перед священной борьбой за счастье обездоленных всех стран и народов. Вот поприще для пылкой человеколюбивой натуры! И ведь дело-то нехитрое: отнять награбленное и отдать ограбленным. Тогда — и благотворительность не потребуется. Она унижает бедных — и должна быть с презрением отмечена как отвратительное сентиментальное баловство зажавшихся богачей...

Строители нового мира довели этот перекося до логической полноты. «А мы — не Корнелия с каким-то Расином — отца, — предложи на старье меняться, — мы и его обольем керосином и в улицы пустим — для иллюминаций...» Логической кульминацией чужелюбия стал ГУЛАГ.

КТО ОН ТАКОЙ?

Америка спорит: кто такой Кравинский? Филантроп или помешанный? Мнения разделились почти поровну. И никто не хочет спросить: что происходит с нами, с человечеством? С одной стороны — Усама бин-Ладен, с другой — Кравинский. Оба — наши современники. И — соперники: оба (хоть они и будут это отрицать) очень непохожими средствами сражаются за наше внимание и восхищение, за священный трепет в наших сердцах. Два пророка, две крайности. Не слишком ли стал широк спектр человеческих проявлений? Кво вадис? Точнее: куда нас несет?

У Зела Кравинского — дом-развалюха, купленный за 141 одну тысячу долларов в 1996 году (когда двухкомнатная квартира в Манхэттене стоила вдвое дороже). У него четверо детей в возрасте до 12 лет. О детях, пускаясь во все тяжкие, он позаботился: отложил в пользу каждого примерно по 20 тысяч на нос. В приличном университете сейчас берут за обучение по 30-40 тысяч в год. Значит, за учебу детей будет

платить их мать Эмили. Она врач-психиатр. Нужно полагать, свои 150-300 тысяч в год имеет. Американцы ведь не могут без психиатров и психоаналитиков, целиком переложили на них то, что в былые времена в жизни каждого человека делали друзья и близкие.

Ест благотворитель мало, одевается кое-как, тош до того, что кажется инопланетянином среди тучных американцев. (Хотя и то сказать: худоба обманчива. Она по карману скорее богатым, чем бедным.) Ничто не указывает, что Кравинский религиозен. Конечно, особенностью иудаизма (из которого Кравинский, как ни поверни, всё-таки вышел) является своеобразное ханжество с философской подоплекой. Оно требует: исполняй заповеди — и можешь считать себя атеистом. Этим иудаизм ставит традицию (коллективный разум) выше любого индивидуального разума; закрепляет непознаваемость Бога в поведении человека; отрицает право на человеческую режиссуру в нечеловеческом творении.

Может, Зел славы хочет? Может быть. Но открыто на первые полосы газет не рвется. В качестве моралиста не выступает. К светлому будущему не зовет. Мямлит что-то не совсем вразумительное: «Я теперь понимаю, что по отношению к Эмили вел себя неправильно. У нее есть право на свои чувства и мнения...» Слабовато для пророка. Иступления не слышно.

Национальный момент в поведении Кравинского отсутствует. Какая национальность, если дальний — ближе ближнего? Но, может, тут подсознательно присутствует национальная психология? Уж она-то — не выдумка расистов, она такая же реальность, как цвет кожи и форма носа. «Острый галльский ум... сумрачный германский гений...» Мы произносим такие оценки. Ренан, рассуждая о Христе, говорит: уж если еврей добр, то он — воплощенная доброта. Может, Кравинский, сам того не ведая, несет нам тот самый библейский свет от Сиона, который, как сообщает Писание, все народы приведет к миру и счастью? Случайно ли он еврей?

Не знаем. Ignoramus et ignorabimus. Не знаем и знать не будем. Тут — простор для спекуляций. Отложим их — и перейдем к вопросу очень русскому.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фрэнсис Бэкон говорит про деятельную доброту: она — «величайшая из всех добродетелей и достоинств, ибо природа ее божественна; без нее человек — лишь суетное, вредоносное и жалкое создание, не лучше пресмыкающегося... Милосердие не бывает чрезмерным...»

Если так, то Кравинский — на верном пути.

Но Бэкон продолжает: «Излишество в доброте невозможно; возможны лишь заблуждения... Остерегайся разбить оригинал, делая слепок; оригиналом же, согласно Писанию, является любовь к себе...»

Бэкон верно прочел Писание. Призывы возлюбить ближнего, как самого себя, — риторические приемы, к которым и божественному слову приходится прибегать, чтобы завладеть человеческим вниманием. Полное самоотречение недостижимо. Заповедь невозможно осуществить буквально: любить другого, как самого себя, значит перестать быть собою, воплотиться в другого. Это — отрицание биологического задания.

Каждое живое существо *ощущает* себя венцом творения. Существо мыслящее *знает*, что это не так, но знание расходится с чувством. Чувство же подспудно говорит каждому (человеку), что в *каком-то смысле* он — лучший. Если мы честны с собою, если умеем заглянуть в потемки своей души, то увидим: без этого подсознательного самообольщения человек просто жить не может.

Евгений Боратынский сказал именно это:

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас.
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми — путевые
Прогоны жизни платим мы.

Тут «сны золотые» — наши самообольщения. С годами наше ощущение своей ценности уменьшается, стремится к некому пределу, к нашей реальной социально-биологической ценности,

которая всегда ниже воображаемой нами. (Не происходит этого только с людьми совсем глупыми.) Когда разность двух величин близка к нулю, человек жить больше не может, — вот в чем теорема Боратынского. Пружина самообольщения распрямилась. Биологическое задание кончилось. Человеческое Я растворилось в человечестве. Остается умереть. Только в смерти мы способны возлюбить ближнего, как самого себя.

Все религии учат разумному эгоизму: наслаждению в пределах нравственности, в границах общества. Чуть-чуть аскетическому наслаждению (в иных религиях — и не чуть-чуть, а больше), но всё-таки — наслаждению. Скажем, дающий получает больше берущего, ибо жертвовать — наслаждение. Ключ к наслаждению — любовь. Любить только себя жестоко и скучно; это быстро надоедает. Биология требует этого только в раннем детстве. Ребенок до пяти лет, не чувствуя себя мессией, — не выживает. Любить только других пошло и жестоко; это самообман, кончающийся ГУЛАГом. Необходим разумный компромисс: любить себя — и других; других — через себя, себя — через других. Лишь тот, кто любит себя разумно, способен распространить свою любовь на других. (Даже самая пылкая влюбленность — всегда лишь биологический всплеск разумного эгоизма.)

Кравинский традиционному правилу изменил. Он хочет раствориться в человечестве при жизни. Он грезит сверхчеловечеством, намерен превзойти в себе человека. На первый взгляд он — самый человечный из всех прошедших по земле людей; человеколюбивее Франциска Асизского, Альберта Швейцера, Януша Корчака. Он это показал *деянием*, доселе небывалым. Но не «разбивает» ли он при этом «оригинал», по Бэкону?

Конечно, любить себя и (на свой лад) наслаждаться жизнью он не перестал, умирать не собирается, его деяние — не самоубийство. Он твердит: «По временам я чувствую, что уже приблизился к нравственной жизни, почти коснулся ее...» Что этим сказано? Что он о счастье мечтает, о блаженстве. И — что все мы, кто не приближается к его подвигу, безнравственны. Выходит, что Кравинский — секта. Самая малочисленная на свете (пока), но в смысле отношения к непосвященным — самая типичная. Спасутся только избранные. Так думал Троицкий, так думает и бин-Ладен.

С некоторой степенью вероятности можно допустить, что Кравинский поведет за собою человечество, а мы, не верящие в него, окажемся фарисеями. Кравинский совершенно точно укладывается в формулу Владимира Соловьева, говорящего, что исторический вектор направлен от людоедства к братству. (Бердяев, еще до нацизма и большевизма, внес важную поправку в эту формулу; сказал: что будущее чревато не только небывалым добром, но и небывалым злом.) Тогда — Кравинский и его апостолы поднимут человечество на новую нравственную ступень... а может — и на новую биологическую ступень. Ведь говорят же, что мы, люди, находимся на самой грани эволюционного скачка в новый биологический вид.

Но если мы всё еще люди, то совершенно ясно, как понимать деяние Кравинского — и *что делать*. Понимать его нужно по Фрэнсису Бэкону: как заблуждение. «Не отдавай всего, если не можешь с малыми средствами делать столько же добра, сколько с большими...» Останься Кравинский миллионером, он мог бы не свою почку отдать несчастной, а подыскать для нее орган, уже никому не служащий. Он мог бы направить свой предпринимательский дар, облагороженный идеей служения, на то, чтобы спасти десятки таких людей, на которых его, Кравинского, органов, даже раздай он их все, всё равно не хватило бы. Но поступи он так, он остался бы одним из многих, не вписал бы свое имя в историю. Не было бы феномена Кравинского.

Вообще *делать* нам нужно только одно: *оставаться людьми* (если мы еще люди). Это, как мы слышали, и есть самое трудное. Быть зверем и быть богом — проще. Оставаться людьми — то есть любить себя, но не только себя; любить ближнего больше, чем дальнего; не пытаться встать себе на плечи; не пытаться возвыситься перед людьми сверх меры — даже возвышенным подвигом, если он измышлен твоим разумом, а не навязан совестью (как в случае Корчака); не выпрыгивать в сверхчеловеки, не желать прославиться любой ценой. Нести свое человеческое бремя в рамках завещанной нам традиции, развивая, но не отвергая ее. Помнить, что умнейший из нас — никто перед разумом коллективным.

Одна из величайших идей, выработанных религиозной мыслью, состоит в равенстве всех перед Богом. Она, если

приглядеться, так хороша, что даже и Бога не требует. Потому что Бог в ней выступает дарвинистом. В самом деле, ни одна религия не согласится признать Бога, перед которым равны Герострат и Геродот, Иуда и Петр, Гитлер и Эйнштейн. Равенство перед Богом возможно только в одном смысле: отдельный человек для Бога неразличим. Бог мыслит биологическими видами. Более мелкие единицы — даже народы, не то что мы с вами, — ему не интересны, для него не существуют. Ведь если народы различимы, то почему — одним одно, а другим другое? Ответ тут только эволюционный. Общую режиссуру Бог осуществляет через биологическую и культурную эволюцию (независимо от того, есть он или его нет).

Кравинским нельзя не восхищаться. Владеющее им безумие — благородно. Он одержимый, иначе говоря — гений. Преклоним перед ним колена, не но забудем при этом, что двоюродным братом ему приходится Троцкий, троюродным — Усама бин-Ладен (тоже аскет, живота своего не шадящий), а отдаленным родственником — и сам Герострат.

ЕВТУШЕНКО КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ДЕВОЛЮЦИИ

О нем говорили: он воображает себя то Есениным, то Маяковским. Можно добавить: еще и Некрасовым. Кем он был? И, еще занятнее, кем стал, кем является на восьмом десятке?

БРАТСКОЕ ГЭ-С

Осенью 1964 года появилась (в журнале «Юность», кажется) поэма «Братская ГЭС», и для нас, 18-летних, для моего окружения, вопрос был решен: Евтушенко — мыльный пузырь, никаких надежд с ним больше связывать нельзя. Характерно, что ни антисоветчиками, ни даже диссидентами мы в ту пору не были. В комсомоле состояли, хоть и не совсем добровольно. Отталкивание шло по эстетической линии. Не отсутствие свобод, а пошлость была сущностью и квинтэссенцией советской действительности. Пошлость лезла из всех щелей, обволакивала всё вокруг. Рассудком еще можно было (по молодости) допустить, что мы — эмбрион общества равенства и социальной справедливости, что за нами — будущее. Чувством — воспринималось только одно: затхлость, провинциальная пошлость всего советского. Именно она превращала СССР в обочину мира. Власть была бездарна не только политически, но и эстетически.

И что же? Всему этому — пошлости, безвкусице, провинциальности — поэма как раз и служила. Она была одновременно пошла и подла (в первичном, изначальном смысле этого слова: низка). Дело не сводилось к продажности, к холуйству автора, хотя на первом плане было именно это — и одного этого хватило бы. Отталкивало другое. Подл был внутренний строй поэмы, ее лиризм, ее язык. Мы спрашивали себя: может, Пушкин и Блок нам пригрелись? Ведь нельзя же всерьез числить Евтушенко поэтом — после них! Это — как в средние века попасть из современности. На возраст тут не скинешь, он уже

не мальчик, ему 31 год. Скинуть на советскость? На то, что советское значит отличное от общечеловеческого? Но ведь и власть — не девочка, 47 лет в обед. Хотелось хоть тут на мировой уровень выйти. Надоело жить в чулане. А Евтушенко был с ними. Выходило, что он так же бездарен, как режим, поднявший его на щит.

С этим я и закрыл Евтушенко сорок с лишним лет назад — и с тех пор не открывал. Теперь вижу, что зря. Евтушенко не вовсе бездарен, тут есть о чем говорить, да и советскость его получила новый смысл после отделения большевизма от государства. Можно и нужно перечитать этого автора.

«МНЕ В ЖАДНОСТИ НЕ С КЕМ СРАВНИТЬСЯ»

Первым делом — договоримся склонять эту фамилию (хотя бы в пределах нашего разговора о Евтушенке). Современная тенденция к отказу от флексий работает против русского языка, выхолащивает, обедняет его. Короленко и Зощенко знали об этом и свои фамилии склоняли, во всяком случае, до прихода гегемона; их современники поступали так же. Склоняли не как существительные на *О* среднего рода (стекло), а как если бы это было существительное мужского рода с окончанием на *А* (каурка).

Лакмусовой бумагой поэтической одаренности является любовная лирика. Она одновременно проста (ибо подсказана самым естественным движением души) и сложна (поскольку о любви пишут все). Возьмем ее за основу. Как писал и пишет о любви Евтушенко?

Мне мало всех щедростей мира,
мне мало и ночи, и дня.
Меня ненасытность вскормила,
и жажда вскормила меня.

Мне в жадности не с кем сравниться,
и вечно — опять и опять
хочу я всем девушкам снится,
всех женщин хочу целовать!

Эти стихи нельзя не признать замечательными, особенно если помнить, что автору — 18 лет, что это 1951 год. Подсмотреть такое в себе и назвать, выявить — тут нужно быть человеком даровитым. Ни отнять, ни прибавить: здорово. И не потому здорово, что ново или дерзко (этого нет и в помине), а потому — что *естественно*, без позы и рисовки, на одном выдохе. У Бальмонта дерзости больше: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать...», но это — гадко, жеманно. Сравнение — на все сто процентов в пользу советского автора. Какое начало! Поздравляем задним числом.

Однако ж знаменитое «Ты спрашивала шепотом: А что потом, а что потом? — тот же Бальмонт, только много, много пошлее. Так Евтушенко начинал. Рядом с достижениями — отталкивающие срывы.

Идем дальше.

Я тебя различаю с трудом.
 Что вокруг натворила вода!
 Мы стоим, разделенные льдом.
 Мы по разные стороны льда.

Похудели дома и леса.
 Клен качается бледный, худой.
 Севши на воду, голоса
 тихо движутся вместе с водой.

Льдины стонут и тонут в борьбе,
 и, как льдинка вдали, ты тонка,
 и обломок тропинки к тебе
 по теченью уносит река.

Опять невозможно сомневаться: стихи прекрасные, подлинные. Это — 1956 год. Тонкая, одухотворенная лирика, уверенная рука, 23-летний автор — мастеровит, точен. Подписываемся под его стихом: «Я не обман. Я самый настоящий...»

А это?

Не понимать друг друга страшно —
 не понимать и обнимать,
 и всё же, как это ни странно,
 но так же страшно, так же страшно
 во всем друг друга понимать.

Тем и другим себя мы раним.
И, наделен познанием ранним,
я душу нежную твою
не оскорблю непониманием
и пониманием не убью.

Тут впору ахнуть: так глубоко, так верно! А ведь мальчишка, 23 года. Чем не Боратынский? И, добавим, так лаконично: ничего лишнего, никакого празднословия (потом оно хлынет Ниагарой, да и в 1956 году его уже — за глаза и за уши). Перед нами маленький шедевр. Или нет? Может быть, всё-таки — нет. Не совсем. Боратынский чуть-чуть поправил бы Евтушенку — в духе его, Боратынского, «соразмерностей прекрасных». Повтора в рифме не допустил бы. Это — маленькая беда, а всё же уступка, компромисс, свидетельствующий о нехватке слов. Боратынский ритмически выстроил бы стихи убедительнее. И никакими «веяниями времени» не удастся оправдать в контексте этих замечательных стихов рифму «странно-страшно». Она отдает цинизмом. Сейчас это не всякий услышит. Она — очень евтушенковская, уводящая вглубь строки, а концовку оставляющая в небрежении. Читатель приучен не видеть тут дурного, но дурное есть. Рифма — дело интимнейшее, она прямо к душе обращена. Она, если угодно, соитие. Приблизительность в рифме так же противна, как приблизительность в любви (о такой приблизительности в этом стихотворении и речь идет). Впрочем, здесь перед нами цветочки. Рифмы совсем отталкивающие, совсем циничные («кромешный — крылечку» и т.п.) уже появились у Евтушенки. Сюда их не пустило глубокое прозренческое чувство, дивная находка, почти открытие. Перед нами не просто удача, перед нами вершина: лучшее стихотворение Евтушенки за всю его жизнь.

Оно вот еще чем замечательно: в нем видна нравственная работа, без которой стихи недорого стоят. Писание стихов — не игра ума, не соревнование в остроумии; для таких вещей есть шахматы, математика, физика; ум, остроумие — там. Писание стихов — одно из самых простых интеллектуальных упражнений, доступное каждому; особенно — по-русски. Изобретательность тут вредит, попытка сказать что-то новое — убивает лирику на корню (да и вообще литературу). Истина —

вот что должно занимать воображение поэта, чтобы стихи получились живые (и новые). В идеале — истина, добро и красота. Никто этих старых культурных ориентиров не отменял — и не отменит, пока искусство не умерло.

Непременная составляющая нравственной работы художника — недовольство собою, прежним и настоящим. Пушкинское: «И с отвращением читая жизнь мою...» навеяно этим чувством. В раннем творчестве Евтушенки такая нравственная работа видна: «Я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый»; «Я умника играю перед душой и становлюсь все больше дураком»; «Что знаю я? Я ничего не знаю» (лесенку убираем, она коммерческая); «Тот, кто горя не знал, о любви пусть не судит»; «Какой неумный мелкий демон во мне заносчиво сидел?»; «И столько разного во мне перемешалось — от запада и до востока, от зависти и до восторга»; «Вокруг садятся разные обиды, как злые терпеливые зверьки». Такого — много, и это — поэзия. Ранняя любовная лирика Евтушенки — лучшее, что им написано.

Разумеется, нравственные движения — не нравоучительство, художник — не моралист и не святой. Смертные грехи — оттого смертные, что присущи всем смертным. Такие нравственные состояния как злость, зависть, ненависть — находят себе место в искусстве, в идеале преодолеваясь, уступая добру, восхищению, любви. Жадность — тоже. Слово «жадность» (в значении «жажда жизни») повторено Евтушенкой с десятков раз («О, радость быть простым, берущим, жадным», «Да здравствует движение, и жаркость и жадность, торжествующая жадность» и т.п.). Перед нами мальчишка, из которого жизнь бьет ключом. Он еще не стал «большим жизнелюбом», он еще в своих правах, обусловленных молодостью. Неизбежный юношеский цинизм не портит портрета: молодой человек ищет себя, ищет честно, не находит, мучается и мечется. Большого зла еще не натворил. Жажда жизни перевешивает всё — и до поры до времени почти всё оправдывает.

Когда подлинное кончилось, уступив место подлости и холопству? На подступах к 1960 году. В 1961 году произошла первая несомненная катастрофа: стихотворение-песня «Хотят ли русские войны». В нем всё — фальшь, всё — ложь: и содержание, и форма. Неужто американцы, всем скопом, «докеры» и «батраки», — войны хотят? И где у Евтушенки

украинцы, узбеки? Отчего все они оказались хуже русских? Почему только они одни воевали против нацистов, а теперь — они одни пацифисты? А чего стоит «да, мы умеем воевать»! Ребенку было ясно, что СССР воевал большой кровью, победил числом. За счет того победил, что большевики жизнь «товарищей» в грош не ставили. И не один СССР победил, а с союзниками, без них бы не справился. Но бог с ним, с содержанием. Тут можно спорить, тут политика, а мы о поэзии говорим. Форма, стихи здесь неприкрыто подлы. Думает ли поэт, что «падать» и «пасть» — одно и то же? Упасть можно и не будучи раненым, не то что убитым. Почему он не слышит, что «солдаты падали» рождает побочную ассоциацию, тянет к слову «падаль»? (Говорят же: «солдаты удачи».) И это жалкая двусмысленность: «за землю горькую свою». Поначалу, конечно, было «русскую», а потом стало — «горькую» или (вариант!) «грустную». «Русскую» нельзя было оставить, на это ему власть указала; это было уж слишком. Но ведь родина — место сладкое, там даже дым сладок. За горькую — стоит ли сражаться? Родина ли она — с ее концлагерями, с искусственно подстроенным голодом, убившим миллионы крестьян? Не она ли, не особая ли эта родина — всех солдат, за нее кровь проливавших и по бездарности командования в плен угодивших, всех скопом — числом около двух миллионов! — предателями объявила, — честно ли прикрыть всё это словом «горькая»? Поэзия ли это?

Отвратительные слова, вся эта пошлость, жалкая с точки зрения собственно поэзии и правды, была слобрена такой же чудовищной по пошлости музыкой Колмановского — и пришлась тютелька в тютельку впору одряхлевшему русскому интернационализму, на глазах перерождавшемуся в квасной православный патриотизм. Ему — и тогдашней черни. Вся страна пела.

К этому моменту жадность как жажда жизни сменились у Евтушенки жадностью в самом обычном, расхожем смысле слова: жадностью к деньгам и славе. Ему уже неважно, поэт он или нет. Ему неважны стихи. Слава и сопутствующие ей удовольствия — любой ценой: вот, что им движет. Наслаждения — сейчас, сегодня. Откладывать некогда. Он и раньше об этом обмолвился («за все мое *потом* сейчас меня любите»). Мысль не новая, гетевская, и в ней есть правда. Уж слишком часто художникам недодавали при жизни.

Но искусство подлинное, настоящее — требует аскезы, отказа от сегодняшних радостей во имя радости творчества. И радостей завтрашних, потому что произведение — живой организм, которому нужно возраста набраться, из младенчества выйти. Это — отброшено Евтушенкой напрочь. Стихи пишутся наскоро, без любви к слову, без работы над словом. Сегодня написаны, завтра — в печать. Продается черновик. Продается поэт, поэзия. Продается родина. Потому что родина поэта — родная просодия.

Примерно в это время народ вложил в уста карикатурного Долматовского частушку: «Ты Евгений, я Евгений, ты не гений, я не гений, ты говно и я говно, ты недавно, я — давно». (Слово «говно», заметим, вполне литературное, притом — из почтеннейших в русском языке. По некоторым признакам — однокоренное со словом «говядина». А уж оно, и это — точно, к древней Месопотамии восходит, к Шумеру.)

«ГОРДЫЙ ДУХ ГРАЖДАНСТВА»

Бродский измерял талант эгоизмом, приравнивал одно к другому. Точнее было бы сказать, что талант подразумевает эгоизм. Только гипертрофированное «я» требует самовыражения в творчестве, «я» обычное довольствуется менее сильными средствами, обычными радостями. «Я» Евтушенки — уже в ранних стихах чрезмерно, избыточно, но тут мы беды не видим. Человек обуздывает свой эгоизм, входя в возраст. Становится эгоистом совестливым («разумный эгоист» — тавтология; биологически, на уровне особи, эгоизм разумен всегда).

В 1960-м Евтушенке 27 лет, но его «я» не только не обуздано, оно теряет всякий самоконтроль. Жажда наслаждений застит ему глаза. Перед ним, словно красная тряпка перед быком, одно: слава и деньги. А на дворе — послесталинская оттепель, когда стали «пускать» и когда поэты — стадионы слушателей собирали. В двадцать два года у Евтушенки уже есть напечатанный сборник стихов. Чтобы понять, как много это значило в ту пору, вспомним, что Арсений Тарковский (поэт несомненный) ждал своей первой книги всю жизнь, выпустил ее, когда ему было 55 лет (в 1962 году; потому она и называется «Перед снегом»). А тут — мальчишка, а журавль уже в руках! Всё идет как по маслу. Есть отчего потерять голову.

Не он один и потерял. Но никто — в такой мере. Евтушенко уверился, что он — избранник божий, помазанник, центр вселенной. Поэзия как таковая, русская просодия, «звуки сладкие и молитвы» потеряли для него всякую ценность.

Вместе с тем он что-то смутно помнил: и то наслаждение помнил, которое дает настоящее творчество, и отзывы настоящих (не кремлевских) ценителей. Это его тревожило. Нужен был самооправдательный выход, и он нашелся. Поэтом, решил Евтушенко, я могу не быть (да и побыл уже немножко), а гражданином быть обязан, время подходящее, за это платят, нужно только меру соблюдать. Такой расклад позволял и большевикам служить (слава, деньги), и говном себя не считать.

В 1962 году в «Правде» было опубликовано стихотворение «Наследники Сталина» — о том, как горца из мавзолея выволакивали.

Гроб медленно плыл, задевая краями штыки.

Он тоже безмолвным был — тоже! но грозно безмолвным.

Угрюмо сжимая набальзамированные кулаки,

в нем к щели приник человек, притворившимся мертвым.

(Коммерческую лесенку опять мы снимаем, она впечатление скрадывает.) Не менее миллиона человек в СССР прочло эти строки — и поверило, что это и есть русская поэзия. А как же? Ведь «Правда»! Прочли и те, кто отродясь стихов не читал. Изумились: какой образ! Мертвец-то жив, кулаки сжимает. Но поэтического образа в этих стихах нет. Воображение поэта (и его читателя) работает через звук, через соединение звука со смыслом. Рифма и другая звукопись придают стихам убедительность. Звукосмысл этих стихов — нищенский, нулевой. Ритмическая организация — уродлива. Амфибрахий не обладает гибкостью ямба, не терпит грубых ритмических сбоев. В итоге получается бедная в смысловом отношении проза.

Дальше — пуше.

Он что-то задумал. Он лишь отдохнуть прикорнул.

И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:

удвоить, утроить у этой плиты караул,

чтоб Сталин не встал, и со Сталиным — прошлое.

Приехали! «К правительству — с просьбою». Это после «Во глубине сибирских руд» Пушкина, после «чиновники — наша чернь» Блока. Хорошенькое дело. И к какому правительству?! К Хрущеву. Уж о рифме «просьбою-прошлое» и не говорим. Но, может, поэт смелость проявил? Ничуть не бывало, стихи в «Правде» напечатаны, одобрены, кем надо. Может, он что-то новое сказал? Да нет, старое. И осмысление старого — тоже старое, плоское.

Я речь не о том, сокровенном и доблестном прошлом веду, где были Турксиб, и Магнитка, и флаг над Берлином. Я в случае данном под прошлым имею в виду забвеньё о благе народа, наветы, аресты безвинных.

Тут, «в случае данном», не только «забвеньё о благе» поэзии наблюдается, тут ее полное уничтожение. Стихи корявы и беспомощны. Да и не стихи это. Язык поэзии условен, отличен от обыденного, не терпит суконностей и канцеляризмов. Естественность в искусстве достигается через искусственность. Сказанное в лоб — не искусство. Перед нами фельетон, написанный слегка ритмизованной плохо зарифмованной прозой.

К тому же — плохой фельетон, лживый. Правдой были бы не «наветы, аресты безвинных», а слова о многих миллионах замученных, о концлагерях, расстрелах и пытках. Из текста Евтушенки можно заключить, что вообще-то правительство о благе народа пеклось, да на минуту забыло о нем, ошибок наделало, кое-кого «безвинно» арестовало. «Аресты безвинных» — хуже, чем прямая ложь, это подтасовка, немедленно вызывающая мысль о том, что были и виновные, и уж их-то правительство с полным правом без суда и следствия в расход пускало — ради великого дела.

А Сталин тут каков? «Он, веря в великую цель, не считал, что средства должны быть достойны величия цели...» Только и всего! Рядом с великой целью — и Сталин велик. Этот великий человек всего лишь заблуждался.

А Турксиб и Магнитка?! «Сокровенное и доблестное прошлое!» Копеечное, до мозга костей советское осмысление прошлого. Вспомним, как об этом времени — об этом Молохе — писали настоящие поэты: «Чтоб не видеть ни труса,

ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе...» (Мандельштам); «Когда судьба за нами шла по следу, как сумасшедший с бритвою в руке...» (Тарковский).

У Евтушенки — откровенно популистский подход, расчет на отклик в самых темных, осовеченных и одураченных душах. Зачем? Чтобы «повсесердно озкраниться», говоря словами Игоря Северянина. Евтушенко бездумен не потому, что совсем думать неспособен, а потому что ему — всё равно. Разделавшись с поэзией (с родиной), можно на всё наплевать. Он и в коммунизм при этом не верит, конечно. Он верит, что сегодняшней режим — прочен, что на его, Евтушенки, жизнь — этого режима хватит, а ведь режим — источник жизненных благ (славы; денег при — полной праздности; заграничных поездок — при полной безвыездности и безвыходности многомиллионной страны). Режиму, который вознес тебя над миллионами «простых советских людей», можно и послужить.

Про Блока долгое время твердили, что умер он от «Двенадцати» — как от болезни. Это суждение от Георгия Иванова пошло. Сейчас мы знаем, что он от другой болезни умер, но это неважно, а важно, что «Двенадцать» — действительно были болезнью Блока и конец его приблизили, до смертного часа он отрекался от этой поэмы, мучался, изводился ею. Но ведь «Двенадцать» — поэзия, пусть и не лучший Блок. И не для денег написано, не для славы, по велению сердца.

Евтушенко — случай совершенно другой. Непостижимо: как можно написать эти холуйские, холопские стихи о «сокровенном и доблестном прошлом» — и жить припеваючи, не мучаться угрызениями совести, поэтом себя называть! Ведь здесь всё поправно. С поэзией как инструментом постижения жизни, как нравственным началом — просто покончено. С мыслью и совестью — тоже. Несмыываемый позор — и не одного автора этих площадных виршей позор, а всей литературы, к которой он себя относит, всех нас, если мы не совсем совесть потеряли. А ему — хоть бы хны. Живет человек!

Другой «гражданский подвиг» Евтушенки — «Бабий яр». Примерно то же время, 1961 год. Тут он расчетливо фрондирует: «Над Бабьим яром памятников нет...». Не просит правительство, а словно бы упрекает его. Не подлинная ли тут гражданст-

венность? Он за евреев заступился! И когда? Когда прикровенный (и тем особенно подлый) антисемитизм всю советскую действительность пронизывает.

Мне страшно. Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.

Мне кажется, сейчас — я иудей...

Мне кажется, что Дрейфус — это я.

Мещанство — мой доносчик и судья...

Мне кажется — я — это Анна Франк...

Советские евреи — растаяли от благодарности, полюбили Евтушенку раз и навсегда любовью беззаветной и очень русской. За них, оболганных, подавленных, затравленных, русифицированных в доску, любящих Россию самоотверженно и безответно — словечко замолвили, простили им их происхождение, не говорят больше (пусть и на марксистский лад) «жид крещеный что вор прощенный». Нужно было быть очень, очень *советским* евреем, чтобы принять подобный строй мысли. А приняли — многие тысячи. И нужно было быть совсем равнодушным к русской поэзии, вынести ее за скобки, плюнуть на нее. Потому что с точки зрения поэзии это опять провал, пусть и не такой кошмарный, как «Наследники Сталина». Здесь по временам что-то брезжит. Евтушенко всё-таки родился поэтом — и чуть-чуть становится им, едва заговорит о себе-любимом. Как только произнесет заветное «я», искра пробегает. «Я — это Анна Франк... я иудей». Попал, хоть и не в десятку. Тут есть поэзия. Но по соседству что творится!

О, русский мой народ! Я знаю — ты
по сущности интернационален.

Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.

Опять ложь, дешевая ложь. Во-первых, по смыслу. Нет народа с «чистейшим именем», все имена запятнаны. Сказать «чистейшим именем» — значит солгать. Если один из народов — «чистейший», значит, другой — где-то тут по-соседству — не так чист. Честно ли это? Не холуйство ли? Деликатный вопрос об интернациональной сущности русского народа (и других народов) вообще отложим. Спросим опять: где тут поэзия, хотя бы и гражданственная? Стихи — беспомощны. Их словно восьмиклассник написал, вчера рифмовать научившийся. Поэзия — опять оболгана.

«Он всегда первый выскакивает на разминированное поле» — это не про Евтушенку сказано, про Симонова, но годится и про Евтушенку. Фронда в этих стихах дозирована на аптекарских весах. «Интернационал» ведь по-прежнему значился на советском знамени, все народы равны, мы — «новая человеческая общность», и т.п. Комар носа не подточит — притом что «первому среди равных» уже кусок брошен. Но автор чувствует, что он еще не в достаточной степени себя обезопасил от «чистейшего».

«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей,
но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам, как еврей,
и потому — я настоящий русский!

Зачем, спросим, нужно нам знать, есть еврейская кровь в крови Евтушенки или ее нет? Этот вопрос может интересовать только оголтелого расиста. Культурная преемственность несопоставимо сильнее кровной. Примеры и приводить не стоит, вся история ими полна. (Но Фета всё-таки вспомним: что в нем еврейского?) Человек, выросший в России, проникнутый русской культурой без примеси культуры иной, будь он лезгин, чукча или еврей, — может считать себя русским, должен иметь право именоваться русским. В царской России так и было, в советской — умудрились отнять у людей неотъемлемое. Евтушенко и тут служит большевикам, смотрит на мир их глазами. Я, говорит он, упаси боже, не еврей, я русский. Для него эти понятия — взаимоисключающие! Тут уж точно, без интернационала на большевистский лад не разобраться. Иностранец вообще не поймет, о чем поэт бренчит. (На вопрос, почему физиков с еврейскими фамилиями из лабораторий гонят, Фурцева, не к столу будь помянута, примерно тогда же ответила: потому что теперь у нас есть свои кадры, — и весь мир так и присел от изумления.)

Этими стихами Евтушенко разом унизил русских и евреев — главное же, унизил поэзию. Потому хотя бы, что «навечно похоронен» — дикий, постыдный вздор. Как еще хоронят? Из гроба в колыбель, что ли? С реинкарнацией?

Чрезвычайно характерна природа фрондирования Евтушенки. Он по временам колеблется, не знает, на кого поставить: на режим, девальвирующий на глазах, или на растущий общественный протест. Диссидентство, общественное мнение в советской России — выросло из инстинктивной солидарности осовеченных евреев, когда на них пошла травля. В сталинском раю общества как такового не было, человеческая материя была раздавлена до атомарного состояния, отец доносил на сына, сын — на отца. Среди евреев это наблюдалось в меньшей форме; с них и началось. И вот после хрущевских разоблачений Евтушенко забеспокоился, почуял, что евреи опять обретают почву под ногами, что без них не обойтись, — и опасно «защищает» их, оставаясь в русле «интернационализма». И волки сыты, и овцы целы.

ПЕРЕМЕТЧИК

Сперва он был большевик из большевиков, комсомольские стройки воспел, родину (непреренно с прописной буквы) хоть и называл Россией, а понимал только как родину советскую, за чистоту интернационала сражался. Едва большевизм слинял, слинял и патриотизм Евтушенки. Он оказался в Америке — там, где деньги. Не скрывает этого, так прямо и говорит в интервью: «за деньгами». Комсомольцам — идеалы светлого будущего, построенного на кровавых костях в колесе, деньги — мне. Светлое будущее провалилось? Ничего страшного! Мое светлое настоящее при мне. Ну, не то, что прежде, в Америке меня никто не знает (а иные и знать не хотят), зато жизнь что надо. Да и родину легче любить издали. Бывший комсомолец, Иван, не помнящий родства, за измену не упрекнет. Он помнит с хрущевской поры, что с именем Евтушенки что-то хорошее связано. Он колебался вместе с линией, колебаний не замечая.

Со славой к этому времени у Евтушенки всё уже в порядке было. До славы Аллы Пугачевой (не говорим: Элвиса Пресли) Евтушенко не дорос, но тут и никто бы не дорос, ни один сочинитель, а «как поэт» — внутри одной отдельно взятой страны он получил максимум возможного. Мировой рекорд поставил. Полных 40 процентов россиян, люди, вообще ничего не читающие, слышали его имя (имя Пушкина при жизни классика слышала одна десятая процента сограждан).

Как можно было с такой легкостью, в одночасье предать родину, советскую и русскую? Да очень просто: никакой родины никогда у Евтушенки не было. Были подмости. Свою настоящую родину, поэзию, русскую просодию, русский язык — он предал тридцатилетним. Продал за деньги и славу, за сиюминутные наслаждения.

Предал не только поэзию, но и поэтов. Рассудком — не выживший из ума человек не мог бы на его месте не понимать, что доставшиеся ему советские почести и привилегии не отвечают его достижениям, его человеческой ценности; что они, эти льготы, украдены у других поэтов, безвестных, обездоленных, а талантом его превосходящих. Как Евтушенко относился к собратьям по перу? Когда кремлевская власть спросила его, талантлив ли Бродский, Евтушенко, говорят, ответил примерно так: талантлив, но к русской поэзии стихи Бродского отношения не имеют. Этим он, в сущности, помог Бродскому (вопрос был задан, когда решали, отпускать ли того), помог уехать и, следовательно, получить нобелевскую премию, но сам ответ — совершенно в духе сущности Евтушенки, ключевое слово которой — предательство. Евтушенко предал — в надежде избавиться от соперника в сердцах задумавшихся интеллектуалов, а проиграл по-крупному, особенно — в Америке.

СЕДИНЫ ЧЕСТНЫЕ

В 2004 году, сразу после катастрофы в Беслане, юноша, вчерашний школьник, не поступивший на филологический факультет, пришел в «Новую газету» в Москве со стихами, посвященными трагедии:

Я, недоучка всех на свете школ,
я — исключенец за чужие шкоды,
но я к тебе, Беслан, сейчас пришел
учиться у развалин твоей школы.

Редактору стихи не понравились. Он сказал автору:

— Молодой человек, мы все страдаем от этого ужаса. Я понимаю ваши чувства! Но что же вы пишете? Посмотрите на эту строчку: «учиться у развалин твоей школы». Так нельзя! Вслушайтесь в расстановку ударений. У вас в слове «твоей»

оно на О падает. Это безобразно. Вам не дается пятистопный ямб, простейший, самый расхожий из русских стихотворных размеров. Эту строку прочесть невозможно. Азбучная ошибка. Как если бы вы два на два перемножить не могли. Вы Пушкина читали? И при чем, скажите, здесь ваше «я»? Перед лицом такой скорби о себе нужно забыть. Хороший стилист вообще этого местоимения без нужды не применит. Нет, извините, мы не можем напечатать ваше стихотворение.

Но автор настаивает:

— Да вы прочитайте дальше! Тут есть поэзия! Не одна скорбь.

Редактор вздыхает, протирает очки и читает:

Чего в России больше ты, поэт?
 Да ты в сравненьи с гексогеном — мошка.
 Нам всем сегодня оправдания нет
 за то, что на земле такое можно.

Как все в Беслане вдруг слилось опять:
 проشياпленность, нескладица и ужас,
 безопытность безжертвенно спасать
 и в то же время столько чьих-то мужеств.

— Помилуйте! — плачет редактор. — Что такое «проشياпленность»? Зачем вам это уродливое словечко? Русский язык так богат! Ведь это ужас какой-то. И почему «безопытность»? По-русски — «неопытность». Опять же «безжертвенно»... И эти два «без» подряд... Какая безвкусица! Когда звук уродлив, смысл ускользает. Что вы, собственно, сказать хотите?

— Я предостеречь Россию хочу, а вы к пустякам придираетесь! — автор тоже чуть не плачет. — Вот послушайте, я вам дальше прочту:

И прошлое, смотря на нас, дрожит,
 а будущее, целью став безвинно,
 в кусты от настоящего бежит,
 когда оно ему стреляет в спину.

Тут редактор вздыхает с облегчением и встает.

— Отложим спор о просодии. Если вы не знаете, зачем в кусты бегают, говорить нам просто не о чем. Прощайте. Напечатать вас мы не можем. Вы просто не в ладу с родным языком и здравым смыслом.

А между тем на следующий день «Новая газета» выходит в свет с этими самыми стихами, их перепечатавают десятки других изданий. «Как это всё могло произойти?», спрашивает Гамлет (устаами Пастернака). Да очень просто. Полуграмотного мальчика мы придумали. Автор стихов — не он, а большой русский поэт Евгений Евтушенко, которого знают по имени 40% россиян, а 10% (полтора миллиона человек), пожалуй, и читали.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ПОЭТ

Если Евтушенко — поэт (а не предатель поэзии), если мы в своей читающей массе согласны признать его поэтом и даже большим поэтом, то впору спросить: а мы-то сами кто? Можем ли мы называть себя русскими, а свою родину — Россией? Я не об этносе сейчас говорю, этнос оставим расистам, а тонкий вопрос о двойном гражданстве — отложим. В культурном отношении мы все русские (все, для кого предмет разговора — не пустой звук). Но мы — не русские, а скифы с «азиатской рожей», если готовы считать Евтушенку поэтом. Потому что между Россией Пушкина (та — точно была Россией) и Россией Евтушенки — непреодолимая культурная пропасть. Не могут Пушкин и Евтушенко принадлежать одной поэзии, не могут в одной и той же культуре считаться поэтами. Могли бы, если бы не было «Братской ГЭС», «Бабьего яра», «Наследников Сталина» и еще великого множества убогих холопских и холуйских набросков, в особенности же постыдной «Школы в Беслане», — иначе говоря, если бы Евтушенке посчастливилось умереть молодым, оставить нам только свою раннюю лирику, пусть неустраимо советскую в большинстве стихотворений, но всё-таки живую. О нем бы сейчас вздыхали, как мы вздыхаем о Веневитинове: умер молодым, бедняга! Подавал такие надежды! Пусть подлаживался (кто без греха?), пусть был чуть-чуть больше гедонистом, чем даже поэту простительно, но написал же ведь замечательные стихи «Не понимать друг друга страшно». Они никогда не устареют — пока жив русский язык, пока он, язык, стараниями московских борзописцев, не вырождается в испорченный американский (но тогда и Пушкин устареет).

Сейчас приходится говорить другое: или Евтушенко — не поэт, или мы — не русские. Одно из двух, а третьего не дано. Если мы русские, если мы не сбрасываем Пушкина с парохода современности, то стихи Евтушенки — мыльная опера, а не поэзия. Человек этот родился поэтом, но продал душу дьяволу, служил Мамоне. Нет никакой возможности вылавливать каплю меда в его бочке дегтя.

Если мы останемся с Евтушенкой, тогда мы — другой народ, вырожденцы по отношению к великому народу, давшему миру Пушкина, Боратынского, Тютчева, Некрасова, Блока, Ахматову, Пастернака, Мандельштама. Мы недостойны этих имен. Никто из названных не признал бы Евтушенку поэтом.

Вот парадокс большой прижизненной славы: неизвестный поэт Евтушенко. Как в том анекдоте (о могиле неизвестного солдата с фамилией на мраморе). Неизвестно, был ли он поэтом. В молодости, пока совесть в нем не уснула, он тревожился на этот счет: «Я знаю, вы мне скажете: где цельность?» Скажем. Деваться некуда. Точнее, сказали бы, если бы еще была надежда.

Конечно, мы можем поместить Евтушенко и в другой контекст: спросить, кто он рядом с некоторыми сегодняшними известными авторами, вышедшими из самиздата. Эта точка отсчета для Евтушенки благоприятна. Самиздат на деле дал несопоставимо меньше, чем принято считать. Преобладает у этих авторов самый низкий третий штиль: стеб, ерничество, кривлянье. Где этого нет, есть филологический изыск без всякого внутреннего содержания — типа «Поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят хотеть...». Рядом с таким кимвалом бряцающим кто угодно покажется поэтом. Ранний Евтушенко — бесспорно.

«Быть новым, не будучи странным, всегда естественным и часто высоким» — такой завет оставил поэтам (и вообще художникам) XVIII век. Не видим, чтобы он устарел. Кто Евтушенко по отношению к этому завету? Новым он был в молодости, до предательства. Нова была его человеческая индивидуальность (при наличии таланта она всегда нова). Странности, нарочитости — почти не чувствовалось. Необходимую поэзии парадоксальность, живительный оксиморон, поставляла юноше сама жизнь. Потом, когда вдохновение стало изменять ему, Евтушенко загнал парадоксальность в рифму, приучил своего читателя ждать рифмы

неточной, уродливой, но зато неожиданной. Так это и осело во многих головах людей, от поэзии далеких: точная рифма — удел дилетантов.

Естественным Евтушенко тоже был — и тоже в молодости. В стихах о Беслане — всё неестественно, оттого и правды в них нет. Естественность искусства, повторим, в его искусственности. Когда художник не поднимается над действительностью, он искажает ее. Его задача — не отражать, а продолжать действительность. О рядовых (не самых ужасных) стихах Евтушенки можно сказать словами Боратынского: «всё это к правде близко, а может быть — и ново для него». Оттого-то они и есть мыльная опера, рыал-лайф, с ее слишком обыденной, приземленной, неправдоподобной правдой.

Высоким — Евтушенко не был никогда. Не знал и не знает ничего выше своего «я». Он, отдадим ему должное, намеренно низости не ищет, ею не упивается, — это уже немало. Мы не найдем у него пищеварительного остроумия типа «Осетринка с хреном поплыла вниз по батюшке, по пищеводу», характерного для сегодняшних стихотворцев. Спасибо и на том. Нет, он как раз пытался быть высоким, только с негодными средствами (что всегда смешновато). Пытался — да души не хватило.

Родиться поэтом вообще нехитро (говорит тот же Георгий Иванов), куда труднее поэтом умереть. Родная просодия с молоком матери впитывается. В молодости, пока играет ретивое, все — чуть-чуть поэты. Чтобы прочесть книгу стихов — уже нужно поэтическим даром обладать. Писать стихи, повторим, — простейшее из интеллектуальных упражнений. Русский язык словно бы специально для них создан. Сейчас около пятнадцати тысяч человек сносно пишут стихи на этом архаическом, а потому гибком, не застывшем, к душе обращенном языке, — и все они себя поэтами числят. Тут не легион, тут три легиона. Для читателя, к поэтическому слову глухого, эти легионеры неразличимы, сойдут за настоящих. Евтушенко разве что в третий легион тут попадет, и то — в числе последних. Он — не бездарен, он родился поэтом. Умереть с именем поэта ему не суждено.

ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ЛАВКА ДЕРЗОСТЕЙ (ВОЗНЕСЕНСКИЙ В ЛОНДОНЕ)

Странное это было представление — во всяком случае, для того, кто видел и слышал Вознесенского в 1960-е годы. Странное не только тем, как изменился кумир послесталинской оттепели, а еще и тем, каким он предстал в ином окружении, в иное время. В сущности, только ожидание этого терпкого *чувства времени* и привело меня в тесную гостиную лондонского Пушкинского клуба, на улицу Ладброк-гроув, 46.

Рухнули две опоры, на которых покоилась поэзия Вознесенского и его слава: большевизм с человеческим лицом в политике и наивное шестидесятничество в поэзии. Ленина, следуя его подобострастному совету, убрали с денег, но убрали и со знамен. Русский стих за Маяковским и его последышами не пошел, вернулся в присущее ему русло задумчивой медитации, одушевляемой преемственностью. Ни того, ни другого Вознесенский словно бы не заметил, но не заметил по-разному, чем с необычайной отчетливостью обнажил суть своего дарования.

Выхолощенная, сдавленная в тисках поэзия конца 1950-х годов жаждала обновления. Вознесенский на минуту показался глотком колодезной воды в пустыне. Он замечательно точно отслеживал социальный заказ. В нем было всё, чего ждали читатели (точнее — слушатели): игра слов и звукопись с претензией на значительность; публицистика, которую в ту пору с готовностью принимали за лирику; свободное обращение с метрикой, казавшееся новым, потому что большевики не позволяли прочесть кое-что старое, наконец, дозированная смелость, подкупавшая запуганных. Даже графика его стихов представлялась живительной после аккуратных и пустых катренов советских поэтов.

К концу 1960-х туман рассеялся. Оттепель прошла, общество протрезвело. Эстрадная поэзия перестала будоражить сердца и собирать стадионы слушателей. В ней заподозрили неладное.

Вознесенский еще числился в гениях, но был уже членом правления союза *советских* писателей — и бунтарем казался только близорукому. Легкие неполадки с властью объяснялись исключительно ее глупостью. В 1970-е годы последовала государственная (то есть, собственно, *сталинская*) премия. Поэт жил по-княжески, обзавелся переделкинским имением, целиком принадлежал субсидируемой литературе.

Тут на дворе повеяло диссидентством. Оно набирало силу, оттягивало умы и сердца. Нужно было подлаживаться заново. Чувствуя, что шарм уходит в песок, Вознесенский взбрыкнул: напечатался за рубежом, в нашумевшем тогда альманахе *Метрополь*, но — с боязливой оглядкой приспособленца: в этом альманахе *только он один* представлен текстами уже опубликованными, притом в советской печати.

Наконец, произошло и вовсе невероятное: тысячелетняя империя, на которую была сделана такая непомерная ставка, рухнула в одночасье. С нею бухнулась в Лету и вся субсидируемая литература, и вся ее кумирня.

Что же мы услышали в Пушкинском клубе? Как осмыслил это крушение и эти перемены Вознесенский? А никак. Верность поруганным идолам, согласимся, может внушать уважение. Юлия Друнина покончила с собою в год распада СССР. Вознесенский же — от своих вчерашних идеалов отвернулся, как если бы их вовсе не было. Измена старому во имя нового, лучшего, тоже не всегда преступление, — но у человека добросовестного она сопровождается нравственной работой, иной раз принимающей форму покаяния. Ни отзвука этой работы не расслышали мы в стихах, словах и тоне пожилого поэта. Ни тени беспокойства за свое прошлое не осенило его чела.

Зато измена была налицо, и какая! Вознесенский сменил идеологию с той же неправдоподобной легкостью, что и правящая верхушка России. Где были знамена и комсомольский энтузиазм, там теперь ладан и свечи. Социальный заказ отслеживается с прежней безупречностью и бездумностью.

Но, может быть, хоть отношение к слову у него изменилось? Нет, Вознесенский встречает новые времена во всеоружии старого арсенала. Набор поэтических средств у него всё так же скуден и невзыскателен. Если долго повторять *мани-мани-мани*

(то есть *toneu*), то за счет слияния звуков вычленяется нэма-нэма-нэма (украинское *нет*), — и нам предлагают верить, что эта сомнительная игра слов и есть поэзия. Возможен и другой звуковой ряд: *давай-давай-давай*, из которого Вознесенский остроумно извлекает фамилию режиссера: *Вайда-Вайда-Вай-да*. Вот уровень *находок* поэта. Верный шестидесятник, он по-прежнему думает, что поэзия — это жонглирование факелами или потряхивание погремушками, и расставляет читателю — виноват, слушателю — такие вот нехитрые капканы. В обращении с рифмой — всё та же неразборчивость, то же примитивное желание удивить. Представление о точности в работе со словом отсутствует напрочь. Вознесенский обращается всё к той же неискушенной аудитории, воспитанной на Симонове, а настоящих поэтов еще не прочитавшей. Всё в его стихах рассчитано на произнесение, на актерскую декламацию.

Читал Вознесенский чуть ли не за сорокалетний период: *Осень в Сигулде*, *Васильки Шагала* («Марк Захарович, Марк Захарович...»). Читал и кое-что посвежее... Тематическая наживка — всё та же: пошлость и грубость, проходящая под эгидой смелости. Он и сейчас думает, что, поэтизируя низости, поэт работает против лицемерия и ханжества общества, а если нас коробит, так это оттого, что мы несовременны. Перед нами разворачивалось триумфальное шествие галантерейной поэзии, меняющей местами мерзость и ценность — от искреннего неведения, что есть что, от непонимания природы человеческих ценностей.

Другая сторона *смелости* Вознесенского — якобы запретные темы. В одном из стихотворений он так и говорит: мол, когда запрещали, я писал о том-то и о том-то, а сейчас не пишу: «не хочу попасть в струю». Тут трудно не засмеяться. Дело не в том, что конформист уверяет, будто гребет против течения; даже — не в том, что Вознесенский преспокойно печатал *свое запретное*, живя рядом с действительно запрещенными, задавленными бездарной властью поэтами несоизмеримо большего масштаба. Комично самое разделение поэзии на темы запрещенные и разрешенные. Так и видится поэт, говорящий себе: напишу-ка я сегодня на запрещенную тему (о Шагале) — дерзну, так сказать, а уж завтра — так и быть, дам себе поблажку, напишу на разрешенную тему (о любви). В том-то и беда, что в поэзии нет разрешенных тем. Вся она — запретный плод,

потому и сладка, все темы — в одинаковой мере запретны, и запрет исходит из инстанции, несопоставимо более высокой, чем Кремль. Лирик, по словам Фета, кидается с шестого этажа вниз головой: вот какого рода смелость нужна поэту. Ничего подобного мы не находим в стихах Вознесенского. Его стихи — работа сугубо бумажная, расчетливая (даром, что расчет плох). Всё это наводит на печальные размышления. Выходит, можно жизнь прожить со славой поэта — да так и не понять, в чем поэзия состоит.

Впрочем, какая уж тут слава. Если что-либо, кроме работы времени, и отложилось на лице бывшего кумира, так это — недоумение. Бедняга Вознесенский искренне не понимает, куда подевалось его бывшее величие. Похоже, теперь уже и не поймет...

ВЫСОЦКИЙ БЕЗ ГИТАРЫ

Те, кто постарше, помнят Высоцкого — и не забудут никогда. В затхлой советской атмосфере значение его было огромно; он был явлением. Через него демократия в России — едва ли не впервые в советское время — заявила о себе в полный голос и совершенно неожиданным образом. Десятилетиями всенародная слава отпускалась в стране только из партийного распределителя — и вдруг произошло нечто неслыханное, притом в самом прямом смысле антисоветское: какой-то мальчишка-актер приобрел любовь миллионов, не только не испросив на это благословения большевистского Кремля, но, в сущности, и против воли и к неудовольствию этого Кремля. Советская власть проглядела его. Она держала под чудовищным контролем печать и радио, но каким-то непостижимым образом прохлопала, проморгала магнитофоны, забыла, что и они — средство публикации, да еще какое. К моменту появления Высоцкого коммунистическая идеология была мертва, подлинное национальное чувство приглушено, и у многомиллионного народа не оставалось почти никакой общности — разве что смутный великодержавный миф. Высоцкий дал миллионам ту общность, по которой народ изголодался. Для русского патриотизма он сделал несопоставимо больше кремлевских геронтократов, с подачи Сталина насаждавших первенство русских в «братской семье советских народов». Не будет преувеличением сказать, что благодаря Высоцкому разрозненное русскоязычное население громадной страны как бы заново почувствовало себя *народом*. Сверх того, он — через свою несомненную демократичность — принес и небывалое чувство свободы; он был в числе тех первых, кто пришел дать нам волю. В этом и состоит явление Высоцкого, социальное и культурное.

Если, однако, отправляться от культуры в собственном и узком смысле этого слова, то вопрос о том, кем был Высоцкий и что он сделал, приходится ставить и решать в другом ключе.

Вольная песня под гитару получила распространение до него. Жанр — создан не им. Слава *барда* тоже осенила его не первым.

До него были Окуджава и Галич. Всё, что нами только что сказано про Высоцкого, можно сказать и про них: они тоже были народны, служили общности и неизврращенному патриотизму, возвращали нам свободу и чувство собственного достоинства. Помещая Высоцкого в класс бардов, видим, что он был всего лишь одним из нескольких — из нескольких лучших (или, во всяком случае, знаменитейших), но едва ли лучшим. Окуджава, в этом нет сомнения, был лиричнее и задушевнее Высоцкого; Галич — драматичнее, ироничнее и острее. Однако у Высоцкого — больше почитателей. Только он, что называется, вышел в массы, стал чем-то вроде локального российского Элвиса Пресли, оставив этих двоих интеллигенции. Почему? Скажут: он умер в расцвете сил — и с печатью жертвы на челе; с властью прямо не сотрудничал; не состоял, как Окуджава, в коммунистической партии; не писал, как Галич, идеологически выдержанных пьес в эпоху социалистического реализма; не был, как они, принят в союз писателей и даже книги при жизни издать не сумел, опять — в отличие от этих двух, а обликом своим лучше и полнее, чем они, воплощал свободу и народность, — оттого и затронул самую заветную струну души народной.

Всё это верно, даже слишком. Но не следует ли признать, что заветная струна, затронутая Высоким, была не самой высокой и драгоценной? Демократия — родная сестра охлократии. Демократия казнила Сократа, привела к власти Гитлера. Она, хоть это и забыто, порождает тиранию не хуже иных других режимов, — не случайно в античные времена мыслители боялись ее пуще монархии или олигархии. Сталин, к примеру, был тиран, которого просвещенная Россия (меньшинство) ненавидела и презирала; а чернь — отрицать это немисливо — обожала. Именно обожала: боготворила. И она, чернь, составляла *демократическое* большинство. Да-да, демократическое. Не будь этого подавляющего большинства, режим не продержался бы 70 лет. Так же точно и в эстетике глас народа — не всегда глас божий.

В одной из статей на смерть Высоцкого он был назван народным артистом. Это очень точно: не пророк, не провозвестник, не поэт, а именно актер, человек сцены, человек роли, и — выходец из гуши народной. Носитель большого и специфического таланта, Высоцкий не имел своего

литературного голоса, своей собственной поэтической интонации. Почти то же самое можно сказать про Окуджаву и Галича. Они — лишь чуть ближе к поэзии, чуть дальше от подмостков, но всё-таки тоже — не в первую очередь поэты. Настоящему поэту *еще один* инструмент не требуется, даже мешает. Вообразите себе Пушкина с гитарой — не смешно ли? Гитара — договаривает то, что поскупилась сказать муза. Под перебор струн трогают и самые безыскусные тексты. В песне — не слова на первом месте, а мелодия. Она и важнее, и приходит к автору первой. Иногда слова вполне откровенно приносятся ей в жертву. Разве нужны они у Пресли, у Beatles? Разве эти эстрадные кумиры, молодежные народные певцы, именуют себя поэтами, претендуют на лавры Данта или Гете? А ведь иные сами сочиняют слова (у песенников слова, придуманные под мелодию, называются *рыбой*). Тогда и появляются бессмысленные, ложно-многозначительные фразы типа *I'd rather be a hammer than a nail*, — но какое это чудо под завораживающую перуанскую мелодию у Саймона и Гарфункеля!

Ту же *рыбу* видим и у Высоцкого:

Даже в дозоре
можно не встретить врага.
Это не горе,
если болит нога.

О стихах, о работе над словом, о внутренней поэтической мелодии — здесь говорить не приходится. В других песнях Высоцкого значение слова не так принижено, но оно нигде не самостоятельно, не самодостаточно, не живет без гитары. Чтобы слово у него заговорило, нужны «серебряные струны».

В песнях Высоцкого нет своего лирического героя. Герой взят напрокат — как и бывает у актера, вживающегося в роль. Актеры бывают трагические, комические, трагикомические, но сегодня у них одна роль, а завтра — другая. У талантливых актеров случается широкий диапазон, бывает глубокое постижение, «прочтение» роли. Иные — договаривают за драматурга или сценариста, подсказывают тому, кто пишет текст. Всё это — творчество, но — другое творчество, не собственно поэтическое. Поэтический голос тут не нужен.

Так и у Высоцкого. Он берет готовые личины, из которых первой и самой выигрышной была прибалтийская песня. На нее-то немедленно и отозвались массы. Лагерь, о которых сейчас молодежь слышать не хочет (и с полным правом), были еще рядом. Через них прошли миллионы, поколения. Интеллигенция не составляла в них большинства, большинством был пресловутый «социально близкий элемент», преобладавший и на воле. Он не мог не отозваться. Повеяло родным, посконным, повеяло той горечью, той специфической безысходностью, которая знакома только россиянам. Тема была самая народная.

Но и стихи Высоцкий составлял для этого соответствующие. Высокое, требующее душевной работы и воспитанного вкуса, в них отметалось — было неуместным. Песня зывала к темным сторонам подсознательного. Косвенно — и очень расчетливо — слушателю говорилось: высокая культура — вздор, наносный слой, в котором копошится гнилая образованщина; а правда-матка — вот она, грубоватая, с хрипотцой, но зато уж честная; да и жизнь — разве она не груба?

Второй личиной Высоцкого стала военная тема. Опять, как и в первом случае, он брал чужое, вживался в роль, слегка подновлял готового лирического героя, созданного не им. И опять играл наверняка: апеллировал к тому, что находило отклик в сердцах многих. Война, победа над нацизмом — вот что еще оставалось у советских людей общего; это было святое, неприкосновенное, — не случайно ведь и любое напоминание о том, что войну против преступника Гитлера вел, собственно говоря, преступник Сталин, массы встречали, да и по сей день встречают, негодованием.

Но если прибалтийская песня была только внутренне — через тот же «социально-близкий элемент» — сродни дорвавшейся до власти кремлевской черни, то здесь, в песне военной, Высоцкий уже прямо оказывается в русле официальной кремлевской политики и служит ей верой и правдой. Мало того, он служит ей лучше чиновных советских поэтов и композиторов. У тех продукция была выхолощенная, приглаженная, а у Высоцкого — словно бы душа народная заговорила, с всё той же грубоватой, непричесанной, но зато уж и несомненной правдой-маткой. Как тут слезу не уронить? Окуджава воевал. Галич сполна вкусил страха, несопоставимого

со страхом открытого боя с врагом: страха ночного ареста. Оба они, конечно, тоже в первую очередь актеры, вживающиеся в роль (и в этом смысле — конформисты: ведь что ни говори, а и в трагической роли актер, пусть самый гениальный, всё-таки только играет, не гибнет всерьез). Однако у каждого из этих двоих, хотя и в разной мере, есть лирический герой: очищенное и отфильтрованное человеческое я, нечто пережитое только ими, всерьез пропущенное через себя не на сцене, а в жизни, — не один лишь клюквенный сок вместо крови. Страдал, разумеется, и Высоцкий; кто же не страдает? (По Фету, страдает и «темный зверь».) Однако индивидуального, своего и только своего, в его песнях несопоставимо меньше, чем у Окуджавы и Галича. Свое, безраздельно свое — сужает круг тех, к кому обращено произведение искусства.

Наконец, и то нужно напомнить, что подлинное искусство очень избирательно. Высоцкий обращается к самому массовому и приземленному слушателю, его человеческое я растворено в массе, сливается с массой, отождествляется с нею, — оттого-то и его, Высоцкого, индивидуальность едва различима. Он догадливо подлаживается под самый непритязательный, самый расхожий вкус, то есть является конформистом в самом последнем и окончательном смысле этого слова.

Слово *конформист* мы не перегружаем отрицательными коннотациями. Это — отнюдь не ругательство. В обществе человек даже и не может не быть до известной степени конформистом. Полному и последовательному *нонконформисту* место в тюрьме, он опасен. Тот, кто хочет выражать волю, мнение или вкус многих (например, политик), попросту должен быть конформистом, притом в большей мере, чем человек, сторонящийся общественной жизни. Высоцкий и был конформистом в этом, сугубо демократическом, народном смысле. Он, если говорить словами Боратынского, был «вещателем общих дум» — и «выражение лица» у него — самое общее.

Но конформиста затруднительно считать поэтом, безотносительно к тому, к какой власти (идушей сверху или снизу) он приспособливается. Дело здесь не в том, что поэт непременно должен протестовать, бунтовать, — дело в том, что он в силу своей внутренней организации не может быть с большинством, даже если искренне хочет этого; он — «самой природы

меньшевик» (Мандельштам). Ему сказано: «живи один» (Пушкин). О себе он говорит: «Зависеть от царя, зависеть от народа — не всё ли мне равно? Ни в чем и никому отчета не давать, себе лишь одному служить и угождать... вот счастье, вот права...» (Пушкин) Вот, добавим мы, нонконформизм в поэзии. Высоцкий выбрал другой путь.

Потому-то те, кто ценит и любит Высоцкого, вовсе уничтожают его, говоря о нем как о поэте. Высоцкий был и остается большим социальным явлением, им можно восхищаться, его можно любить, — но поэтом он не был, если только не условиться считать поэтом всякого, кто пишет в рифму. Весьма характерно, что и в своем обращении со словом он был в первую очередь конформистом: чутко отслеживал социальный заказ на словесную акробатику, норовил удивить, а не восхитить, — то есть эксплуатировал самое низкое из чувств, участвующих в эстетическом восприятии. В итоге его стихотворные тексты относятся к поэзии примерно так же, как цирк к балету. Это культурно приготовленная рыба: очень бумажные, трудолюбиво написанные за столом тексты, сочиненные, сконструированные и пахнущие потом, — в то время как лирический поэт пишет с голоса: «Неволей иль волей он должен вещать, что слышит подвластное ухо...» (А. К. Толстой)

В начале 1990-х, сразу после открытия границы, один видный правозащитник-шестидесятник, некогда высланный из России большевиками, человек большого мужества, побывав в Москве — и вывез оттуда, среди прочего, недоумение, которое выразил в печати вопросом: «Где Высоцкий?! Нет Высоцкого!» Этот незаурядный, но далекий от поэзии человек думал, что Высоцкий — навсегда, как Пушкин; что он если не солнце, то, во всяком случае, звезда русской поэзии или, на худой конец, русской народной песни. Между тем судьба конформистов — устаревать первыми. То, что находит широчайший отклик, принадлежит своему времени — и уходит в песок вместе с ним. Каждому поколению кажется, что открывшаяся ему истина — последняя. При этом поколение как целое, как народная волна, видит свою истину отнюдь не в вершинных завоеваниях своего времени, а в чем-то расхожем и усредненном. Такой усредненной, расхожей истиной 1960-70-х и был Высоцкий. Годы 1980-е и 1990-е привели на смену ему других, тоже

расхожих выразителей другого времени, новых «вещателей общих дум», которые тоже сойдут и уже сошли со сцены вместе со специфическими чертами своего времени, с его пряностями и ароматами, эскападами моды и ритмической окраской. Высоцкий был талантливее многих, но его тексты вянут на глазах, всё более освобождаются от его голоса и гитары, когда же освободятся вовсе, — когда те, кому сейчас за пятьдесят, сойдут со сцены, — утратят всякую жизнь. Через пятьдесят, через сто лет их не вспомнят — или вспомнят как один из курьезов советской поры. И никому в голову не придет видеть в Высоцком поэта.

СКОПЕЦ В СЕРАЛЕ

Человеку, немало потрудившемуся для родной культуры, естественно написать книгу о себе или о чем-то своем, сокровенном. Если он вступил в преклонный возраст, от него обыкновенно и ждут подобного сочинения. Написал такую книгу и М. Л. Гаспаров, согласно аннотации к сочинению¹ — «крупнейший отечественный филолог, литературовед, член-корреспондент Российской академии наук» и лауреат всяческих премий. Написал он «причудливый сплав заметок, воспоминаний и литературно-критических эссе» (из той же аннотации). Название — выразительное и многообещающее: *Записи и выписки*. Нам понятно: за плечами ученого — громадная по интеллектуальной насыщенности жизнь, в которой, разумеется, не всё удалось привести в систему, — и вот он делится с нами набросками, рассыпает алмазы без оправы и алмазную крошку. Такую книгу открываешь с жадностью, предвкушая душевный подъем от приобщения к сокровищам.

Однако уже первая фраза звучит как-то странно. «У меня плохая память, — пишет Гаспаров. — Поэтому когда мне хочется что-то запомнить, я стараюсь это записать...» Мы признательны автору за мягкий, доверительный тон; мы немедленно отстраняем расхожую мудрость, гласящую: «Все жалуются на нехватку памяти, и никто — на нехватку ума», — но всё же мы озадачены. Нам говорят: «когда я хочу одно, я делаю другое», — что-то вроде: «когда мне хочется есть, я иду спать». Не странна ли такая невнятица в устах человека, любящего слово? Ведь он филолог! Мы, однако, не придиричивы. С кем не бывает? Человек, действительно любящий слово, знает, что решительно всякий текст поддается улучшению. У классиков, у самого солнца русской поэзии можно нашелкать немало орехов. Мы не придиричивы, ибо дело-то идет о другом: мы сейчас узнаем бездну интересных вещей, из которых про одни мы вообще не слыхали, другие нами были когда-то по лени или легкомыслию неправильно поняты, третьи мы забыли, и нам — напомнят. Нашей мысли предстоит пир. Ученый прочел

1 М. Гаспаров. *Записи и выписки*. Новое литературное обозрение, М. 2000.

невероятно много; рядом со своею мудростью он поставит отобранную им мудрость веков и тысячелетий. Настоящая книга всегда служит *совести* — общей, совместной вести; она общительна.

Между тем Гаспаров продолжает: «Сокращений я здесь не раскрывал: занимающимся историей они понятны, а остальным безразличны...»

Иной математик тут, пожалуй, книгу и закроет. Воспитанный ум редко безразличен к новым сведениям, а человек, придерживающийся знания для себя и своего круга, — не самый драгоценный собеседник. Но мы горячиться не станем, да и математик наш, быть может, продолжит чтение — хотя бы из простого любопытства. В конце концов, профессиональный снобизм бывал не чужд и великим умам. Сам Эйнштейн говорил, что здравый смысл — не более, чем предрассудок, складывающийся в возрасте до восемнадцати лет. Он хотел этим подчеркнуть, что причудливый, а то и капризный ход мысли бывает плодотворен. А какие шутки отпускал Давид Гильберт! Упоительные, но и не без чванства. «Имярек стал поэтом; для математика у него не хватало воображения...» Эпатаж подчас необходим, чтобы подзадорить нашу мысль. Нет, мы будем читать дальше.

Мы выхватываем нечто наугад — книга ведь и не предназначена для последовательного чтения — и немедленно вознаграждены:

«Если знаешь предлагаемое, то похвали, если не знаешь, то поблагодари (Фульгенций)»

Как чудесно! Вот высказывание, которое раздвигает наш нравственный горизонт. Оно поможет нам жить. Спасибо ученому. «Не знаем» — потому и благодарим. Но спросим: неужто лишним было бы напомнить нам хоть годы жизни этого Фульгенция или, там, намекнуть, чем он промышлял меж нас? Ведь без этого и смысл его слов не вполне ясен. Одни и те же высказывания при разных обстоятельствах значат разное. Конечно, если мы «занимаемся историей», да еще, по счастливому совпадению, историей раннего европейского средневековья, мы, пожалуй, припомним нечто: византийская Африка, пятый или шестой век, борьба с арианством. Но беда в том, что Фульгенциев, оставивших след в истории, было два, и оба, как на грех, жили в Африке примерно в одно

и то же время. Их даже специалисты веками путали. А тогда — не чрезмерно ли самолюбование автора? К чему он так красуется перед нами? И достойна ли позиция ученого, говорящего: «знаю, да не скажу»?

Но, может быть, Гаспаров и не знает. На такую мысль наводят поразительные неточности. Спрашивается, как можно было написать, что пушкинский *Борис Годунов* «длиной вдвое короче любой шекспировской трагедии»? Если под «длиной» ученый имеет в виду число стихотворных строк (ведь не протяженность же текста, вытянутого в линию!), то пушкинская трагедия с точностью до нескольких стихов равна *Макбету* (в обеих вещах — примерно 2900 строк). Не нужно быть литературоведом, чтобы заметить это. Как, однако, воспринимать слова человека, сделавшего знание литературы своей профессией, если он допускает такого рода оплошности? Чего стоят прочие его слова?

Листаем дальше — и находим такую выписку: «Аарон — это имя было в ходу только у евреев и донских казаков (А. Штейнб., 6)». Гаспарова поразило это не ему принадлежащее наблюдение, и он донес его до нас: спасибо! Но ученый, сталкиваясь с неожиданностью, обыкновенно задумывается о ее причинах, — Гаспаров же опять перекладывает эту работу на читателя. Он, скорее всего, не знает, что в XVIII веке донские казаки станицами держались Моисеева закона. Целый полк Войска донского (Хоперский казачий полк на кавказской линии) был составлен из жидовствующих. В городе Александрове (Александровске) русских иудеев, купцов и мещан, было больше, чем православных. Не обсуждает он и давнюю гипотезу о культурной преемственности между казаками и хазарами. Разумеется, не знать всего этого — не стыдно; не все филологи интересуются историей, да еще русской. Но стыдно уклоняться от вопроса, когда он напрашивается, прятать вопрос под самодовольной улыбкой. Высказывание, помещённое в живой исторический контекст, приобретает иной смысл — и в ином свете выставляет затеянную Гаспаровым игру в записи и выписки, не снабженные комментарием.

Посмотрим теперь, каковы сокращения в *Записях и выписках*. Иные — более чем прозрачны, например: Eccl. Это, разумеется, Екклесиаст. Легко угадывается и то, что предшествует

сокращению: «Faciendi plures libros nullus est finis». Тут знание латыни не обязательно, достаточно знания Библии: «Составлять много книг — конца не будет...» (жаль только, что отброшено: *а что сверх этого, того берегись*). Корни слов libros, nullus и finis наведут нас на след, напомнят знаменитое высказывание. Однако, вспомнив перевод (и похвалив, следуя правилу Фульгенция, переписчика), мы вынуждены будем спросить: причем тут латынь? разве по-русски эта вечная мудрость звучит хуже? А если уж филологическое шегольство непременно требует иностранного языка, то не лучше ли было привести высказывание на языке подлинника, благо он теперь в России не под запретом?

Рядом — другая латинская цитата и другое сокращение: «Nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius. Ter. Eun., 41.» Похвалим и это. Опять наш недоучка-математик угадывает: цитата — из *Евнуха* Теренция, римского комедиографа второго века до н. э., а означает: «Нет ничего сказанного, что не было бы сказано прежде». Угадать и припомнить — несложно. В культурном обиходе — всего три-четыре высказывания Теренция. Среди прочих, и это высказывание на слуху — и оно всегда кстати, ибо согрето верой в истину, а направлено против дешевого оригинальничанья. Настоящая мудрость не стареет.

Есть, правда, и такие выписки, к которым рекомендации Фульгенция приложить затруднительно, например:

ordnung ordnung
 ordnung ordnung
 ordnung ordnung
 ordnung ordnung
 ordnung ordnung
 ordnung unordn g
 ordnung ordnung
 ordnung ordnung
 ordnung ordnung
 ordnung ordnung

Тимм Ульрих

Благодарить тут не за что, а хвалить — нечего. Екклесиаст и Теренций душу человеческую исследовали, оттого и говорят с нами через тысячелетия живым человеческим голосом, а Тимм

Ульрих ничего не сказал, до такой степени ничего, что тут и перевод не нужен. Имя его Гаспаров, заметим, не сокращает, — возможно оттого, что настоящее имя этому Ульриху — легион. В России и своих ульрихов сколько угодно. Незачем было к немцам ходить.

Впрочем, одну важную рекомендацию тут, пожалуй, почерпнуть можно. Вот что *на самом деле* говорит нам Ульрих: смело выдавайте за произведение словесного искусства всё, что угодно. Никто не ужаснется, а иной — и процитирует.

До сих пор, однако, мы отмечали сущие мелочи в выписках Гаспарова — так сказать, разглядывали обстановку гостиной. А происходит в гостиной вот что:

Несчастливцы богаче счастливых.

Счастье — лень, счастье — праздность, счастье — скука.

Лишь в ненастье волна узнает берег,

Где опора — друг,

И целенье, пусть краткое, — подруга.

Не равняйте нас: праведные боги

Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Гаспаров, используя, по его словам, «такое мощное *сокращающее* средство, как верлибр» (курсив наш), предлагает нам «лирический дайджест, поэзию в пилюлях» из — соберитесь с духом — Боратынского. Зачем?! Сам он говорит, что хочет избавиться от «балласта». На подобные операции с русскими поэтами натолкнули его переводы из поэтов иностранных. Гаспаров пишет:

«Когда переводишь верлибром и стараешься быть точным, то сразу бросается в глаза, как много в переводимых стихах слов и образов, явившихся только ради ритма и рифмы. Когда мы это читаем в правильных стихах, то не чувствуем: в них, как в хорошо построенном корабле, балласт только помогает прямой держаться. Но стоит переложить эти стихи из правильных размеров в верлибр, как балласт превратится в мертвую тяжесть, которую хочется выбросить за борт...»

Поразительные слова! Ритм, без которого поэзия не обходилась никогда; рифма, к которой поэты обращаются добрую тысячу лет, — оказываются у Гаспарова внешними

по отношению к поэзии вещами, а подсказанные ими образы и слова — «балластом», «мертвой тяжестью», которую «хочется выбросить за борт». Выходит, что поэты дурачили нас, веками и тысячелетиями подсовывая то, без чего можно обойтись. Но вот, стараниями верлибристов, обман рассеялся — «Исчезнули при свете просвещения поэзии ребяческие сны», говоря словами Боратынского. Поэзия устарела — вот собственный смысл слов Гаспарова. Какая дивная, безмятежная вера в исключительность нашей эпохи и нас самих присутствует в этих словах! Мы — венец творения...

Но и в своем новом качестве мы не сторонимся образов. Вглядимся в поэтический троп Гаспарова «хорошо построенный корабль». Его особенность та, что он построен на удивление плохо, настолько плохо, что немедленно топит метафорический корабль ученого. Действительно, в море балласт становится «мертвым грузом» в одном единственном случае: когда корабль *гибнет*. Прибегая к поэтическому языку, но не владея им, не умея учесть сопутствующих ассоциаций, ученый говорит нам, что *верлибр губит стихи*, — нечто прямо противоположное тому, что он хотел сказать. Крупнейший отечественный филолог сам себя высек. Он держит в уме, что Данте, Гёте, Пушкин — сущие дети, не слыхавшие о самолетах, ядерных реакторах и структурализме, — и допускает стилистическую несурязицу, которая наших пращуров поразила бы куда сильнее атомной бомбы.

Теперь посмотрим, что послужило материалом для «дайджеста».

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;

Не испытав его, нельзя понять и счастья:

Живой источник сладострастья

Дарован в нем его сынам.

Одни ли радости отрадны и прелестны?

Одно ль веселье веселит?

Бездейственность души счастливых тяготит;

Им силы жизни неизвестны.

Не нам завидовать ленивым чувствам их:

Что в дружбе ветреной, в любви однообразной

И в ощущениях слепых

Души рассеянной и праздной?

Счастливы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?

Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным.
Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвеньё;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленьё!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги,
Скажу ль? все раны, все недуги,
Все расслабление души твоей больной;
Забыв и свет и рок суровый,
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханьи пить
Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!

Пусть мнимым счастьем для света мы убоги,
Счастливы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Вот с этим-то стихотворением 1820-го года и разделался почтенный академик.

Прежде, чем сопоставить подлинник и «дайджест», выпишем из одной старой книги следующий выразительный текст:

«Я любил вас. Быть может, в моей душе любовь еще не совсем угасла, но пусть она больше не тревожит вас; я ничем не хочу вас печалить. Любил я вас безмолвно, безнадежно, то робостью томим, то ревностью. Я так искренно любил вас, так нежно, как дай вам Бог быть любимой другим...»

Это переложение сделано в 1964 году Владимиром Вейдле, искусствоведом и литературоведом первой русской эмиграции, великим знатоком европейской поэзии. Вейдле хотел показать, как легко уничтожается чудо: достаточно всего лишь слова переставить.

Гаспаров, однако, не довольствуется перестановками или даже выбрасыванием «балласта». Его творческий вклад куда существеннее. Целых 11 слов из 35-и им *добавлены*, а основная мысль поэта подменяется ее *прямым отрицанием*. Происходит это в строке «И целение, пусть краткое, — подруга...». Боратынский говорит нечто противоположное: он возражает «шалунам», тем, кто довольствуется «минутным забвением». Он противопоставляет им «новую жизнь», то есть *будущее* счастье, которое ему (или, если угодно, его лирическому герою) легче понять, пройдя через страдание. Счастье — нечто неизмеримо большее, чем целение или забвение, и у поэта ниоткуда не следует, что оно должно быть кратким. Возлюбленная, сегодня равнодушная, завтра поймет героя и полюбит его, — вот о чем идет речь у Боратынского. Она умилилась, узнав, сколько страданий причинила любимому. Ни это стихотворение, ни весь контекст поэзии Боратынского, ни самая жизнь его, необычайно целостная, другого прочтения не допускают. У Гаспарова же выходит, что Боратынский — с шалунами. Мысль поэта извращена и опошлена. И ведь это еще мысль в обычном значении слова: понятийная, та, которую можно выделить из ткани стиха.

С мыслью поэтической у Гаспарова и вовсе катастрофа. По тональности, звуку и ритмической организации его переложение есть уже полное отрицание оригинала: оно банально, беспомощно, безвкусно. Вслушаемся во вторую строку: «Счастье — лень, счастье — праздность, счастье — скука...», — в этом присутствует какое-то глумливое поддразнивание. То же самое — в строке «И целение, пусть краткое, — подруга...». Как всё это убого рядом с живым дыханием поэта, с его благородным жаром, с добытой им непреходящей истиной!

Но самое поразительное вот в чем: в переложении имеется поэтическая мысль, *целиком привнесенная*. Это — третья строка: «Лишь в ненастье волна узнает берег...». Ни одного из этих слов (исключая предлог) нет у Боратынского, — нет, разумеется, и этого напыщенного иносказания, из числа тех, которыми пестрят сочинения начинающих стихотворцев. Эта строка — вся, от начала до конца, — *поэтическое произведение* Гаспарова. Она и есть мерило его вкуса и осмысления родной просодии.

Выходит следующее. Седовласый, увенчанный лаврами стиховед, во-первых, не понимает простого (внепоэтического)

смысла стихов, лежащего буквально на поверхности; во-вторых, не понимает поэтического смысла стихов (глух к стиху, не чувствует поэзии²); в-третьих и главных — *сочиняет*, паразитируя на шедевре гениального юноши...

Теперь ясно, зачем переложение потребовалось: затем, чтобы *сочинять*.

В этом Гаспаров типичен. Слишком многих литературоведов одолевает сегодня зуд стихотворчества. Слишком многие хотят быть поэтами и в глубине души считают себя поэтами. В стихах одной посредственной, но именитой московской поэтессы (по образованию она литературовед), читаем: «Поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят хотеть...». Если прибегнуть к сокращению (здесь оно более чем уместно), то дайджест содержит верное наблюдение: «все хотят быть поэтами».

По-человечески современного литературоведа можно понять и нельзя не пожалеть. Он — несчастнейшее на свете существо. Более всего он напоминает скопца в серале. Всю свою жизнь евнух служит *этому*, присутствует при *этом*, понимает это (с технической стороны, случается, лучше властителя), — а ему самому *этого* не дано. Правда, и ему достаются ласки, но другие, — он же грезит об *этих*. Всем своим существом хочет он причаститься тонкой душевной материи, расходуемой в двух шагах от него, но и сама она ему не отпущена, и природа ее, известная несчастному только теоретически, ускользают от чувственного постижения, порождая муки неутолимого сладострастия.

Зато уж *теорию* любовной науки иной скопец *превзошел* в совершенстве. Его хвалят как специалиста, ему расточают любезности, у него учатся. И вот однажды ему является шальная мысль: «а чем я-то хуже? я ведь умнее их, опытнее, образованнее...» Вот тогда и оказывается, что — «лишь в ненастье волна узнает берег».

Да, имеются замечательные исключения. Не вовсе перевелись самоотверженные историки литературы, исследователи и педагоги, влюбленные в слово, знающие свое место — и за счастье почитающие свою *служебную роль* в литературе.

2 Добавим: не знает азбучной истины, состоящей в том, что поэтическая мысль неотделима от поэтической формы. В иной форме она становится иной мыслью. Вспомним шиллеровскую *Перчатку* в двух русских переводах; у Лермонтова: «Благодарности вашей не надобно мне!», у Жуковского: «Не требую награды», — разве это одна и та же мысль?

Но тон задают не они. Типичный современный литературовед стихов не любит и не понимает. Он искренне убежден, что ритм, рифма и звукопись — выдумки поэтов, никак не соотнесенные с душевным жаром и природой творчества. Гаспаров пишет об этом с подкупающей откровенностью. И понять его куда как легко. Культурная среда не ставит ему в этом никаких препон, — наоборот, поощряет. В наши дни за стихи выдают любой бессмысленный вздор — вроде *ordnung*'ов или списка управдомов (у одного петербуржца), а человека, пишущего вздор, хвалят за оригинальность. «Для звуков жизни не шадить» — это *проехало*; от этого можно отгородиться термином, биркой: скажем, обозначить Боратынского романтиком. Чего проще? Не ясно ли, что романтизм наивен, а потому и устарел?

Однако *nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit* (нет книги столь плохой, чтобы она была совершенно бесполезна, Плиний, Письма, III, 5, 10). *Записи и выписки* Гаспарова тоже имеют свой поучительный смысл, правда, негативный. Два стихотворения, подлинное и извращенное, будучи поставлены рядом, с последней беспощадностью показывают нам, где мы очутились. На дворе — пик эпохи показного потребления искусства (*conspicuous consumption of art*, по определению американского мыслителя Торстейна Веблена): эпоха стервятников и мародеров от культуры. В русской словесности она приняла характер национального бедствия. Родное слово расхищается с небывалым доселе проворством. Книга в наши дни не издает только ленивый.

Всё это ставит вопрос: по-человечески жалея незадачливых литературоведов, не должны ли мы еще энергичнее пожалеть то, что они топчут: то, что для многих — в большей степени родина, чем бой часов на Спасской башне? Шекспировский Гамлет «суров из жалости», ибо пытается уберечь сокровенное. Те, кто жить не могут без подлинной русской поэзии, в таком же положении. Это, если угодно, патриотизм и в самом обычном смысле слова. Как только Боратынский и Пушкин будут стиховедами окончательно сокращены и превращены в дайджесты, нужды в России не станет — и она, за полной ненадобностью, исчезнет с географической карты. Величие этой страны в ямбах, а не в боеголовках.

В заключение сопоставим две цитаты. Одну возьмем из другого сочинения Гаспарова:

—	—	2	21	12	3
—	8	25	105	24	—
6	63	288	97	6	
62	412	433	66		
373	751	290			
812	804				
337					

а вторую — из архива самоубийцы:

«Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда.

26 августа 1941 г.

М. Цветаева.»

Эти два высказывания давно соседствуют в моих записях и выписках. Почему они оказались рядом, объяснять не нужно. Одним, если прибегнуть к формуле Гаспарова, всё и так понятно, другим — безразлично. Напомним только, что оба — о стихах.

ОТКРЫТ ПАНОПТИКУМ ПЕЧАЛЬНЫЙ

Галерея Аллы Булянской. Не слышали? В двух шагах от Пикадилли. Очаг высокой культуры. Даже рассадник. Форпост постмодернизма, так сказать. Всё, как в лучших домах. И вернисаж был что надо. Русская кафкианская тусовка. Ярмарка тщеславия. Вино рекой. Галдеж, теснота. Леди и джентльмены в нарядах. Официанты с подносами. Стареющие красавицы с печатью мировой скорби во взоре (от нехватки внимания). Местные лондонские знаменитости (с той же миной, по той же причине). Хваткие молодые журналисты. Интурист и консульство при галстухах. Гении большие и малые с блаженно-отрешенными улыбками. Бизнесмены и бизнесвумены. Музыка. Самодовольный господин и безвкусная дама побренчали в четыре руки на роялях. Бедный инструмент страдал неимоверно. Слушателей-по-неволе спасал гвалт, ими же и создаваемый. Гвалт стал и вовсе неимоверным, когда скрипку в руки взяла настоящая музыкантша...

И еще — речи. Как без них? С переводом туда и обратно. О величии великого русского искусства. О необходимости высоко нести знамя. О гениальности маэстро, в честь которого собрались. Художник приехал из мест не столь отдаленных, из Питера. Художник с именем. Картины — «в лучших галереях мира: в Русском музее, в Пушкинском музее, в Третьяковке, в Сеуле». Сам — в белой рубашончке, в летах. Тоже выступил: говорил о том, что, мол, другие города в последние две тысячи лет подвергались разрушениям, а Лондон — нет (про фау-2, значит, и не слыхивал). Чем Лондон и хорош. Себя, скромник, назвал студентом перед экзаменом: мол, трепещу, хоть и знаю, что велик. Всё чин чином. Но вот что было поразительно...

СПИНОЙ К ИСКУССТВУ

Поразительно было то, что к вывешенным на стенах шедеврам все стояли спиной. Это даже и физически было непросто, но ничего, справлялись. Те, кто лицом, — лицом не к шедеврам стояли, а к тем, кто спиной. За весь долгий вечер я так и не увидел ни одного человека перед полотном. Ни одного. Да и мудрено было. При всём желании — не протиснешься.

Спрашивается: зачем собрались? Людей посмотреть и себя показать? Не иначе.

Такова особенность нашего времени. *Conspicuous consumption of art* — так эта эпоха называется, так ее определил американский мыслитель Торстейн Веблен (1857-1929). Показное потребление искусства. Мы все стоим к искусству спиной. Делаем вид, что оно нам необходимо. На деле — ничуть им не интересуемся (а оно от этого киснет, перерождается). Если бы интересовались, не было бы этого вернисажа.

ОТ МИКЕЛАНДЖЕЛО ДО БОГОМОЛОВА

Вернисажа не было бы потому, что никто не счел бы питерского гения художником, а его произведения — искусством.

Звали приезжего Глеб Богомолов. Ему за шестьдесят. Можно не сомневаться, что в юности, со всем присущим ей душевным пылом, он хотел служить высокому искусству, начинал в фигуративной манере, изображал, — по наивности и неведению. Но годы шли, признание не приходило, к высокому он поостыл, и в один прекрасный день понял, откуда дует ветер. Ветер, как выразился Солженицын, всегда слева дует. В наши дни это уже не шквальный ветер, но всё еще порядочный мистраль. Все дудят в одну дуду: в концептуальную. Полотно должно озадачивать — иначе перед нами не искусство. Зритель должен остановиться перед холстом в недоумении — и спросить. Тут, как черт из табакерки, немедленно выскакивает дипломированный искусствовед и важным тоном начинает: «В этой работе художник хотел сказать...»

Слышали. Слышали тысячи раз — и устали. Больше не верим. Ничего художник не хотел сказать. И ничего не сказал. Точнее, сказал одно: «Я художник! Пожалуйста, восхищайтесь

и платите...» Это нехитрое послание читаем на всех полотнах Богомолова с их ошеломляющим новаторским приемом — позлащенным рядом. Других сообщений нет. Его «абстрактные композиции» семантически пусты. Не выражают ничего. Не несут в себе ни мысли, ни чувства.

Но, может быть, они новы? Куда там! До Малевича с его квадратами не дотягивают. Тот был откровенный, неприкрытый профанатор, довел живопись до логической полноты уничтожения: до работы маляра. Но и он не остался непревзойденным. Ведь не всё же в изобразительном искусстве к живописи сводится! В 1950-е Ив Клейн на одном из своих парижских вернисажей выставил... голые стены. «На этой стене я изобразил то-то и то-то...» И продавал! Да-да, продавал пустоту. Люди, стоящие спиной к искусству, покупали и платили, поскольку оказалось, что это — выгодно. Так что по отношению к Малевичу и Клейну Богомолов — эпигон. Новизны в его «работах» нет.

А если бы и была. Уж сколько раз твердили миру: новизна как таковая никакой эстетической нагрузки в себе не несет. Во времена живого искусства никто о ней не вспоминал. Сомневаетесь — откройте Вазари: нигде он не выставляет новизну как самостоятельное достоинство. Не было такой категории. Художниками в ту пору владела тяга к совершенству, к постижению мира и души человеческой. Они не удивлять хотели, а восхищать (по точной семантике слова, похищать душу зрителя и возносить ее). И зритель был благодарный: готов был восхищаться, спиной к искусству не поворачивался.

В брошюре о Богомолове нам доверительно сообщают, что он — нонконформист. Это ложь и вздор. Богомолов — именно конформист, приспособленец: он откровенно подлаживается под преобладающий общественный вкус эпохи показного потребления искусства. На животе ползает перед этим Молохом. Угодничает. Приспосабливается к равнодушным. Точно знает, что никто не крикнет ему: «А король-то голый!» Но смутно и мучительно, на уровне подсознания, он, конечно, догадывается, что в один прекрасный день все его полотна свернут и стыдливо спрячут в запасники «лучших галерей мира». В этом трагедия всякого профанатора: он ищет сегодняшнего признания, немедленного, но в глубине души знает настоящую цену своим творениям.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Этот очень русский вопрос стоит сегодня перед всем мировым искусством, переживающим небывалый в истории кризис. Люди, не потерявшие совести, подчас пребывают в растерянности. Они говорят себе: сегодня невозможно работать в духе эпохи кватроченто или в духе Пуссена, даже в духе импрессионистов, а с профанаторами типа Дамиэна Хёрста и Трэйси Эмин нам не по пути. Что делать? Может, живопись уже умерла?

На второй вопрос ответа нет. Не исключено, что стараниями ученых лет через двести выяснится, что мы с вами, сегодняшние, — уже не люди, а новый биологический вид, не *homo sapiens*, отличительной особенностью которого было то, что без искусства он существовать не мог.

Зато на первый вопрос ответ известен. Если мы всё еще люди, то общее правило никуда не делось, оно и сегодня в силе, совершенно так же, как при Леонардо: настоящее произведение создается нравственной работой, напряжением душевных сил, любовью, служением добру, истине и красоте. Оно немислимо без аскезы, без самоотречения. В минуты творчества художник не думает об успехе, занят выяснением своих отношений с Богом (даже если он атеист). Он расходует себя, отрекается от сиюминутных радостей, одержим высоким, снедающим душу чувством. (Непреренно высоким. Певец низости — не художник.) Тогда — если повезет — он создаст нечто, важное для многих и долго не стареющее. Это ведь, в сущности, пробный камень искусства: настоящее — живет долго. (Потому-то словосочетание «современное искусство» есть противоречие в терминах: что сегодня современно, устареет уже завтра, а значит и сегодня — не искусство.)

Настоящая живопись пока еще существует. Старинное правило работает. Живут на этом свете люди, им руководствующиеся, — вопреки подлому «духу времени». Они и есть настоящие нонконформисты: знают, что прижизненного успеха им не видать, знают, что держащие нос по ветру «лучшие галереи мира» ничего у них не купят. Настоящие художники сознательно уступают успех «тревожным арендаторам славы», как определил профанаторов Набоков. Их имен мы не читаем в газетах. Но воздаяние тех, кто работает честно, — несопоставимо выше

любой славы, будь она громкой, как у Хёрста, или местечковой, как у Богомолова. Русский поэт, погибший в 1938-м в сталинских лагерях под Владивостоком, определил это воздаяние так: «Песнь бескорыстная — сама себе хвала...».

ПРИГОВ: ВЫСОКИЕ ПОПОЛЗНОВЕНИЯ (Перформанс в лондонском Пушкинском клубе)

Странное дело: долгожданная свобода печати в России нанесла самый сильный урон именно тем, кого при большевиках не печатали. Люди, чьи репутации десятилетиями созидались и лелеялись в полуподполье брежневского «застоя»; чьи имена произносились с благоговейным трепетом; чьи тексты перепечатывались и распространялись не без некоторого риска (помните? «Эрика берет четыре копии. Вот и всё! А этого достаточно»), — эти самые люди, — ну, не все, конечно, но чего уж греха таить? — большинство, — вдруг оказались в положении андерсеновского голого короля. Свобода печати обнажила их наготу, и нам стало стыдно — за них и за себя.

Одна из таких жертв перестройки — Дмитрий Пригов. Жертва он именно в этом, андерсеновском смысле. В обычном смысле у него всё в порядке: он — преуспевающий автор («поэт»), чье имя на слуху. Его тексты включают в антологии, поощряют литературными наградами. Он и в начальники выбился: в число богатых, преуспевающих начальников от поэзии. Есть такая должность: начальник поэзии. Возникла при большевиках, да так и осталась, не исчезла в свободные времена. Раньше были Демьяны Бедные, Тихоновы, Сурковы, Михалковы и им подобные сатрапы, которые вещали и не пушали. Теперь — другая хунта, и Пригов в нее входит.

Но шила в мешке не утаишь. Давно отмечено, что «тревожный арендатор славы» (так Набоков определил породу случайных выскочек) в глубине души знает свое место, — оттого и тревожен. Пригов — тревожен деятельно. В 1999 году на конгрессе поэтов в Петербурге он с трибуны Таврического дворца заклинал будущее рассуждениями о том, что в конце концов «низкое становится высоким». (Почти как большевики. Те распевали: «кто был ничем, тот станет всем».) Болезнь свою, заметим, он угадал верно: болезнь Пригова и всего так называемого

современного искусства состоит в боязни высоты, в неспособности к высокому. Больные догадываются, что рядом, не на эстраде, делается что-то подлинное. Отсюда их тревога и апологетика.

И как же всё это было очевидно во время выступления Пригова в лондонском Пушкинском клубе!

Слушателей в крохотной гостиной клуба собралось ровно десять человек, включая жену автора и двух устроителей. Одиннадцатым, но едва ли слушателем, оказался семилетний мальчик, прихваченный молодой парой; по британским законам детей до 12 лет нельзя оставлять дома одних. Председатель клуба, не слишком удачливый поэт и переводчик Ричард Маккейн, представил Пригова неформально; почему-то не произнес даже обычных в подобных случаях слов «известный московский поэт». Пригов привык к другому: к оживлению, к полным аудиториям. Он, в сущности, и заслуживает полных аудиторий, ибо его тексты обращены ко многим. В скомканном, невнятном предисловии гость сказал, что обстановка располагает к «тихому и нежному чтению», читал мало и вяло, без обычных перформансов (подвываний), и, кажется, был удивлен, что никто не пожелал задавать ему вопросы и покупать его книги.

Что же мы услышали? Да всё то же. Пригов по-прежнему честно выполняет социальный заказ вчерашней московской интеллигенции, потерявшей последние эстетические ориентиры. Заказ этот — развязная бытовая шутка и анекдот, трёп, «ничего серьезного». В понимании заказчика поэзия сводится к ёрничанью, скоморошничанью. Высокое в нее не допускается. Еще до перестройки в московских салонах основательно устали от «вдохновенных» идеологических стихов вроде евшушенковских и от гробовой учительной серьезности советской литературы. Что и понятно; трудно было не устать. Всё это поперек горла стояло. Но устали там и от другого. Со времен послесталинской оттепели хороший тон требовал от интеллигента интереса к поэзии, это в джентльменский набор входило, а поэзия была советскому интеллигенту не по зубам и не по нраву. Она вообще не ко многим обращена. Пушкина интеллигент худо-бедно знал (и не понимал), Блока кое-как переварил, Мандельштама попытался читать и отложил с оторопью. Интерес к поэзии ему приходилось имитировать. Чтобы удовлетворить запрос такого читателя-слушателя,

требовался компромисс: нечто, одновременно и поэзией считающееся (притом не евтушенковской, а настоящей, «сложной»), и доступное, главное же — развлекательное. Чтобы душевной работы требовался минимум. Тут как нельзя кстати и подвернулся Пригов.

Кое-как рифмованные тексты Пригова можно называть стихотворениями, а можно и поостеречься. От стихов в привычном значении слова их отличает не особая словесная организация, а насыщенность энтропией. Семантика практически изгнана; логику не пускают на порог, на бумагу заносится и до ушей слушателей доносится первое, что пришло в голову, — такова установка. Автор зачастую не твердо знает, что именно он хочет сказать, этим своим незнанием упивается, шалает от произвола в обращении со словом — и находит всему этому полное понимание у своей услужливо хихикающей обывательской аудитории. Другое он знает наверное: толкователи найдутся. Их — тоже изрядная толпа, и они толкователи штатные, на академической зарплате. Пригов — настоящая находка для литературоведов, особенно западных. Там как раз таких текстов и ждут: рассредоточенных, ложно-глубокомысленных, густо-энтропийных. Вот наугад выбранное законченное стихотворение:

Ко мне подходит мой злодей:
Вот я злодей твой прирожденный
На это дело порожденный! —
Ну, что ж! — я говорю. Злодей
Давай работать

Невооруженным глазом видно: расход душевной энергии на единицу слова приближается здесь к нулю. Такие стихи можно писать километрами. Что Пригов и делает.

Бездарен ли Пригов? Как исполнитель он определенно талантлив, голосовые данные у него завидные, редкостные. Как затейник и конферансье, более того: как властолюбец, оседлавший слово и подчиняющий себе толпу, он, вероятно, талантлив. Но всё это ни в малейшей степени не делает его поэтом. Потому что как автор он малодушен. Поэта от куплетиста отличает жертвенность. Даже когда поэтическое слово приходит легко, когда «минута, и стихи свободно потекут», стихотворчество — труд изматывающий, требующий нравст-

венного напряжения, аскезы. Другие радости жизни, непосредственные, сегодняшние, приносятся в жертву выверенному совестию слову. Тут и проходит водораздел. Пригов не располагает (или не готов жертвовать; это почти одно и то же) тонкой материей, одушевляющей слово, сообщающей ему полновесность. А тексты, написанные без этого приношения музе, нежизнеспособны. Они, в лучшем случае, привязаны к сегодняшней конъюнктуре, держатся на молчаливой конвенции посвященных — и умирают вместе с последним из них. Контекст уходит в песок. Другая эпоха требует других скоморохов.

В защиту Пригова можно было бы сказать, что его тексты заведомо, по самой своей фактуре принадлежат третьему штилю: рассчитаны на то, чтобы вызывать смех, а не восхищение, и что такие тексты — нужны. Они даже необходимы, они всегда существуют рядом с литературой. Бытовое острословие, шутка, игра со словом, подчас и ёрничанье — всё это подступы к искусству слова. Людям необходима разрядка смехом. Но всем этим и задан масштаб и диапазон продукции Пригова. Всему свое место. Странно видеть человека, удачно сострившего в застольной беседе, когда после этого он встаёт, раскланивается и возлагает на свою голову лавровый венок.

Есть и еще один важный довод в пользу таких текстов. Они были к месту в удушливой атмосфере советского академизма — как реакция на чиновных сочинителей субсидированной литературы, имя же им легион, на тогдашних столоначальников и письмоводителей от поэзии, с их расхожими ямбами и пошлой дидактикой. В этой реакции и была сосредоточена вся подлинная жизнь приговского ёрничанья. Но атмосфера сменилась, а Пригов всё тот же, с той разницей, что претензии у него иные: тогда он довольствовался малым, теперь — хочет убедить нас, что он творит нечто подлинное, высокое. Тут его впору пожалеть. Бедняга совершенно так же не понимает своего места, как его не понимали Шипачевы и Асадовы. Те тоже считали себя поэтами, бронзовели на глазах — и ничего не оставили. В наши дни уже Пригов — столоначальник и письмоводитель, новый калиф на час. Пошлый советский истеблишмент вывернут наизнанку. Владимир Соловьев, помнится, спрашивал в таких случаях: «Неужели это такая неотвратимая у нас судьба: одну неправду

уравновешивать другою?» В цикле Пригова «Москва и москвичи» имеется ямбическая строка: «Москва стоит, да нету москвичей». Что имел в виду автор, по обыкновению неясно, но сама по себе строка выразительна и многозначительна. В самом деле: где они, москвичи, поэты и читатели некогда великой русской литературы? Читатели — особенно. Без настоящего читателя и поэту взяться неоткуда. До тех пор, пока есть читатели у Пригова и ему подобных, не стоит удивляться жалкому состоянию современной русской поэзии.

ОБМАНУВШИЙСЯ И ОБМАНУТЫЙ (Геннадий Айги в лондонском университете)

Нередко образ отвечает мало
Тому, что мастер в нем желал найти, —
Затем, что вещество на отклик вяло.

Данте, *Рай* 1, 127-130.

Геннадий Айги¹ — один из самых знаменитых на Западе «современных русских поэтов». Его сравнивают с Бродским: пишут, что Айги, не уступая Бродскому масштабом, находится на противоположном — «иррациональном» — краю поэтического спектра. Его не раз выдвигали на нобелевскую премию. Он переведен на множество языков. Большая энциклопедия издательства Кирилла и Мефодия отмечает, что Айги испытал «воздействие французской поэтической культуры, философии экзистенциализма и русской религиозной мысли», что в его стихах «раскрывается связь, подчас мучительная, с иррациональными глубинами бытия». Немецкий энциклопедический словарь русской литературы Вольфганга Казака говорит, что Айги прибегает к элементам «мета-поэтики и метаграмматики» (то есть, следовательно, осуществляет переход к другой грамматике и другой поэтике); что его стихи — «феномен крайнего нонконформизма»; что творчество Айги знаменует собою «духовный протест во имя подлинной человечности». Западные источники сходятся на том, что Айги сложен, его метафоры с трудом расшифровываются и не всегда поддаются интерпретации.

В Лондон Айги приехал для представления своей двуязычной книги. Журнал *Time Out*, оповещающий о культурных событиях Лондона, поместил портрет Айги и называет его «великим поэтом», а также (со ссылкой на французского поэта Жака Рубо) — обладателем «одного из самых необычайных поэтических голосов на земле».

1 Скончался, когда книга готовилась к печати.

Казалось бы, невозможно сомневаться: перед нами культурное явление — грандиозное или, по меньшей мере, значительное. И вот Айги приехал и выступил в лондонском университете. Что же мы услышали?

О ДА: РОДИНА

была как лужайка страна
мир — как лужайка
там были березы-цветы
и сердце-дитя
а как те березы-цветы ветром этого мира сдувались
и розы-снега
окружали как ангелов-нищенко вздох
сельских безмолвных!.. — и с их Свето-Жалостью
вместе
светили
(здесь — место молчанию
такому же долгому
как бесконечная жизнь)
мы назывались — *Сияния этого* многие
каждый скрепляя
свеченье живое
вторично в страданьи
(та же
из здесь
тишина)
и слушали-были: что чистота скажет Словом единым?
не прерываясь
лучилось:
мир-чистота

Картины родной природы в соединении с духовным восприятием родины вызывают у автора ощущение возвышенной чистоты: вот и всё, что мы извлечём из этих строк, преодолев их намеренную затемненность и свое невольное недоверие к такому письму. Переживание это старо как мир, известно поэтам всех времен и народов, пропето всюду: от аравийских песков до лапландских снегов. Оно всюду традиционно — что, само по себе, очень хорошо: ведь поэт не придумывает чувств, а только находит для них слова. (О *мыслях* в обычном значении этого слова — и говорить

не приходится. Поэзия, подсовывающая нам действительно новую мысль, может случайно оказаться хорошей философией, но наверняка будет плохой поэзией.)

Прописи гласят: *новое* в лирической поэзии достигается органическим слиянием «вечных» человеческих переживаний (ибо мы, ей богу, мало изменились за последние столетия), одушевленных приметами места и времени, с выразительной словесной формой, скрепленной ритмом и звуком и согретой человеческой индивидуальностью сочинителя, его душевным своеобразием. (Так примерно понимал подлинную новизну Гете.)

В приведенных строках Айги форма незначительна, если не вовсе ничтожна. Ритм изгнан почти полностью, звук беден до крайности. Тропы — либо проходные («сердце-дитя», «бесконечная жизнь», «свеченье живое» и т. п.), либо заимствованные («розы-снега»), либо нелепые и ложно-многозначительные («Свето-Жалость»; в авторском написании обе части слова идут с прописной буквы). Графическое оформление стихов в книге — еще одна нелепость, которую нам выдают за новаторство, хотя ей — сто лет в обед. Отказом от знаков препинания, помнится, баловался еще Аполлинер: эпатировал буржуев. Той же незамысловатой природы — и отказ от прописных букв, и размещение на строке возможно меньшего числа слов. Всё это было — да прошло, потому что не работает. Иначе говоря, в приведенном тексте нет ни новизны, ни метафизических глубин, ни сложного или загадочного содержания, а всё «иррациональное» и «мета-грамматическое» сводится к простому невладению нормативной русской речью.

Спросят: откуда же взялась репутация Айги? Ведь что-то должно стоять за всеми теми учеными словами, с помощью которых нам объясняют значение его музыки? Этот вопрос напрашивается, и ответить на него можно по-разному. Например, так:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой.

Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Эти стихи, в сущности, о том же: о переживании природы (мира) как чистоты, — но с одним важным отличием: *в них нечего объяснять*. Не в том смысле, что тут нет метафизических глубин или иррационального содержания (как раз наоборот: глубины здесь разверзаются космические, стихи же — всякие стихи — иррациональны по самой своей природе, недаром в платоновом *Государстве* для поэтов места нет), а в том смысле, что здесь не нужен посредник между поэтом и читателем. Любой человек, если только он не глух к поэзии, тотчас увидит и признает, что перед ним — чудо, та самая статуя, которая, по Готье, «переживет народ», — но как только это признано, ученый литературовед становится не нужен. Особенно западный, русским языком владеющий сносно, а русской просодии не чувствующий.

Литературоведение — наука молодая и беспокойная: беспокоится за свою репутацию и место среди других наук. Ее беспокойство понятно. Особенностью этой науки является то, что она не в состоянии определить свой предмет. Определение литературы отсутствует. И уж подавно литературовед не располагает весами, позволяющими отличить хорошее от плохого. На вопрос, что замечательно, а что — дурно, в прежние времена (когда литературоведов не было) отвечали критика и читатели, то есть общество в целом, причем иногда поиски ответа затягивались на несколько поколений. Но для исследователя литературы посредственное художественное произведение может оказаться и часто оказывается не менее интересным, чем шедевр. «И не менее полезным», добавят литературоведы, утверждая тем самым свою независимость. Химику, скажут они, всё равно, что думает обыватель о кислороде или сернистой кислоте, — так почему же ученый, занимающийся словесностью, должен брать в расчет мнение обывателя о романе или поэме? Что материя обходится без человека, а литература без него обойтись не может, — этого они не вспоминают.

Обыватель, со своей стороны, присматривается к тому, что делается в университетах, — в особенности если сам он к словесности равнодушен и своего мнения не имеет. За интересами обывателя внимательно следит журналист. Так возникает цепная реакция «эпидемических внушений», о которой Лев Толстой писал: «Важность события, как снежный ком, вырастая всё больше и больше, получает совершенно несвойственную своему значению оценку, и эта-то преувеличенная, часто до безумия, оценка удерживается до тех пор, пока мировоззрение руководителей прессы и публики остается то же самое...».

Первая жертва «эпидемических внушений» — сам автор, теряющий голову от успеха, перестающий понимать, на каком он свете. Айги — типичнейшая из таких жертв. Перед нами человек обманувшийся и обманутый. В начале 1960-х он оказался в немилости у кремлевского начальства и был взашей вытолкан в полуподполье и самиздат, что немедленно выделило его из толпы. Настродался он, кажется, по-настоящему. Весу в глазах критического общественного мнения прибавило ему еще и то, что родом он из деревенской глуши, из недр далеко не благополучного и тоже пострадавшего чувашского народа. В России ведь до сих пор поощряют «выходцев из народа» — как если бы все прочие вышли из какого-то другого места. И вот диссидент, к тому же и пишущий свободным стихом (а кто тогда не бредил свободой?), был выхвачен лучом прожектора. Его стали печатать за границей (там всегда находятся ценители русского слова), — а к загранице в России отношение особое; да и вообще «нет пророка в своем отечестве». И — снежный ком покатился...

Осталось отвести утверждение, что Айги — нонконформист. Нонконформистом он, пожалуй, и был — в затхлые советские времена, когда не только семантический пуантилизм, а и самые обычные, со времен Фета (или, уж во всяком случае, Блока) бытующие у нас повествовательные верлибры казались властям непозволительной дерзостью. Но уже со времен сталинской оттепели общественный вкус всё более склонялся в сторону всяческого словесного экспериментаторства — и по той же самой причине: в пику советскому академизму. К началу 1970-х левая эстетика настолько утвердилась если не в печати, то в умах, что следование ей утратило последние признаки бунтарства.

Представление о норме рухнуло, приспособливаться или не-приспособливаться стало не к чему. О послеперестроечном времени и говорить не приходится. Академизм и авангард советской поры попросту поменялись местами. Теперь нонконформист в поэзии — тот, кто не отвергает с порога традиционного стиха. Наоборот, верлибрист — именно приспособленец, подлаживающийся к вкусу тех, кто не любит и не понимает стихов.

Утверждение Вольфганга Казака, что стихи Айги — «духовный протест во имя подлинной человечности», на деле — сущий вздор. Перед нами конформизм, расхожий *неоконформизм*: приспособленчество к запросам западных университетских славистов и испорченному вкусу российской околосредствительной публики. Нет здесь и человечности. Отказ от грамматической нормы делает текст механистичным — в духе стихов, писать которые давно уже научены компьютеры-роботы, — то есть именно бесчеловечным.

Нельзя не чувствовать симпатии к чувашскому народу, полузадушенному в объятиях «первого среди равных». Можно, по-видимому, испытывать сочувствие к Геннадию Айги как человеку, — но было бы ошибкой распространять эти чувства на его сочинения, — по крайней мере в том случае, если любовь к родной культуре — не пустой звук для нас. Платон друг, но истина дороже. Возможно, Геннадий Айги — не мошенник и не откровенный спекулянт, каковых в литературе немало. Насчет своего литературного дара, робкого и незначительного, он обольщается *честно*, да и подкрепление черпает в словах и делах людей, которых прямыми жуликами не назовешь. При всём том продуктом содружества Айги и его западных университетских покровителей является обман. Его тексты, не лишённые расхожей поэтичности, но напроочь свободные от какого бы то ни было словесного мастерства и вообще от работы над словом, не являются стихами и лежат за пределами искусства.

ГОНФАЛОНЬЕР СПРАВЕДЛИВОСТИ

Мы все в долгу перед ним — и не сознаем этого. Что, в сущности, нормально. Не вспоминать же с благодарностью Фарадея всякий раз, как мы свет включаем.

Так и с Наумом Коржавиным: он — среди тех, кто открыл нам глаза на природу советского режима. Он включил нам свет. Слышу возмущенный хор: нет, мы сами! Конечно, сами. Кто же спорит? Думающие люди в России никогда не переводились. Но всё же атмосфера понимания созидалась немногими; немногие могут быть названы по именам, и Коржавин — среди них. Согласно знаменитой догадке венгерского писателя Фридьеша Каринти (подтвержденной учеными), между мною и любым человеком на планете — всего шесть ступеней разобщения, всего пять знающих друг друга посредников. Участвуют семь человек: я-1-2-3-4-5-любой. Я знаю первого, первый — второго, ... пятый — того самого заранее выбранного любого. Можно поручиться, что в среде советской интеллигенции, в сталинской, хрущевской или брежневской России, — с избытком хватало одного посредника. Каждый знал кого-то, кто лично знал Коржавина.

Разумеется, советская власть ушла — и типун на язык тем, кто говорит, что она возвращается (хоть это и похоже на правду). Режим дискредитирован в глазах всех думающих людей, он — прошлое. Но этот режим был частью нашей жизни (для старших — важнейшей частью); он присутствует в нас, даже в тех, кто родился в 1990-е (через их бабушек и дедушек); и он — один из самых поразительных эпизодов мировой истории. Коржавин — в числе тех немногих, кто внес ощутимый личный вклад в разрушение империи зла. Его имя, хоть и не первым, стоит в одном ряду с именами Сахарова, Солженицына, Окуджавы, Бродского, Галича, Алешковского. Дивное достижение! Преклоним колена перед патриархом свободы. И перечитаем его стихи.

ЮНОША-ВОИН

Главной особенностью советского режима была его тотальная, всепроницающая ложь. Говорили одно, подразумевали и делали другое. Такой концентрации лжи — и такой изощренной лжи — история не знала. Бывали хуже времена, но не было подлей. В рабоче-крестьянском государстве говорили слова, на которые не возразишь, — вот в чем была подлость; говорили о справедливости, о прекращении угнетения человека человеком. Какой контраст с нацистами! У *тех* душегубов всё было начистоту.

Конечно, и то правда: мир несправедлив от своего основания, это в его природе. «Несчастлив добрый, счастлив злой...», говорит Боратынский. Да и справедливость — не родная ли дочь зависти? К ней апеллируют и коммунисты, и шовинисты. Она недостижима, но уж если она написана на знамени, то первая ее жертва — культура. Какая справедливость, если один талантлив, а другой нет? Выдавать обоим поровну! Или когда талант внизу, а бездарность — наверху? Но зато когда обиженных в обществе много, справедливость становится притягательна — и соблазняет самых стойких...

Родившимся после воцарения лжи заметить ее царство было непросто. «Когда слепой жук ползет по поверхности шара, он убежден, что под ним плоскость... Здравый смысл — система предрассудков, складывающихся до восемнадцати лет...». Вывод, к которому мальчишкой пришел Коржавин, был сродни парадоксальным выводам Эйнштейна. А Коржавин именно мальчишкой понял главное. Семнадцатилетним, если не раньше. Понял — и восстал. Мириться не смог.

Что же, никто вокруг не понимал? Нет, понимали, но — не те: старшие, *бывшие*. Ахматова, например; ее выручала религиозность, широкая историческая ретроспектива. Но от старших помощи ждать не приходилось; подрастающие дети не верят родителям, особенно *бывшим* (повзрослев, сперва дедов вспоминают, затем — отцов). В 1942 году Коржавин мог вообще не знать имени Ахматовой (как не слышал о ней Бродский до 1959-го). Если знал, думал, вероятно, что ее нет в живых или что она в эмиграции. Она была не в счет. Прошлый век, барство, декадентство, полумонахиня-полублудница с четками перед иконой (это было произнесено позже, но Жданов не сам придумал; так видели многие). Чему у таких учиться? На дворе — новый мир! Мир справедливости.

Коржавину тоже помогла ретроспектива: поэты прошлого. *Футуристам от политики* не всё удалось сбросить с парохода современности. Не все люди живут только сегодняшним днем. Людей с исторической памятью воцарившаяся ложь опасалась больше всего. Потому-то поэты и были всегда неудобны большевикам: они, в точности как люди религиозные, помнили и сопоставляли, искали опоры в тех, кто жил прежде. Прочим современникам — историческую память словно отшибло. Большинству ученых — тоже. Наука вообще индифферентна к нравственности. В этой гипотезе она не нуждается.

Что же увидел юноша-воин? Началось с малого: со школьной литературы.

Еще в мальчишеские годы,
Когда окошки бьют, крича,
Мы шли в крестовые походы
На Лебедева-Кумача.
И, к цели спрятанной руля,
Вдруг открывали мальчуганы,
Что школьные учителя —
Литературные профаны.
И, поблуждав в круженье тем,
Послушав разных мнений много,
Переставали верить всем...
И выходили на дорогу.

Кто такой Василий Лебедев-Кумач, сейчас без микроскопа не выяснить. А тогда — этого поэта-песенника, этого депутата-сановника — *знали все*. Он был одной из физиономий режима. На первой сессии верховного совета выступил с речью в стихах. В школьные учебники, впрочем, не попал, и крестовые походы против него только мальчишеством и можно оправдать.

Дальше — больше: догадка, что общество, задуманное и (казалось бы) построенное на самых справедливых началах, сверху донизу поражено болезнью.

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и урча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.

(...) А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник,
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.

(Заметьте эти два начальных А в двух стихах одного катрена!
Неужели поэту — не мешало?)

И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах...
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные — кругом...
И я бродил в акациях, как в дыме,
И мне тогда хотелось быть врагом.

Какой выпад! И когда? В 1944-м! Он и стал врагом. Поначалу — еще не советской власти, она в принципе казалась правильной, даже безупречной, а ее «насквозь неискреннему» извратителю, «сытенькому» чиновнику, поправшему романтику революции. Коржавин верит, что вся беда — в нем: «Он спрятался за знаменами красными, а трогать эти знамена — нельзя!» Коржавин — рефлексирующий бунтовщик, задумчивый карбонарий: «А может, пойти и поднять восстание? Но против кого его поднимать?»

К тому же он — патриот.

(...) Мы родились в большой стране, в России,
В запутанной, но правильной стране.
И знали, разобраться не умея
И путаясь во множестве вещей,
Что все пути вперед лишь только с нею,
А без нее их нету вообще.

Это — 1945-й, год победы. Коржавину двадцать. Казалось бы, уж в этих-то стихах он — со всеми, дудит в общую дуду. Но это не так.

Сейчас прочно забыто, что к 1943 году, под влиянием военных успехов, завершилась идеологическая линька, начатая в 1930-е: интернационализм большевиков вдруг разом уступил место русскому шовинизму. Не СССР, а Россия стала «лучше

всех», как в песне поётся, и не благодаря самому передовому общественному строю, а — изначально, с первых шагов своей истории. Началось до войны: фильм «Александр Невский» Эйзенштейна (1938), где главная тема — скрытые враги, уже был насквозь шовинистическим (иные говорят: почти фашистским). А лакмусовая бумажка времени — стихотворение Симонова (урожд. Кирилла Симоняна) осени 1941-го «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Там всё об этом: «русская околица», «русские могилы», «русские обычаи», «русская земля», «по-русски рубаху рванув на груди», «русская мать». В одном стихотворении — восемь русских. А вот концовка: «Я всё-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился, За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что, в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла...» Каково это было слушать воинам-татарам или воинам-армянам, отступавшим по тем же дорогам Смоленщины?

Еще живы люди, которые были потрясены этим перерождением. Оно оказалось глубоким; готовилось долго; в России нашло полное понимание в массах.

Коржавин (родившийся не в России, а на Украине) был подхвачен общим потоком, но почти сразу начал из него выгребать. В 1945-м уже нельзя было без риска сказать про Россию: «запутанная страна». «Правильная страна» — тоже никуда не годилось; сознание, что она — *лучшая*, мессианская, что она спасла или вот-вот спасет, предназначена спасти мир, висело в воздухе (в сознании иных — застряло навсегда). На тех, кто в этом сомневался, в 1945-м писали доносы. Конечно, сейчас мы горько усмехнемся: есть, значит, неправильные страны; с еще большей горечью прочтем (с нашим-то опытом!), что «все пути вперед лишь только с нею, а без нее их нету вообще». «Вперед» оказалось — к путинской России, к денежному мешку и коррупции, к несвободе уже не во имя справедливости, а прямо и неприкрыто — ради власти, ради эксплуатации человека человеком. А «нету вообще» сегодня невольно так читается: в других странах живут люди непутевые — и даже не совсем люди. Но не забудем: автору — всего двадцать, а на дворе — 1945-й. Опять — дивная смелость, вызов, самостоятельное осмысление происходящего.

В 1945-м Коржавин поступил в московский литературный институт (где, говорил Солоухин, считался одним из самых способных студентов); в 1947-м он был арестован, сидел на Лубянке, находился в ссылке до 1952-го, затем амнистирован, реабилитирован, в 1959-м окончил литературный институт, в 1963-м был принят в союз писателей и выпустил книгу стихов. По-настоящему начал публиковаться с 1961-го.

ПРОРОК

Послесталинская оттепель обманула. К концу 1950-х всё яснее становится, что «советская власть неисправима, неизлечима» (Аркадий Белинков), что она в принципе порочна. «Единственно правильное учение» на глазах превращалось в утопию. Вторжение в Чехословакию поставило последнюю точку. Все, кто способен был понять, поняли.

Но это — потом. А в 1953-м, и особенно после хрущевского съезда (1956) люди верили. Еще бы! Происходило невероятное: из лагерей стали возвращаться. Вернувшихся — принимали в общество, восстанавливали, реабилитировали. Вчерашние узники сами едва верили этому. (Лучший пример — Заболоцкий, словно росой умывшийся просто от возможности жить на воле, писать и публиковаться.) Палачи забеспокоились. Фадеев пустил себе пулю в лоб (как вскоре выяснилось, зря; поторопился.) Весенний воздух будоражил, окрылял. Люди стали делиться своими мыслями, обсуждать, надеяться. Нарождалось общественное мнение. Делало первые шаги диссидентство. И — поднял голову самиздат.

Тут всем стало ясно, что Коржавин — пророк. Разве не произнес он страшных истин еще в начале 1940-х? Разве не приучал вдумываться, вглядываться, сомневаться?

Вчерашний ссыльный, еще не член союза писателей, оказывается на гребне волны. О нем говорят, его стихи переписывают от руки (пишущих машинок у частных лиц еще почти нет). Его слава становится всемосковской, а главное — народной, несанкционированной, настоящей. И киевлянин полюбил Москву ответной любовью; полюбил этот город, главной исторической характеристикой которого было и остается самодовольство; поверил, что Москва и есть Россия.

Библейский пророк — не ясновидящий, он не предсказывает будущего, а зовет народ к нравственному очищению. Именно это и делает Коржавин. Теперь уже все знали: марксистские вожди — не святые, они ошибаются, бывают властолюбивы, творят несправедливости и жестокости (да-да, это *знание* было важным шагом вперед!). Но противостоять гнету, опиравшемуся на сияющую правду, на безупречную и незыблемую теорию, и тогда решались немногие. Коржавин — не мог не противостоять: любая несправедливость взрывала его изнутри. Он становится совестью России, — не в одиночку, нет, а в числе немногих самых отважных, самых жертвенных (разумеется, из числа тех, кто был замечен; как быть совестью, если тебя не слышат?). При этом диссидентство как движение его ничуть не привлекает. Он просто «не может молчать».

А в Москве подмораживает всё явственнее. Молчать всё труднее. В 1966-м Коржавин выступил в защиту Даниэля и Синявского, в 1967-м — в защиту Галанскова и Гинзбурга и за открытое обсуждение письма Солженицына четвертому съезду писателей. Всё это идет ему в зачет в глазах крепчающих день ото дня хозяев. Его досье давно вернули из архива.

К этому времени явственно обозначилась и новинка: антисемитизм в среде диссидентствующей интеллигенции. Евреи оказались в тисках: режим — не пушал в университеты и лаборатории, на сцену и в журналы; общество, недовольное режимом, — в народившиеся салоны, к очагам культуры нравственного сопротивления. Тут-то Гарик Губерман и произнес свое знаменитое: «за столом никто у нас не Лифшиц».

В 1971-м Коржавин пишет поэму «Абрам Пружинер. Сказание о старых большевиках Новороссии и новых московских славянофилах». Героя поэмы, комиссара-еврея, автор высмеивает и унижает:

И от классовой фортуны
Опьянев, — на всех орлом
Вниз глядел как бы с трибуны,
Даже дома за столом.

Новым славянофилам Коржавин говорит, что они — духовные дети этого комиссара, хоть и отрешиваются от него:

Лишь тебя за всё, что было,
Производят в князи тьмы
Молодых славянофилов
Романтичные умы.

Он пишет, что «умы» прибегают к методам Пружинера; утверждает, что у него, Коржавина, — не меньше прав на Россию, чем у любого из этих славянофилов.

Но теперь уже его не слышат. И вот в 1973-м, после допроса в московской прокуратуре, Коржавин подает заявление на выезд. У него будто бы осведомились о причине такого решения, а он, как передают, ответил: «Нехватка воздуха для жизни». В ту пору почти все, хоть и по разным причинам, могли бы сказать такое, да не у всех спрашивали.

В 1974 году Коржавин эмигрирует и поселяется в Бостоне, штат Массачусетс.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Говорят, все мы (старшие) — продукт советской системы. В самом отталкивании от режима присутствует привязанность к нему, счеты с ним занимают место в наших душах. Солженицын, Бродский, Галич — даже они не освободились вполне, унесли большевизм на своих подошвах.

Про Коржавина это можно сказать с еще большим основанием. В сущности, он (прибегнем к рискованному оксиморону) просто — *честный советский человек*. В новом мире, провозглашенном Октябрем, его всё устраивало — если бы только слова учения не расходились с практикой Кремля. Слова-то всё хорошие были произнесены: интернационализм, равенство, отмена угнетения человека человеком...

Тут кроется трагедия. Ибо опыт показал: *честный и советский* — «две вещи несовместные». Коржавин, как сказано, внес ощутимый личный вклад в разрушение империи зла, но сделал он это невольно, нечаянно: сам-то он сражался за ее, империи, сохранение. Он твердил бандитам Кремля и Лубянки: будьте честны! — и долго, долго не понимал, что они — не могут, не смогут, даже если б захотели. Делал он свое дело с редким мужеством, с непостижимым упорством. Верил, значит, что

люди могут жить в братстве, работать бескорыстно, быть добры и справедливы друг к другу. Получается, что по всей логике, по всему здравому смыслу и праву он, Наум Коржавин, — герой Советского Союза. Лучший из героев.

Коржавин и в другом — советский человек: он считал нормальным существование субсидируемой литературы, естественными — учительные функции печатного слова. Он верил и верит, что писатель и читатель — два разных зоологических вида: писатель каким-то образом возвышается над читателем, умнее его, имеет перед ним преимущества, общественные и чуть ли не правовые (всяческие там дома творчества, деньги из литфонда и иные подачки, а главное — право на творческую праздность в стране подневольного труда). В этом ему тоже не посчастливилось: он дожил до эпохи, когда грань между писателем и читателем в русской культуре стерлась окончательно — как это и должно быть, как это всегда и было на Западе. «Властителя дум», водившегося в России XIX века, развенчали, стащили с его идеологического пьедестала.

Но худшая из советских черт пришла к Коржавину с послесталинской оттепелью, когда, как чорт из табакерки, выскочили на эстраду фальшивые крикуны-рифмоплеты. В ранних стихах Коржавин пытался размышлять, тут — начинает ораторствовать. Ему, как и этим скоморохам, нужен переполненный зал. Где, в какой стране западной цивилизации можно вообразить поэта-трибуна? Не то что сейчас, а хоть в XVIII веке? Их нет. Поэтов-вождей видим только в странах с неокрепшими свободами. В молодых *демократиях* Африки они, случалось, правительства возглавляли. Те же сумерки свободы забрезжили в России в 1950-е годы. Как раз тогда про Евтушенко было сказано страстным заговорщическим шепотом: «этот человек способен возглавить временное правительство!». Поэты собирали тысячные залы слушателей — и уверились, что так и должно быть, что слушатели пришли к ним за поэзией, а не за глотком свободы. Тогда и в стихи Коржавина попали лозунг и пустая риторика.

Наконец, и в своей любви к Москве он — патриот не русский, а советский. Москва при большевиках превращается в спрута, сосущего кровь изо всей страны. Она — город-эксплуататор, и в этом смысле — отрицание России. Московская прописка сделалась привилегией почище членства в союзе советских

писателей, отгораживала привилегированных от полуголодной провинции, от бед и нужд большинства. Вся власть, все деньги, все возможности — были там. Все оппортунисты ринулись в столицу. Диссиденты, и те имели в Москве льготы: до посадки — право быть услышанным дома и за границей, после отсидки — опеку со стороны фрондирующей богатой московской публики. Даже для отсидевших литераторов находилась работа в издательствах. Всё в этом дебелим «городе кровей» дышало самодовольством и внутренним нездоровьем — совсем как в Ниневии Ашшурбанипала. И московское самодовольство передалось Коржавину, присутствует в его стихах.

НА ВЫСЕЛКАХ

Многим волей-неволей пришлось признать, что не «все пути вперед лишь только с нею». Коржавину — тоже. Оказалось, что в России — дышать нечем, жить нельзя, а сама она пятится куда-то назад, в средневековье. Наверху сидели недоумки и недоучки, бряцавшие Марксом; в народе (ибо интеллигенция и есть народ) образованные и как будто бы неглупые люди черпали вдохновение в расовой неприязни; в толпе — старинная расовая неприязнь на глазах переходила в ненависть.

Коржавин не был выслан, уехал сам, принял решение мужественное и, в сущности, трагическое. Можно сколько угодно заклинять себя: «не дорожи любовью народной». Кто этой любви вкусил, ее не забудет, обречен страдать от ее нехватки, как от удушья.

Это и произошло. Русско-еврейская Америка 1970-х была элизиумом теней для человека, дышавшего московским воздухом 1940-60-х. Признание никуда не делось, даже любовь народная была тут; читатели Коржавина начали выезжать года на два раньше, чем выехал он. Но любовь эта была не той интенсивности. Еще Кюстин писал, что в свободной стране поэту делать нечего. В потребительском обществе поэзия — обочина жизни, занятие маргинальное, привлекающее немногих. Русская поэзия в иноязычном мире — обочина обочины. Коржавин внутренне готовился к изоляции в чужеродной среде, провозглашал на языке, которого так и не выучил: «I will be happy!» (думал, вероятно, что это по-английски — полнозвучный ямб), но он не был готов к тому,

что русские стихи съёжятся, их шрифт измельчает; не был готов к отчуждению от того, что в Москве напыщенно и самонадеянно именовалось духовными ценностями.

В год выезда Коржавину нет пятидесяти, он еще далеко не старик, а — всё позади. Антей оторван от почвы. Мира, в котором он жил, больше нет ни по ту, ни по эту сторону океана. Есть мир теней, мир прошлого. Коржавин на выселках и сам становится тенью. К западной жизни ключа не находит, окружающей действительности не чувствует. Его бросает в крайности. Он чуть-чуть смешон — как всякий человек, не понимающий своего места, переживший свою эпоху. Он вещает из своего угла — и не видит, что слушатели прячут улыбку. Он горячо, смакуя московскую *poésie maternelle*, рассуждает о мировой политике (при этом путает Намибию с Зимбабве). Он сражается с тенями во имя других теней. Его проза многословна, бесформенна, скучна. Его выступления против Бродского неубедительны (эпоним сороковых сердится на эпонима 70-х за то, что тот пишет неправильно и забрал слишком много власти; несправедливо!). Он — Эйнштейн в Принстоне: пребывает в стагнации, не понимает выводов, сделанных другими на основании его же открытия.

ВЫКРЕСТ

Зачем Коржавин крестился? Трудно вообразить себе человека менее религиозного. Стихи не оставляют в этом сомнения. Бог там назывной, лозунговый, лубочный; присутствует, как Маркс в стихах советского поэта. (Этим, конечно, Коржавин, как и многие, нарушает седьмую заповедь: не поминать всуе.) Тут он полная противоположность Заболоцкому, который считал себя атеистом, на деле же, в стихах и в жизни, был человеком глубоко верующим. Не про таких ли, заповедь чтящих, Чехов сказал, что «равнодушие у хорошего человека есть та же религия»? (Это из дневников 1897 года: «Легкость, с какою евреи меняют веру, многие оправдывают равнодушием. Но это не оправдание. Нужно уважать и свое равнодушие...»)

Народное религиозное творчество всегда шло в России от Нового завета к Ветхому — и только в послевоенном СССР двинулось в противоположном направлении. В 1960-70-е интеллигентные евреи массами стали креститься. Делали они

это, что называется, по велению сердца, по зову свыше, но в социальном смысле это был эскапизм. Не хватало воздуха для жизни. А поскольку большевики верующих не поощряли, то в крещении был еще и вызов. Понятно, что Коржавин не мог пройти мимо этой формы протеста. К тому же все великие русские писатели прошлого были православными. Мысль «лучше — с ними, чем с предавшим справедливость Кремлем» могла присутствовать в его решении. Бога в этом решении не чувствуется.

«ОСМЕЛЮСЬ ВОЗРАЗИТЬ!»

А стихи?..

При имени Коржавина в памяти тотчас встают три стихотворных фрагмента. Первый — знаменитое возражение Павлу Когану (1918-42), погибшему на фронте молодому поэту, с которым связывали большие надежды. От Когана остались студенческая песня *Бригантина* («Надоело говорить и спорить и любить усталые глаза...») и очень идеологический, большевистский выпад: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал...». Как и Багрицкий, Коган страдает ностальгией по романтике революции, растоптанной «сытенькими» обывателями.

В 1944-м Коржавин затевает «крестовый поход» против Когана, противопоставляет политической правде — эстетическую, жестокости — человечность:

Меня, как видно, Бог не звал
И вкусом не снабдил утонченным
Я с детства полюбил овал,
За то, что он такой законченный.

Звучит тут, конечно, и ревность к ранней славе Когана, но дело не в ней: как это часто у Коржавина, первые два стиха катрена — вообще необязательны, они всего лишь подставка для двух вторых. Заметим еще, что «Бог» в этих стихах целых 45 лет писался со строчной. Зато уж «родина» у Коржавина — как в сочинении прилежного советского восьмиклассника, всегда идет с прописной — вопреки грамматике и логике русского языка. Это чисто советский фетишизм: на место творца вселенной — в качестве истинного Бога — подставляют страну.

Второй фрагмент — патриотический, это возражение Н. А. Некрасову:

...Столетье промчалось. И снова,
 Как в тот незапамятный год —
 Коня на скаку остановит,
 В горящую избу войдет.
 Ей жить бы хотелось иначе,
 Носить драгоценный наряд...
 Но кони — всё скачут и скачут.
 А избы — горят и горят.

Третий фрагмент — диссидентский, бунтарский; это «крестовый поход» против самого Ленина, у которого «декабристы разбудили Герцена».

Любовь к добру разбередила сердце им.
 А Герцен спал, не ведая про зло...
 Но декабристы разбудили Герцена.
 Он недоспал. Отсюда все пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
 Он поднял страшный на весь мир трезвон.
 Чем разбудил случайно Чернышевского,
 Не зная сам, что этим сделал он.

(...) Какая сука разбудила Ленина?
 Кому мешало, что ребенок спит?

Здесь зал непременно раздражается бурными аплодисментами. Аплодируют до сих пор. Да и как иначе? Старшие еще помнят времена, когда Ленин был мессией, а эти дерзкие стихи — в 1972-м написаны! Коржавин свободой, а значит — и жизнью рисковал, — ради нас, ради правды. Перед нами новый Радищев, бунтовщик хуже Пугачева.

Три фрагмента. Все три — реплики типа «осмелюсь возразить!», с вызовом и юношеским задором. И все три — без всякого ущерба для смысла — перекладываются веской убедительно прозой. Где тут собственно поэзия? Перед нами фельетоны. Остроумные, резкие, точные и своевременные. Поэзии с ее виноградным мясом — тут нет вовсе; не ночевала; простыни не смяты. И рифма — не в счет. Она вообще

не отличительное свойство поэзии, она и в пословицах присутствует («любовь зла, полюбишь и козла»), и в афоризмах, запавших в душу векам (*la canne pensant*; не было бы у нас мыслящего тростника, не случись у французов созвучия), а поэзия обходилась без нее тысячелетиями.

Точнее, рифма тут *почти* не в счет. Она свое дело делает. Звукопись в поэзии привносит в текст *убедительность*, приближает стих к формуле. Только за этим рифма Коржавину и потребовалась. Он хочет убеждать, переубеждать — и видит, что в рифму это удастся лучше, люди больше прислушиваются, крепче запоминают. Никакой другой правды рифма у Коржавина не содержит, и от этого она такая заскорузлая, безвкусна. «Живую ветвь с родного берега», как у Боратынского, она не несет, «с божественным порывом» никого не мирит.

Другая особенность стихов Коржавина — их частушечность. Это ведь в частушке первые две строки служат подставкой для двух вторых. Они всегда присочиняются задним числом — и отдергиваются перед нами, как занавес перед публикой, открывая эффектный афоризм или дидактический пассаж. Шов посреди катрена у Коржавина всегда просто в глаза бросается, и этот рассудочный, механистический конструктивизм убивает всякую естественность, а с нею — и поэзию. Афоризм ведь совсем не обязателен в поэзии, не им она жива. Грибоедов весь состоит из блестящих и острых предметов, только косвенно соотносящихся с поэзией.

Конечно, мы не забудем некоторых стихов Коржавина. Например, этих:

Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.
(...) За что — обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.

(...)Они хватались за людей.
 Они молили. И любили.
 Но у мужчин идеи были,
 Мужчины мучили детей.
 Я жив. Дышу. Люблю людей.
 Но жизнь бывает мне постыла,
 Как только вспомню: это — было!
 Мужчины мучили детей!

Правда, правда! Сильно сказано, точно подмечено! Но опять: перед нами — фельетон, нравственно безупречная и совершенно непоэтическая мысль, слегка закамуфлированная под поэзию. Поставим рядом с нею одну наугад выбранную строфу из стихов почти полного однофамильца Коржавина — ну, хоть эту —

Когда Психея-жизнь спускается к теням
 В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,
 Слепая ласточка бросается к ногам
 С стигийской нежностью и веткою зеленой.

— и мы немедленно отброшены назад, в эстетическую пустыню народничества XIX века. Есть на свете правда более высокая — и уж какая тут справедливость!

По исполнению стихи Коржавина плоски, невыразительны, просто плохи. Нередки и прямые примеры невладения языком: «Где б вам знать, что он такими Был, как вами, удручён...». Так по-русски сказать нельзя: «такими, как вами»; полагается: «такими, как вы». Но автору — не до пустяков, не до изящества. Он — сражается.

Отметим забавность: вместо вполне литературного слова *говно* Коржавин стыдливо пишет «г...о» (а в быту — верующий человек! — не брезгает матом). Разве это не равнодушие к языку? Позволительно не знать, что слово *говно* (однокоренное со словом «говядина») — древнейшее в русском языке, идет от старинного индоевропейского корня, восходит к Шумеру; но палитру свою поэт знать должен, и отвечать перед Гуттенбергом за произнесенные звуки — обязан.

Из трех неперменных составляющих искусства — артистизма, совести и мысли — у Коржавина гипертрофирована совесть, нравственное начало, впрочем, целиком направленное на дела

общественные; удовлетворительно представлена мысль (поэту вообще совсем не обязательно быть мыслителем) — и напроочь отсутствует артистизм в обращении со словом. Атмосфера тут сперта, дышать в его стихах почти нечем.

ГЕНИЙ

В одном из ранних (1947) стихотворений Коржавина читаем:

На кой оно мне черт? Ведь я ж не гений —
И ведь мои стихи не на века.

Не знаем (и знать не будем; контекст молчит об этом), всерьёз ли он так думал или, по своему обыкновению, бросал вызов читателю и судьбе, но одно знаем наверное: его стихи, точно, не на века. Они слишком привязаны к сегодняшнему дню, к советскому времени. Горизонт их узок, подстилающая мелодия переупрощена, интонационно они худосочны. Даже откровенный приспособленец Симонов с его дорогами Смоленщины звучит рядом с Коржавиным, как орган рядом с шарманкой. Явись Коржавин среди нас не в сороковые, а в шестидесятые годы, у него просто шанса бы не было прослыть поэтом (и, уж конечно, ни в литературный институт он бы не попал, ни в Москву; просто потому, что евреев уже не пушали). Культурный уровень общества разом подскочил. Тысячи, да-да, тысячи людей пишут по-русски стихи увереннее, выразительнее и лучше, чем он. В том же Бостоне их немало. Даже до среднего уровня сегодняшней стиховой культуры, не то что поэзии, стихи Коржавина не дотягивают.

Зато с первым утверждением можно и нужно поспорить. Коржавин — именно гений.

В расхожем смысле гений — высшая степень таланта. Но что же тогда имел в виду Пушкин, говоря: «Конечно, беден гений мой»? Он под гением разумел одержимость, одухотворенность. Французское *genie* означает не только *гений*, но и дух, что-то бесплотное и сверхъестественное, что иногда овладевает нами. Ближайший лингвистический и семантический родственник *genie* — джинн, *djinn* (дальний — джин, тоже сидящий в бутылке: анисовая водка). Джинн порою служит и нам, может по нашему приказу построить дворец или разрушить город, но в другом

смысле он тоже владеет нами; природа у него та же: сперва его нет, потом он появляется, разрастается до непомерных размеров и нас в облака поднимает на ковре-самолете.

Приложив этот подход к Коржавину, видим, что и он — именно гений: гений справедливости, гений нравственного горения. Тут ему равны единицы, и не только в наше время. Его горение — пророческого накала. На Коржавине — перст провидения, печать избранничества. Он помазанник божий, и слава его — заслужена.

Приверженность к стиху, к стиховому осмыслению мира у Коржавина — феноменальная. Мыслить он умеет только в рифму. Никогда ничем другим даже и не пытался заниматься — только сочинял. (В 1953-м в Караганде окончил горный техникум, но в штейгеры не пошел.) Верил в свое призвание, как мало кто. Не повторил бы вслед за Боратынским: «Меж нас не ведает поэт, высок удел его иль нет, велика ль творческая дума...» И вот эту одержимость, эту *графоманию* (слово, срочно нуждающееся в реабилитации; все великие писатели были графоманами) очень можно в Коржавине оценить и превознести.

Выходит вот что. Перед нами — матерый человечище. Истории русской литературы XX века без него не напишешь. Он — гонфалоньер справедливости, борец, трибун, Радищев, Прометей, цадик. Освободить наше представление о Коржавине от этих смыслов, сказать о нем: *поэт, только поэт*, — значит унижить его, а с ним — и всех нас (не говоря уже о поэзии). Потому что мы знаем от Буало (повторившего Горация): «В стихах посредственность — бездарности синоним».

Скажем еще раз: мы все в долгу перед ним... А стихи? Они здесь, в сущности, ни при чем.

БУДЕТЛЯНИН: ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

Хлебников (1885-1922) умер на тридцать седьмом году жизни и оставил по себе упоительную легенду, скалькированную с истории Христа: легенду об отвергнутом спасителе. Человек пришел дать нам волю, осчастливить нас; явился в мир, чтобы мы прозрели, с новой благой вестью, а мы, презренные фарисеи, — не признали его, не увидели своего счастья, высмеяли мессию. Неблагодарные! Глупые, слепые и неблагодарные!

Легенда сложилась в крохотном, но деятельном кружке русских футуристов. Она была удобна людям не очень одаренным и совсем бездарным, служила им щитом и знаменем, сообщала силы и агрессивность в борьбе за место под солнцем. Едва она успела оформиться, пришли большевики. Эстетическое помрачение наступило такое, какого история не знала. Художественная тупость новой власти шла дальше всякого вероятия — и оказалась превосходным пьедесталом для хлебниковской легенды. Ничего лучшего и пожелать нельзя было. По мере того, как страна погружалась во мрак, всё явственнее вырисовывалось следующее: в начале века были великие идеи, общественные и художественные, но их растоптали. Была революция в сердцах и в искусстве, но ее подавила реакция. Хлебникову в этой системе взглядов отводилось одно из самых почетных мест. Его, будетлянина, большевики не признали — и тем вознесли.

К 1950-м годам в порядочном обществе имя Хлебникова стало паролем и символом веры: кто считает его великим поэтом, тот свой, а с прочими говорить не о чем. Еще Цветаева и Мандельштам не были прочитаны и осмыслены. Еще на эмигрантов первой волны смотрели с презрением. Будущие борцы с режимом, не исключая и Солженицына, были еще советскими людьми, верили в социализм с человеческим лицом, думали, что можно — без мерзостей и кровавых костей в колесе. Кто лучше Хлебникова мог выразить эти настроения? Тут в сознании интеллигенции Хлебников сравнивался с Маяковским,

болванками которого, чугунными и гранитными, была вся страна уставлена. Поэт конвенции встал в один ряд с поэтом резолюции. Хлебников подходил по всем статьям: революцию и новый мир — приветствовал, был революционером в искусстве (это и по сей день считают достоинством), не нравился тупым большевикам, главное же — воплощал в себе некое тайное знание, тайную доктрину. Тайна — панацея обездоленных. В катакомбах творится будущее.

Все ли приняли бронзового Хлебникова? Нет, не все. Его ведь и в 1910-х отвергли не одни буржуи и эстеты. Разве назовешь эстетом Бунина? Многим Хлебников казался мелким, незначительным, малоодаренным. Но к 1950-м говорить об этом стало делом рискованным: человека могли заклевать. Против символа веры не попрешь. Еретикам грозил костер общественного презрения. Да и сомнение в сердца людей закрадывалось. Человек слаб. Если все считают Хлебникова гением, а мне он кажется посредственностью, — то, может, я до него не дорос? Тут проще уступить, похвалить новое платье короля. Нормальный человек, умный, дельный, думающий, преспокойно обходится без стихов, одними только именами поэтов. Стихи как таковые нужны немногим. Не упрекаем же мы того, кто равнодушен к живописи, к музыке. Даже литературоведы, кормящиеся от литературы, сплошь и рядом не понимают и не чувствуют родной просодии.

Из тех, кто всегда твердо выступал против хлебниковского суеверия, отметим Николая Чуковского. Смелый был человек, честно плыл против течения. Но его и других *меньшевиков* — не слышали, не слушали. Благая весть овладела массами. Твердили заученное. Твердили даже те, кому Хлебников был или стал эстетически чужд (например, поздний Заболоцкий). От мечты вообще очень трудно отказаться, особенно, если она воскрешает молодость. Но иногда приходится делать над собою это пренеприятное усилие. Иначе жизнь остановится. Говоря словами самих футуристов, «кто не откажется от своей первой любви, не узнает последней». Если не бояться этой хирургии, можно и некоторые важные уроки извлечь. Например, такой: что некогда шло войной против косности, само нередко становится тупой оголтелой косностью.

ОРАКУЛ КРИВИЗНЫ

Хлебников оказался в Петербурге в 1908 году, двадцати трех лет. Приехал из Казани, мест весьма лобачевских, где немного учился математике и физике. Как раз такого начинающего поэта в столице и не доставало. Теория относительности только-только стала злобой дня, докатилась до газет. Физика вступала в свою романтическую эпоху. Многие прослышали: там — творится нечто *заумное*, превышающее возможности человеческого воображения. Виду *homo sapiens* отказано природой в способности чувствовать кривизну пространства — ан вот поди ж ты, оно искривляется! Параллельные прямые — сходятся-таки в бесконечности, которая конечна. Нужна кривизна и в искусстве, смекнули некоторые. Новизна и кривизна. Революция. Не отставать же от физиков! Нужно нечто такое, чтобы обывателю непонятно стало и страшно. Нужно ткнуть его носом в то, что он — обыватель. Эпатировать. Тогда — с испугу и чтобы не подвергаться насмешкам — он станет платить.

Кривизна в поэзии могла идти только в направлении отказа от пушкинской гармонической точности: от надоевшего ямба, от правильной рифмы, от стройной композиции. Протест был не совсем вздорным. Старое приелось. Что было громокипящим кубком в стихах русских европейцев начала XIX века, стало жидким чаем у Случевского и Фофанова. Иппокрена превратилась в лужу, Европа — а Азиопу. Брюсов ничего существенно не изменил — только кокаину в чай добавил. Кривизны, лобачевскости ему явно не доставало.

Футуристы догадались: кривизна в искусстве, вслед за революцией в политике и в физике, вот-вот станет товаром, стоит только навалиться всем миром, ухнуть, а там — сама пойдет. Поскольку Пушкин сброшен с парохода современности, а свято место не бывает пусто, нужен был другой оракул. Маринетти не годился, оказался мелок и чужд. Хлебников пришелся впору. Сам он был не из бригады Москва-Навалочная, но зато годился на роль гуру, на роль учителя-отшельника, вешающего из своей пещеры, прозревающего будущее. Мысли у него были странные, путанные, но глубокие (или казались таковыми). Обращены они были в прошлое, Хлебников историей интересовался, но ведь Блок уже произнес: «Прошлое

страстно глядится в грядущее», а если и не произнес, если литературные лацпарони его не услышали, то и без Блока было ясно, что противоположности сходятся. В настоящем — борьба и суета; светло, свято — только в прошлом и в будущем, значит, эти субстанции сходятся, как прямые Лобачевского. Никакого противоречия. Хлебников и сам так думал. Будетлянина тянуло в лес, а не в цех (как Татлина).

В 1908 году Хлебников пишет из Питера в Казань, что он — подмастерье Михаила Кузмина. Через пять-шесть лет он — уже Велимир и председатель земного шара. Футуристы спешили в будущее.

СТАЯ ВРЕМИРЕЙ

Хлебников, конечно, и был подмастерьем, косолапым провинциальным подмастерьем. В кружке Кузмина должен был выглядеть диковато. До Питера, до 1908 года, он только перо пробует и никому не известен. В Питере, после отхода от Кузмина, дело сдвинулось с мертвой точки. Нашлись союзники. Пресловутое экспериментаторство Хлебникова вызвало отклик и нашло ценителей — среди других молодых и начинающих, тоже неумелых и неуклюжих. Мовизм поднимает голову.

Ни грубости, ни плевков, ни дыр-бул-шила у Хлебникова не видим. Основные приемы футуристов ему чужды. От четырех-стопного ямба, от колыбельного хоря и точной рифмы он поначалу никуда деться не может, следует им рабски, чувствует это, — и, не умея извлечь новые звуки, начинает изобретать слова.

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.

Сейчас эти стихи — классика. Такова договоренность, такова конвенция принявших благую весть. Но человек непредвзятый, в круговую поруку против обывателя не вовлеченный, признает их именно обывательскими. Программная кривизна в них сводится к неологизмам. Прделаем эксперимент, раз уж мы о Хлебникове говорим: заменим времирей на снегирей (что, конечно, и было у него поначалу), а поюнов — на синиц. Что останется? Грамматический вздор да убаюкивающий ритм, та самая «индия-да, индия-да, индия-да, индия», с которой к Пушкину привели восьмилетнего мальчика, а Пушкин сказал: «Он точно поэт!».

Занятно, что один из неологизмов тут проморгал и сам автор, и его почитатели: «тихоели». Какая находка! Два слова сливаются в одно, образуя чисто хлебниковскую чепуху — и обнажая поэтическую беспомощность, которую он не услышал и обыграть не сумел. Таков начинающий гуру. Душа у человека пуста, сказать ему нечего. Он способен только к словесной игре, притом вялой. О, лебедиво!

Тут же — и фирменный знак Хлебникова, знаменитые смехачи. Смех усмейных смехачей. Унылый смех. Именно на обывателя рассчитанный — потому что не станет же им восхищаться человек, вкусивший «звуков сладких и молитв». Небо тут с овчинку. Горизонт в точку стягивается. Перед нами упражнение в грамматических формах, а нам говорят, что это — поэтический шедевр. Смеюнчики, да и только!

Конечно, обыватель обывателю рознь. Тот, что от смехачей ахал, — полный гимназист-восьмиклассник против замшелого большевика, дорвавшегося до власти разрешать или запрещать стихи. Большевик бы и Пушкина запретил (и пытался, да русский патриотизм ему помешал), а тут — встал в пень и разозлился. Догадался, что его дразнят. Только это и понял. Запретил — и тем самым разрешил, возвысил. Сообщил жизнь строкам узколобым, мертворожденным.

Поэт, между тем, матерееет. Он, как потом скажут, — глубоко народен, философичен. Вот шедевр 1913 года, законченное стихотворение:

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.

Спросим себя по совести: как эти пустые и вялые строки могли попасть в поле нашего внимания? По какому праву? Попали ли бы, будь они безымянными? Да никогда в жизни. Нас дурачат, а мы — приплясываем и в ладоши хлопаем.

А вот образец хлебниковского Пролеткульта (1917):

Народ поднял верховный жезел,
Как государь идет по улицам.
Народ восстал, как раньше грезил.
Дворец, как цезарь раненый, сутулится.

В мой плащ окутанный широко,
Я падаю по медленным ступеням,
Но клич «Свободе не изменим!»
Пронесся до Владивостока.

Свободы песни — снова вас поют!
От песен пороха народ зажегся.
В кумир свободы люди перельют
Тот поезд бегства, тот, где я отрекся.

Берем наугад другого пролеткультиовца — ну, хоть П. Арского: «Довольно слез и унижений, Нет больше рабства и цепей! Свободны будут поколения От тирании палачей!». Разве это вино — не из той же бочки, пусть и чуть-чуть разбавленное? Мы не о «содержании» говорим, мы о «форме» (даром, что в искусстве они неотделимы). По «содержанию» стихи эти очень разные: Хлебников ни на минуту не был продажен; хвалит он не большевистскую революцию, а февральскую, настоящую. Но с точки зрения поэзии всё это совершенно безразлично. Перед нами просто плохие стихи.

Про Великий Октябрь Хлебников тоже что-то произнес не совсем отрицательное, хоть и двусмысленное. За это — большевики почти простили ему смехачей и времирей. Позволили упоминать Хлебникова в примечаниях к Маяковскому, а потом даже издавать — с нестерпимо глупыми предисловиями: «Хлебникову недоступно понимание истинных причин... Хлебников не сумел подняться до смелого и последовательного разоблачения... не дорос, не понял...».

Повзрослевший и побольшевевший гимназист, ахавший на неологизмы, тоже не отшатнулся от такого рода стихов.

Он крепко запомнил, что Хлебников — непрост, что его аршином общим не измерить. Однако ж скажи мы гимназисту-большевику, что «Народ поднял верховный жезел» Арский написал, а не Хлебников, — он бы назвал эти стихи дрянными.

КОЙ-КАКИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Азбучная истина: поэтическая мысль есть органический сплав звука и смысла. Именно этот сплав, в соединении с ритмом, раздвигает пространство, окрыляет, становится откровением. По отдельности оба элемента сплава недорого стоят. Смысл стиха, освобожденный от звука, беден. Число тем, число чувств, волнующих поэта, не больше числа нот, числа струн кифары. «Я вас любил. Любовь еще, быть может...» «И Делия не посетила пустынный памятник его...» «Я не любил ее, я знал, что не она поймет поэта...» Всё старо, как мир. Ничего нового с точки зрения философии или науки поэты не сказали (психология не в счет, она не совсем наука) — от Гомера до наших дней. Они другим заняты были.

С этого соединения звука и смысла — с ономатопои, звуко-подражания, — началась не только поэзия, а вообще человеческая речь. Протоязык людей был сплошной поэзией, сплошным священнодействием. Звук и смысл шли нераздельно. Библейский Адам, называя зверей, изображает их звуками. Потребовались тысячелетия, чтобы из поэзии выделилась проза, из храма — рынок. Проза — секуляризованная поэзия. В нашем сегодняшнем представлении ономатопои — детская игра, всякие там мяу-мяу да чик-чирики, но ее грозная сущность никуда не ушла, и настоящий поэт в каждом слове всякий раз отправляется к центру Земли, в магму протоязыка. Всё это тоже — прописные истины. Говорят, Хлебников нам открыл их. Как? А вот как:

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

Осмелимся возразить: ничего тут не открыто, тут как раз те самые чик-чирики и мяу-мяу, выхолащивание звукосмысла, попытка разделить драгоценный металл на дешевые составляющие. Дешевка и выходит. Два последних стиха выдают автора с головой: как только он вступает на традиционную и вечно живую почву поэзии, он беспомощен. Восьмиклассник (даже не гимназист, а ученик советской школы) знает: «какие-то», «какой-нибудь» в стихах — наполнители, плацебо, профанация. Не знаешь, «какие», не пиши стихов. Стихи не для этого.

Дешевой ономотопеей Хлебников заполняет целые страницы:

Велес: Бруву ру ру ру ру!
 Пицце цане сэ сэ сэ!
 Бруву руру ру-ру-ру!
 Сици, лици ци-ци-ци!
 Эрот: Эмчь, Амчь, Умчь!
 Юнона: Пирарара — пируруру!
 Лео лоло буароо!

— с непременным восклицательным знаком в конце каждого стиха. Много, много поэт сказал нам! Гомера и Гёте потеснил. Данте с Пушкиным — тоже. Бедняги не знали.

Отчего откровенный вздор нравится? Почему находятся у этого бреда горячие поклонники? Да очень просто: загадочность — привлекает. Скажи самому себе: «мне нравится!» — и ты спасен, ты уже в кругу посвященных, ты авгур и друид, ты отгородился от обывателя, возвысился над ним. В религии ведь главное — коллектив избранных, которые Богу милы и которым вместе хорошо.

И еще вот почему нравится: читателю тут не нужно быть высоким. Высота — души требует, а насмешка, фокус, выверт — развлекают. Только развлекаться новый читатель и хотел. Устал от высокопарности символистов. Прекрасные дамы ему надоели. Лучше уж Эрот, ухающий совой.

Иррациональность — стандартная приманка и ловушка. Тут советская власть очень помогла Хлебникову. Научность, правильность, серьезность — всё это она сделала нестерпимой пошлостью. Против такой пошлости все средства были хороши — и Хлебников пошел, как горячие пирожки. У тех пошел, кому поэзия в принципе недоступна, кто стихов не любит и не понимает. Потому что в настоящей поэзии

и без того всё сплошь иррационально, иррациональна самая ее природа, самое ее существование, и этого — за глаза и за уши хватает.

Мандельштам восхищался Хлебниковым, говорите? Но, во-первых, Мандельштам — не последний авторитет в этом споре, он был современником и соратником, участвовал в литературной борьбе, находился по одну сторону баррикады с Хлебниковым. А во-вторых и в главных — где же он похвалил Хлебникова как поэта? Он только о языке Хлебникова говорит: «самая гуща русского корнесловия, этимологическая ночь, любезная уму и сердцу умного читателя». Только и всего. И в пророчестве ошибся: «Хлебников прорыл в земле ходы на целое столетие». Какое там! На дворе эпоха саммитов и топ-моделей, никому уже не стыдно эти слова произносить, а язык Хлебникова забыт и не нужен. По авторитетному свидетельству своей неотлучной спутницы, Надежды Яковлевны — Мандельштам видел в Хлебникове «божьего человека», юродивого, одержимого, душевнобольного — и, конечно, был не далек от истины.

ОН ПРИШЕЛ ДАТЬ НАМ ВОЛЮ

Вот характерное высказывание-похвала: Хлебников «практически избавил свой язык от греколатинского корнеслова». Освободил, иначе говоря. Но свобода ли это? Француз Жорж Перек освободил свой язык от буквы е. Написал целую книгу («Пробел», 1969) без этой литеры и тем вошел в историю (больше книга ничем не замечательна). Французский язык без буквы е — можно ли такое вообразить? Какое достижение! (На английский книгу тоже перевели без буквы е.) Но при ближайшем рассмотрении такая воля оказывается добровольной тюрьмой, бесплодной игрой, дурацким колпаком. Верно: свобода возможна только в установленных границах, в жестких правилах закона, но правила эти не должны быть искусственными. Ни конституцию, ни язык, ни просодию — нельзя сочинить. Они выращиваются.

Что такое русский язык без «греколатинского корнеслова»? Остановка в пустыне. Тут не только искусственное обеднение словаря: тут тот самый изоляционизм, который, не будь Петра Великого, окончательно вытолкал бы Россию в Азию, отдалил

от родного и кровного, идущего из Европы. Россия (не Русь, а Московия, наследница Орды) на восток всегда была распахнута, а от запада боязливо отгораживалась после Ярослава. Не раз уже было сказано, что все ее беды — отсюда.

Жадный и сам по себе плодотворный интерес к истории (слово греческое), к русской старине и к Востоку поставил Хлебникова на ложный путь. До прихода монголов Русь была страной западной, пусть не всецело (с юга язык и генофонд размывался тюрками), но в своем существовании. Освободить ее от Запада не стоило.

НАУКА УМЕЕТ МНОГО ГИТИК

Говорят и такое: Хлебников — ученый. Возможно, он и сам так думал. В университетах слегка учился математике и физике, в литературный текст вставлял рассуждения о теории относительности и формулу Эйнштейна (не совсем кстати). Писал и другие формулы, будто бы вскрывающие суть истории. Например, такую:

$$X = k + n * (10^5 + 10^4 + 11^5) - (10^2 - (2n - 1) * 11)$$

Это «закон гибели царств». Здесь X — число дней между гибелями, k — «точка отсчета», «битва при Ациуме», второе сентября 31 года до н.э. Это нулевая гибель: при $n = 0$, по комментарию Хлебникова, «Египет сдался Риму». При $n = 1$ — «день гибели гордой Испании, завоевание ее арабами», 21 июля 711 года. При $n = 2$ — «пробил час взятия Царьграда дикими турками», 29 мая 1453 года.

Первое и главное: формула и цитаты — из произведения, именуемого поэмой («Зангези»). Остроумно? Может быть. Игра в бисер у Гессе тоже была чуть-чуть поэзией. Но разрыв с традиционным пониманием поэзии таков, что мы, говоря по совести, ни стихов, ни поэзии тут всё-таки не усмотрим — хотя бы потому, что прочесть, проговорить вслух всё это затруднительно, звук — ничего не изображает, а, стало быть, и звукомысл (условие необходимое и достаточное) отсутствует.

Теперь — не главное, второе. Не нужно быть математиком, чтобы догадаться: формула вздорна, взята с потолка, никакой внутренней логикой не обеспечена. Формулы обычно выводят,

строят из рассуждений. Здесь такого нет. Правда, изредка являются гении, формулы угадывающие. Таким был Шриниваса Раманужан, математик-самоучка, ошеломивший мир в XX веке. Он обходился без выводов и доказательств — просто смотрел и видел. Но Хлебников — другой случай. Перед нами чистая спекуляция. Отчего нулевая катастрофа — битва при мысе Акций, а не при Платеях, Фарсале или, скажем, не падение Ново-Вавилонского царства? Отчего первая катастрофа — «падение гордой Испании» (точнее было бы сказать: готской Испании; гордая Испания — Кастилия и Арагон, которых тогда еще и в намеке не было), а не падение Западной Римской империи, несопоставимо более важное в судьбах мира? Даже дата «падения гордой Испании» под вопросом. Битва, в которой Тарик ибн-Зияд разбил короля-узурпатора Родрика (место до сих пор ищут), началась, согласно испанским хроникам, не 21 июля, а 19 июля 711 года и длилась семь дней. Почему именно 21 июля — поворотный момент мировой истории? Ничто на это не указывает.

Наконец — третье, в контексте разговора о стихах совсем неважное, зато самое пикантное. Формула едва ли верна. Посчитаем вместе. Литературоведы и издатели до такого труда не унижаются, а он — пустяковый, полчаса арифметики. Константа k (число дней от битвы при мысе Акций до начала новой эры) равна 11048 (примерно, потому что юлианский календарь несколько раз перекраивался при Августе). При $n = 1$ формула дает 282010 дней, и это — не июль 711 года, а февраль 773 года. Ничего себе промах! Такой же и при $n = 2$, — 553083 дней: не конец мая 1453 года, а апрель 1515 года. И тут — около 62 лет разницы. Мы соображаем: перед константой k забыт минус (Хлебниковым или его издателями). Вставляем минус. Тогда в первом случае получаем всё же не июль 711 года, а август 712 года, во втором — не май 1453 года, а ноябрь 1454 года. На фокусы с календарем такой ошибки не спишешь. Остается допустить, что в летосчислении Хлебникова имелся нулевой год от Р.Х., какового в летоисчислении действительном — не было. Теперь соберемся с духом и положим $n = 0$. С этого, собственно, и начать следовало. Формула при этом должна давать k , «точку отсчета во времени», а дает $k - 111$. С чего бы? История всерьез волновала Хлебникова, он думал, вглядывался, делал верные наблюдения. «Наиболее близко к пониманию процессов, происходивших в Древней

Руси, подошел Велимир Хлебников», — пишет историк Савелий Дудаков. — Истоки русской государственности поэт видит в сочетании трех сил: язычества, хазарского иудаизма и христианства». Это правда, но, так сказать, чрезмерная правда. Она прямо из летописей следует. Их внимательно читали и прежде. Гипотеза о еврейском происхождении матери крестителя Руси князя Владимира не Хлебниковым высказана. Хлебников в нее поверил — за это Дудаков его и хвалит, подкрепляя научную гипотезу авторитетом, хм, поэта. Перед нами — еще одна сторона хлебниковской легенды: многие испытывают потребность приписать ему лишнее и опереться на приписанное. Дудаков вчитывает в Хлебникова свои мысли, благо это всегда легко сделать с текстами плохо организованными, темными, ложно многозначительными.

Лет сорок назад возникла наука палеопатология. Оказывается, и в ней Хлебников сказал свое слово. Публицист Григорий Амелин пишет: «Науки как таковой еще не существовало и в зародыше, а текст целиком построенный на ее фундаментальных основаниях — есть. И не удивительно, что автор его — математик и естествоиспытатель, больной всеми болезнями своей эпохи будетлянин-футурист Велимир Хлебников...» Следует цитата в двадцать с лишним строк из поэмы *Ночь в окопе*, ее концовка — о каменной бабе в пустыне. Причем здесь палеопатология? Как у человека язык повернулся назвать Хлебникова естествоиспытателем?! Так и видишь его с ретортой и тиглем. Завтра выяснится, что он предвосхитил синхрофазотрон, квазары, интернет и реликтовое излучение Большого взрыва.

А вот высказывание из энциклопедического словаря издательства Кирилла и Мефодия: Хлебников «в духе Лобачевского создал учение о “воображаемой филологии”, “самовитом слове” и словотворчестве, чем стал в ряд таких ученых, как В. Гумбольдт, А. А. Потебня и Ф. де Соссюр...»

Перед нами — всё тот миф, вся та же недобросовестная игра. Никакого «учения» Хлебников не создавал, всё это «воображаемая филология» автора статьи. Для учения систематический труд требуется. Самовитым слово у поэтов было всегда, термин — еще не учение. А чего стоят слова «в духе Лобачевского»! Автор статьи (надо полагать, ученый) прибегает к литературному тропу. Только художественный текст

позволяет сблизить эти имена (да еще биография Хлебникова, жившего в Казани). Разговор сколько-нибудь строгий такого сближения не допускает. Ученый и художник черпают из разных источников. Первый — обнажает и упрощает (понять значит упростить), второй — облачает, усложняет (втискивает игру воображения в узкое пространство художественного текста). Анализ и синтез работают в разных направлениях. Они практически никогда не сходятся в одном человеке. Гёте, говорите? Что ж, это исключение, подтверждающее правило. Ломоносов — тоже. Третьего что-то не видно, да и эти два оговорки требуют. Гёте — слишком поэт в своей науке, Ломоносов — слишком ученый (и полемист) в своих стихах. Первый нагородил вздору, пытаюсь опровергнуть ньютонову теорию цвета. Второй вовсе не знал математики, а его «если где чего убудет, то в другом месте прибудет» еще древние знали.

Хлебников научных трудов не оставил (вздорные формулы не в счет), к размеренному кропотливому труду был не способен. Ученые Гумбольдт, Потенция, Соссюр скрупулезно собирали свою истину по крупичкам, выстраивали ее. Хлебникова — осеняло. Работа это очень разная. И тип темперамента — разный. Поставить его имя рядом с именами филологов и особенно лингвистов — грубая, тенденциозная натяжка. Тут одновременно и они унижены, и он.

ЕГО ФИЗИОНОМИЯ

Человеческая физиономия Хлебникова в целом привлекательна. Подметок он не рвал, на поэтический Парнас карабкался словно бы нехотя, жил в мире своих грез, не лишенных поэтичности — и не вовсе бесплодных (хотя бы уже потому, что миф о Хлебникове поэтичен; этот миф и есть его главное произведение, итог его жизни). Назвать себя председателем земного шара он поторопился. Таких председателей мы увидели только после первой мировой войны. Чаплин, Мэрилин Монро, Элвис Пресли, а сейчас Усама бин-Ладен — тянут на этот титул. Хлебников — не тянул.

Изо всех его многочисленных и всегда лестных словесных портретов приведем один. Принадлежит он художнику Юрию Анненкову. Как и почти все в его кругу, Анненков — в плену

легенды о гениальности Хлебникова, верит в плодотворность зауми (которую Бунин веско и точно назвал глупостью), но он наблюдателен и Хлебникова знал хорошо.

«Велимир Хлебников, мой близкий товарищ, был по сравнению с другими поэтами странен, неотразим и патологически молчалив. Иногда у меня — в Петербурге или в Куоккале — мы проводили длинные бессонные ночи, не произнося ни единого слова. Забившись в кресло, похожий на цаплю, Хлебников пристально смотрел на меня, я отвечал ему тем же. Было нечто гипнотизирующее в этом напряженном молчании и в удивительно выразительных глазах моего собеседника. Я не помню, курил он или не курил. По всей вероятности — курил. Не нарушая молчания, мы не останавливали нашего разговора, главным образом об искусстве, но иногда и на более серьезные темы, до политики включительно. Однажды, заметив, что Хлебников закрыл глаза, я неслышно встал со стула, чтобы покинуть комнату, не разбудив его.

— Не прерывайте меня, произнес вслух Хлебников, не открывая глаз, — поболтаем еще немного. Пожалуйста!

Время от времени наш бессловесный диалог превращался даже в спор, полный грозной немоты, и окончился как-то раз, около пяти часов утра, подлинной немой ссорой. Хлебников выпрямился, вскочил с кресла и, взглянув на меня с ненавистью, сделал несколько шагов к двери. В качестве хозяина дома, вспомнив долг гостеприимства, я взял Хлебникова за плечо:

— Куда вы бежите в такой час, Велимир?

— Бегу! — оборвал он, упорствуя, но, придя в себя, снова утонул в кресле и в немоте.

Минут двадцать спустя, молчаливо, мы помирились...»

Нечего сказать: ученый, естествоиспытатель!

ЕГО ВКЛАД

Неумение писать можно объявить новой ступенью мастерства. Технику такой подтасовки в ту пору только-только начали осваивать (во Франции, в конце XIX века). Она была еще в диковинку — и нравилась. Чем не открытие? «Не хочу по установленным правилам, хочу по моим собственным. Что по установленным правилам я не умею, в этом признаваться

не буду. Что установленные правила не с потолка взяты, а отвечают природе ремесла, на это мне наплевать. Хочу по своему!»

Эта философия отвечала духу времени.

Первая мировая война с ее ужасами окопных боев разом демократизировала мир. Скачок (в культурном отношении — вниз) был гигантский. То, что прежде именовалось свободой, а на деле было демократией, заявило о себе с необычайной мощью. Народ стал если не властью, то силой. С ним приходилось считаться. В иных местах народовластие прямо вылилось в охлократию (большевизм, фашизм, нацизм). В искусстве же дела пошли так плохо, что впервые в истории был поставлен вопрос сперва о его показном потреблении (Торстейн Веблен), а затем — об умирании (Ортега-и-Гасет, Вейдле). Престол, аристократия и церковь, утратив власть, от художника отступились. Заказчиком, способным платить, стал народ, — а он высокого не хотел, не выносил.

Вглядимся в такое вот премилое четверостишье:

Полетела роза
На зердутовых крылах
Взявши вертуоза (sic!)
С ним летит в его руках.

Это не Хлебников, не Крученых, не Введенский. Это Анаевский. Не слышали? Современник Пушкина, старший современник: Афанасий Евдокимович Анаевский (1788-1868), титулярный советник. Автор книг. Человек опередил свою эпоху. Новизну и смелость при нем не считали самодостаточными ценностями искусства. От искусства ждали другого: возвышающих душу порывов, красоты, способной примирить с несовершенством мира.

Окажись Анаевский в нужном месте в нужное время, ходил бы сейчас в гениях. Большевики бы его по тупости запретили, а советская интеллигенция (прослышав про запрет) — приобщила к лику святых, поставила в один ряд с Соссюром. Современники же сочли Анаевского бездарным (и, разумеется, были правы). Безобразное — безобразно.

Хлебников, отдадим ему должное, — не совсем Анаевский, но делал примерно то же: принижал высокое, служил низкому — в себе и в других. Народу служил. Можно так сказать, а можно

и иначе: толпе, черни, худшим сторонам человеческой природы. Упадок искусства, какого и средневековье не знало, не без его помощи случился. Сегодняшние бандиты с именами художников — в изобразительных искусствах, в поэзии, в Америке, в Европе, в России — топчут нас с санкции Хлебникова и ему подобных.

Внес ли Хлебников в литературу хоть что-нибудь? Внес: показал, что можно наплевать на композицию — и толпа проглотит.

И от строгих мертвых тел
Дон восходит и Иртыш.
Сизый дым, клубясь, летел.
Мы стоим, хранили тишь.

Никогда бы прежде поэт не позволил себе проделывать такие фокусы с грамматическим временем: *восходит, летел, стоим, хранили* — всё об одном и том же моменте, в одном катрене. Работа над словом здесь отсутствует. Видим рабское следование ритму (всё тому же колыбельному хорею) и рифме, нанизывание на ритмическую нить первых подвернувшихся слов.

Справедливости ради отметим, что композиционные скачки (хоть и не такие нелепые) оказались плодотворными у другого поэта, у Манделъштама, который этот прием заимствовал у Хлебникова. Но и у него это не всегда работает, главное же — масштабы дарования тут несопоставимы.

Композиционная свобода — вот главное и единственное, за что можно похвалить Хлебникова как стихотворца, да и то — с оговоркой: его догадку подхватили и развили другие, более одаренные. Нельзя мешать в кучу временные конструкции, как в приведенном четверостишье, но можно и теперь уже подчас необходимо совмещать временные пласты, можно и плодотворно — жить в истории вообще, не быть ничьим современником (как сказал о Хлебникове Манделъштам, добавив, что этого-то современники Хлебникову и не прощают).

Другой вклад Хлебникова (в культуру, не в поэзию) — легенда, та самая упоительная легенда, калькирующая и пародирующая историю Христа (и теперь разошедшаяся во множестве удешевленных копий). Она красива. Ее можно любить, а в определенном возрасте — даже нельзя не любить. Но взрослеть приходится. И на сочинения Хлебникова приходится-таки однажды взглянуть открытыми глазами. Сняв розовые очки,

мы признаем, что в литературном, в собственно литературном отношении Хлебников не сделал ничего — ничего положительного. Король гол. Где ожидаешь увидеть курган, находишь воронку, яму — с оградкой на которой написано: «курган славы». Где ждешь найти явление, находишь суеверие. Поэта, заслуживающего этого имени, не видим. Лишь с натяжкой можно назвать Хлебникова и мыслителем. Думают вообще многие. Историю переосмыслиют даже и те, кто не думает, но от мыслителя мы ждем связного труда, ясного изложения. Ничего этого от Хлебникова не осталось. Вылавливать крохи истины в его скучных, вялых, совершенно резиновых по звуку стихах, в его нарочито уродливой прозе — занятие пустое и неблагодарное. Для читателя Хлебников мертв. Для начинающего поэта — благодаря легенде — может служить чем-то вроде катализатора («и меня признают, и я пророк»). Жив Хлебников только для его исследователей, для литературоведов, особенно западных и «левых», из которых большинство кое-как освоило русский язык — и продолжает видеть в революции благо. Жив и полезен. Исследовать его можно до бесконечности. Тропа ученых спекулянтов к нему не зарастет никогда. Нерукотворный памятник!

ДРУГИЕ КНИГИ ЮРИЯ КОЛКЕРА

- Юрий Колкер. *Сосредоточимся на несомненном.* Избранные стихи. Тирекс, СПб, 2006.
- Юрий Колкер. *Ветилуя.* Стихи, написанные в Англии. Геликон-плюс, СПб, 2000.
- Юрий Колкер. *Завет и тяжба.* Стихи 1982-93. Издательство Советский писатель, СПб, 1993.
- Юрий Колкер. *Далека в человечестве.* Стихи 1974-80. Слово, М., 1991.
- Юрий Колкер. *Антивенок.* Сонеты. Персефона, Иерусалим, 1987.
- Юрий Колкер. *Послесловие.* Стихи 1972-78. Лексикон, Иерусалим, 1985.

(редактура и переводы)

- Владислав Ходасевич. Собрание стихов в двух томах. (Составление,) редакция и примечания **Юрия Колкера.** La Presse Libre, Paris, 1982-83.
- Лорд Актон. *Очерки становления свободы.* Перевод **Юрия Колкера,** под ред. А.Бабича. Overseas Publications Interchange Ltd., London, 1992.
- Ф.А.Хайек. *Общество свободных.* Перевод Александра Кустарёва. Под редакцией **Юрия Колкера.** Overseas Publications Interchange Ltd., London, 1990.
- Йохан Хейзинга. *Об исторических жизненных идеалах.* Перевод И.Михайловой, под редакцией **Юрия Колкера.** Overseas Publications Interchange Ltd., London, 1992.
- Еврейский Самиздат, том 27. *Ленинградский еврейский альманах,* вып. 5-8, под редакцией **Юрия Колкера.** Центр по исследованию и документации восточно-европейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме, Иерусалим, 1988.
- Еврейский Самиздат, том 26. *Ленинградский еврейский альманах,* вып. 1-4, под редакцией **Юрия Колкера.** Центр по исследованию и документации восточно-европейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме, Иерусалим, 1988.
- Йосеф Недава. *Вечный комиссар.* Перевод Б. Таубина. Литературная обработка перевода, исправления и добавления **Юрия Колкера.** Книготороварищество Москва-Иерусалим, Тель-Авив, 1989.
- Лондон. Путеводитель. Составитель Майк Липмен. Перевод **Юрия Колкера** и Татьяны Костиной. Dorling Kindersley. Лондон, Нью-Йорк, Штутгарт, Москва. 1998.



В течение тринадцати лет, с 1989 по 2002, я работал на Русской службе Би-Би-Си в Лондоне.

Это было Лаваново служение. Работал я там не по призванию, а по нужде. Журналистику не любил. Вкус к ней почувствовал только после ухода с Би-Би-Си. Оказалось, что некоторые простые соображения ищут выхода, и мне нужно их выговорить, выстроить в первую очередь, чтобы самому что-то понять. Так и сложилась эта книга.

Юрий Колкер